

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

№ 4

май – июнь 2017

Санкт-Петербург
2017

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

© Чернышев В. И., 2017
© Редакционный Совет, 2017
© Авторы, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наше направление.	4
I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА	
Маргарита Токажевская. Нерифмованные откровения	5
Мария Амфилохиева. Сотворение мира и Бога	14
Стихи разного времени и настроения	24
В. И. Чернышев. Стихи о Несчастной жизни	32
II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА	
Т. М. Лестева. Два рассказа: Ида. Ведьма.	39
Н. И. Калягин. Сказки и истории	61
III. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика)	
Л. Бубнова. Мужественно, толково и чувственно	75
Александр Медведев. Над горизонтом. (Представление книги)	83
Г. Г. Муриков. Полет сквозь тьму	86
Александр Потёмкин и Дональд Трамп	87
Великий Октябрь и современность	93
ПРИЛОЖЕНИЕ: «Революция и молодежь» - 12 заповедей (публикация Г.Г.М.)	96
А. П. Андришкин. Илья Глазунов и атеистическая живопись	97
Т. М. Лестева. Путь к экзтаназии	102
IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЭЗИЯ, ПРОЗА	
Г. Н. Ионин. Рождество (поэма).	105
Оптимизм мировой классики и роман «Пирамида»	113
О книгах Романа Круглова «36 кадров» (2012) и «Гербарий» (2016)	121
V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ	
Письмо А. В. Никитенко А. С. Уварову (публикация А. В. Осипова)	124
В. Г. Исаченко и А. В. Осипов. Разговор о дневниках Никитенко	129
А. В. Осипов. Инь-ян как перемешивающая машина	139
А. Л. Неучев. Инь-ян: путь, замес и истина	154
Игумен Веннамин. Русская идея или русский вопрос? (МЪра, 1995)	156
Е. Ф. Ковтун. Павел Филонов. От веры к атеизму	163
VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПИСАТЕЛЬСКИХ СУДЕБ	
Р. В. Иванов-Разумник. В. Розанов	179
В. В. Розанов. И шутя и серьезно	200
VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, обзоры, переписка)	
Лидия Сычёва. В битве за Сердюкова	204
Н. Н. Браун. Петербургские частушки (окончание № 79 – 102)	208
В. И. Чернышев. Из Новых записок редактора	212
Егор Холмогоров. На смерть великого математика	250
В. И. Чернышев. Почти виртуальные встречи и Новейшие несколько слов	258
О. Мальцева. Православная Русь	263

НАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ

*Здесь собрались мы неспроста!
Шот, кто несчастлив, только молод,
Кому утал на палец молот,
В ком горний дух, кто без креста,
Кем движет жажда, движет голод,
Чья совесть в язвах иль чиста . . .
Нет лишь надменного перста!*

*Здесь собрались мы наугад,
Я не искал в бору меж сосен,
Взял тех, кто мил, и кто несносен,
В ком страсть, смиренье, гнев и лад,
Не столь неровным меж откосин –
И тем в неровном мире рад!
Здесь мы свои, сестра и брат.*

*Одно ли нас стремленье водит,
Одна ли цель, один ли свет,
Земной, небесный ли завет, –
У нас на всех один билет,
Журнал всем ищущим угоден,
И вместе мы – сомненья нет!*

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Маргарита Токажевская

НЕРИФМОВАННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ



Редакторы-учредители журнала
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева

Кто ты?

Пристальный взгляд исподлобья. Просвет робкой усмешки. Кто ты, подобие испуга? Маленький рыжий лисёнок, прячущийся в норку, где темно, но случается спросонок увидеть, как солнце просвечивает утренний лес, как листья цветным бессмертьем струятся на лёгком розовом ветру? Мальчишка, упрямо карабкающийся на вершину скалы, с которой а вдруг да увидится парус отцовской лодки? Старик, покинутый не помнящими добра детьми? Плачущая неизвестно от какой обиды девочка, прижимающая к загорелому худенькому тельцу серого котёнка? Земные и небесные скрижали светятся проблесками твоих улыбок, нечаянных, как всё во Вселенной...

Зверь с большими сказочными глазами глядел на солнце, а синие птицы сами открыли дверь в небо и улетели. А за ними ангел, потом второй, третий...

Философский клуб, возглавляемый главным садовником апельсинового сада, открыл сентябрьское заседание вопросом о текстах бытия и полотнах понимания – их взаимодействии и взаиморастворении. Бедарко, так звали одного из философов, зачем-то прикрепил к теневой стене портрет черноволосой женщины на оранжевом фоне, рисованный детской рукой. Другой философ прикрепил к противоположной стороне фотографический портрет поэта Бодлера. Причём ржавой кнопкой, которую считал незаменимой в подобном случае. А случаи все подобны...

Может, мне совсем в другую сторону, в прошлые праздники, в Люмьеров поезд, в старую Одессу, на дерматиновый диванчик, туда, где пахнет телефонной несокращённой болтовнёй и тройным одеколоном... Алхимик-Время съест ради скуки яблочко, разомнёт комочек мёрзлой земли и, смешав крупинки пространства с ночными стихами, подумает: «Какие странные двory, дома пусты, и окон мало, и даже свет от одного окна, словно подвыпивший франт, качается на ветру и уходит в колючую тьму переулков. Разделённый на множество своих бесподобных подобий, он всё-таки умудряется оставаться светом от одного окна...»

Хоть сотни встреч поназначай, всё слышишь голос одинокий того, кто больше не придёт ни на одно из прощальных свиданий. Долговорот дней. Остановка невозможна. Ложно и счастье, и горе. Подперев ладошкой щёку, словно в детстве, я сижу у окна и жду, когда на пустом горизонте появится точка, живая, всё увеличивающаяся, превращающаяся в человека. Убранства мира и устройства внемира – всего лишь тени света и тьмы, не зависящие от наличия или отсутствия лени рассуждающего... Точка всё не появляется. Но зато откуда ни возьмись сел на моё вязание жучок - изумрудный бочок. «Здравствуй, маленький вестник надежды!»

Раненая птица

Можно ли полюбить раненую птицу? Да, конечно, так хочется вылечить её и непременно отпустить в небо, просто вынести в поле, поднять высоко-высоко, разжать руки, и пусть себе летит.

Можно ли полюбить раненого человека? Конечно, ведь он так нуждается в помощи, не может обойтись без неё. И привязываешься к раненому, и чаще всего, если возникает симпатия, то сильнее она у сиделки, – люди любят всё, что связано с собственной добротой...

А можно ли полюбить человека, раненого в душу? И опять да, но ухаживать за ним гораздо труднее и, прежде чем ты сможешь пожелать ему доброго полёта, не раз засомневаешься: а стоило ли браться за такое трудное дело? Да, мы больше боимся ухаживать за человеком, похожим на раненую птицу, чем просто за раненым человеком.

Долго готовясь к празднику, расшивая платья и шарфы прозрачным стеклярусом и золотистыми пайетками, ждёшь, что праздник получится таким же нарядным и радостным, как твоя одежда, как ожидание праздника. Но не слишком ли это? Ведь в осуществлении праздничной радости, которую ты задумал, расшивая наряды, должны участвовать другие люди. Но они не всегда чувствуют готовность радоваться обязательно вместе с тобой. А радостная, творческая подготовка – это уже очень много! Скажи спасибо, что не побили.

Если выпущу из рук твоё неодинокое молчание – ведь ты молчишь сам с собой и со мною – я затоскую: ведь только твоё неодинокое молчание и есть у меня о тебе. Но оно такое бесконечное, что мне хватит его навечно. Поэтому жаль выпускать из рук найденную кверху решкой монету, тем более, ею оплачивать небо, которого мне не хватает. Я никогда не умела торговаться, но оставьте мне молчание и подарите небо. Пожалуйста. Я ведь так боюсь этого.

Уставший от работы труженик и никогда не уставший от неё бездельник выглядят одинаково беспомощными, когда внезапно проснутся, а в комнате пусто. Погибшее дерево долго мечтает быть захороненным в топке. Кисточка, словно случайно попавшая в жёлтую краску, задумала синие звёзды. Дрожа на листке бересклета, росинка смеётся над миром травы, в который вот-вот упадёт.

Дверная ручка символизирует безнадежность. Пыльный ковёр. Две фотографии. А лиловые тюльпаны в зеркальной вазе уже начинают чернеть. Я знаю тебя целую вечность, но сегодня узнаю города, забытые твоей любовью, дома, покинутые твоими птицами, книги, прочитанные тобою на моём языке.

Что бросишь на землю, всегда возвращается в небо, а дальше – неважно.
Опять ошибаюсь точнее, чем в прошлую пятницу.
Сроки унынья – падение уровня правды.
Дремать на рассвете – одно из моих увлечений.
Особенно верят мне в эту пору слетевшие с клёнов и ясеней листья –
и, в знак уважения, дарят серьёзные сны.
А днём веселится художник.

Рисунки

Иногда удавалось крылатое изображение неизвестной поэзии. Женщина или мужчина – автор дивного хитросплетения линий полёта? Но точно не я... Это просто обрывок письма или стихотворенья наваял тревожную горечь улыбки. Когда непрерывный огонь обжигает недвижные пальцы, они говорят на чужом языке, не пытаясь своё рассказать. Милосердие смысла.

Если хочешь, пойми по-другому особенный взгляд.
Ни к чему своенравные люди не смогут придаться...
Я стою, обернувшись спиной к ожидающей скуке.
Пуст ошибочный лист, и не стоит к нему прикасаться.
Фиолетовый блеск на бутылке, нейтрально-зелёной.
Ноль – всегда продолжение, то, что придумает взгляд.

Бездельем одиноким награждён,
блаженствует закончивший работу -
мотивчик напевает популярный
и странно улыбается чему-то
внутри себя – он чувствует победу,
которая приятным холодком
окутывает мысли и мечты,
готовые отправиться на поиск
очередной неначатой работы.

Рукodelие

Цветное настроение покоя –
Лоскутное большое одеяло.
Давно-давно веретено вертелось,
Льняная нить над смыслом колдовала,
Которому название – полотно.
Мелькали пальцы юных вышивальщиц,
И красных птиц на свете прибавлялось.
Вольно и мне придумывать узоры
И древнее вертеть веретено.

На смену белому одиночеству листа приходит жёлтое одиночество сомнения, оранжево-красное нестерпимое одиночество, когда боишься толпы, но нуждаешься в одном единственном человеке, а он не приходит – не может, заболел, опаздывает на целую жизнь. В собрании одиночеств – бесчисленные запятые, когда их ставишь, на это самое микромгновение принятия столь мизерного решения кажется, что встретил или вот-вот встретишь того, кто спасёт, выведет за руку, выдернет за волосы, вышвырнет вон из смешения цветов одиночества, образующего сплошную иссиня-чёрную вязкую темноту, сквозящую снежинками далёких звёзд...

Зарядили дожди. Унылые темноты дирижаблями зависли над красками восторга. Звёзды и звери спрятались в чёрных норах. Трудный художник купил на базаре хурму и разрезал её на кусочки. Подумал: уважение к зеркалу – стирать с него пыль, вежливость зеркала – успеть вовремя убавить резкость и помнить обычай потерянных кукол – смотреть и смотреть в пустоту. Художник подумал: дождь – это стук кукольных слёз.

Талантливый кот, хитреющий на глазах, передумал. Зачем оставаться предсказуемо-мечтательным созерцателем, когда есть для кого – предсказать невозможное. И он лизнул меня в правую щёку, подразумевая левую руку. Нарисованный мир оказался спасительным, и кот пошевелился во сне, тем показывая, что с него достаточно свершившегося на данный момент. А завтра, которое уже пришло, пусть подождёт, когда кот выспится.

Ты забываешь на вокзале вещи. Не блещешь ни радостью, ни младостью. С тобой дружны цветные настроения, но ты симпатизируешь бесцветно-белой бумаге. Бесцветно-чёрная тьма обиженно прячется в зрачках обитающих в серединном благе чужих. Угроза розы – уколоть – не вынесла твоих насмешек и опала красными лепестками на письменный стол. Целый мир заслонён разлукой. И не нам с тобой обижаться на бесстрашно вымахавший клён. Над голым холмом, повторяя его очертания, взметнулась Ирида. На вершине холма появился Петрович – усталого вида Ангел. Иди к нему навстречу, он нашёл твой чемодан, в котором лепестки роз смешались с ненаписанными строками.

Давай, соберём полный пакет осенних листьев.
Не граблями, не охапками, а по одному: листочек к листочку,
как собирают дети, выбирая самые красивые.
Потом один из нас заберётся на скамейку,
чтобы оказаться выше другого,
и начнёт сыпать листья на голову стоящему на земле.
Что приятнее: осыпать листьями или быть осыпаемым ими,
разноцветно-шелестящими в серебристом воздухе
ясного сентябрьского дня?
На этот простой вопрос мало кто сразу ответит, –
большинство удивлённо и задумчиво промолчит,

**

Спиной к спине прижатыми плечами, перекличкой звонких кастаньет приходит ощущение жизни. Я зажигаю белую свечу, и она горит высоким пламенем. Огонь – дорога. Привыкшая к журавлю, жду свою синицу, маленькую, озябшую. И когда тихие люди говорят непонятно о чём, я вспоминаю дым, который всегда уплывал в небо, и ковыль, который никогда не растёт у забора. Мировая Душа, пронизывающая и оживляющая космос, напоминает каждым атомом моего тела о том, что не абсурдно знание о духовных семьях и своей звезде. Горьковато-свежие мотивы нарастившей силы души, частички Мировой, напомнили детство, где мечты строптивы, но крылаты...

Вокруг меня всё детство были крепкие казахские и немецкие семьи, крепкие своим патриархальным укладом, связанным с глубинностью религий, внешних атрибутов которых мы, дети, не замечали. В краю ссыльных боялись учить детей религии, но жили по Библии или исполняя заветы Магомета. У всех были большие семьи – то ли из-за отдалённости больниц, то ли из-за ужаса панического перед убийством невинной души. Боялись и того, что жизни лишатся – ведь работали все женщины тяжело, у всех было большое хозяйство. А детей оставлять сиротами? Многие и сами были сиротами войны, у кого отцы на фронте погибли, у кого в сталинских лагерях. Рожали детей, сколько Бог давал. Несмотря на тяжёлые условия жизни, дети редко умирали. Надо отметить, что, "благодаря" «делу врачей» в селе был прекрасный главврач, хромоногий еврей Никодим Самуилович, к которому приезжали на операции из столиц. Были при нём и акушеры, две пожилые женщины. Одна из них и мне помогла на свет родиться. Мама страшно мучилась, так как до последнего дня тяжело работала на огороде и с животными. Высадив рассаду помидоров ветренным июньским днём, едва дошла до дому, помылась и пошла в больницу, а до неё без малого пару километров. Я родилась сильной девочкой с громким голосом, хотя сейчас у меня голос очень негромкий, даже слабый.

Много детей рождалось до 70-х. Что уж потом произошло, не здесь об этом рассуждать, но я всегда хотела иметь много детей. У меня два сына, но детей действительно много – это мои многочисленные ученики, о судьбах которых я переживаю, которых пытаюсь научить тому, чему меня научили прекрасные родители и честные, внимательные, не добренькие, а добрые учителя.

Все тупики уже заняты.
И все подходы к ним тоже.
Остаётся один путь – на свободу.

Возможность явиться мастеру мастерицей. Вязальные спицы тихонько позвякивают о холоде пространства, нарисованном блёклыми красками на голубом снегу. Огонь ремесла греет моё сердце, в котором снимает угол смиренное опустошение.

Приметы кочевой жизни: пыль на мягких ичихах, солёный шоколад загара, тягучее подпевание многоголосому эху ветров. Безмолвное прислушивание к степной вечности бело-голубого знойного неба, к шёпоту позёмки, за которым уже не спрятаться вою бурана. Взгляд из-под руки – а кто это там навстречу – всадник ли, путник? И ещё радость – когда видишь птиц, реющих на прозрачных высотах...

Сквозь самую последнюю усталость я не живу, но продолжаю жить. "Слишком много души", – упрекнули... И правда. Вспомнился обычай – улыбаться на всякий случай, глядя в зеркала. Улыбаться тому, кто владеет их ложью и правдой, повторениями отражений и их вечной игрой: "найди как можно больше отличий..." Улыбаться тому, кто любит заказывать письма к себе и, получая их, читает с добрым пристрастием, ценя каждую букву, – как она наклонена, стоит или пляшет, готова взлететь или расплылась как медуза... Улыбаться тому, кто всегда слегка вспоминает меня, идущую вдоль, поперёк, вверх, назад и по кругу с букетом полевых строк в сторону запредельной грусти...

В предпоследнем месяце весны пыльца немого немытого солнца щекочет душу и заставляет её тихонечко, но с удовольствием робкой надежды на возможное, неважно где и с какого понедельника счастье, смеяться. Так, знаете ли, смеются дети – нежно, в ответ на маленькие, в два-три слова, в полтора образа характеристики мимо пробегающих собак, сиюминутных состояний, эмоций. Дети любят объяснения по ходу пьесы, которые им не велят запоминать. И эти объяснения они всегда запоминают.

На самых высоких полках Вселенского Скриптория неизбежно находишь негромкие полночные книги, где смесь стихов и прозы то тщательно, то слоисто размешана. Минорные темы, витанье загадочности, молчанье межстрочий и даже межсловий, намёки на ацтеков, ордынцев, сарматов и древних осетин – на их вышивки, арканы, золотые и каменные скульптурки. Далёкий гул вечности – в топоте диких тулпаров и вое одинокого голубоглазого волка. Ясное видение себя в прошлых и будущих армиях и кочевьях: то скуластым стариком в лисьем малахае и стёганом ватном халате, то худенькой девочкой-нищенкой в пыльной рваной одежке, которая бежит к красной стрелочке, пробившейся из-под ледяной земли – сейчас раскопает луковичку и съест. Ах, как сладко! Слаще всех будущих конфет и варений, поданных на королевских подносах инфанте Маргарите...

Дай-ка я тебе почитаю, дай-ка я тебя почитаю. Смешаем наши необычные обывочности и обычные необычности, подсыплем привычности и отвычности и пустым всё это по ветру. Он то знает, что с этим делать, в какие дальние и ближние зарубежья неизвестности забросить резидента нашестобойной разведки – пережитое нами чувство невозможности ответов на простые вопросы – почему и зачем... Мы это чувство пережили, и уже не стоит ждать возвращения ветра...

Холодные лучи потусторонности светят мне прямо в душу, леденят её синим своим блеском, роняют свои хрусталинки на мои пальцы и я начинаю рисовать то, чего никогда не знала и не узнаю, что кажется невозможным для изображения. Старый холодильник, словно телега, на которой едет уснувший старик, вдруг останавливается, и потом неожиданно начинает своё дребезжание, которое похоже на песню заржавевшего колеса времени...

Красота уходящего мира. Медведица, сонно выбирающаяся из берлоги с медвежонком, уцепившимся за чёрно-бурую, сбившуюся шерсть. Слониха со слонёнком на фоне заката... Улыбка улитки. Лягушка, смотрящаяся в женщину, опустившуюся перед ней на колени. Старая кошка, давно ушедшая в свое равнодушное ко всякой суете одиночество. Четыре угловые полки, на которые пока не знаешь что поставить, и ставишь, ставишь, что попадётся под руку... Магнитные бури особенной силы. Луна, на которой видны пятна. Две звезды рядом с ней. Никаких выводов, всё выводится кем-то, кто знает, куда выводить.

И только старик, запомненный из какой-то детской книжки, всё сидит на берегу в кресле-качалке, укутанный чёрно-зелёным клетчатым пледом. И морской ветер ласково треплет его белоснежные волосы...



Мария Амфилохиева

ПРОЗАИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

для "топора"

или

СОТВОРЕНИЕ МИРА И БОГА



КОТЕНОК ИЗ МЕШКА

Иногда читаешься чего-нибудь на ночь глядя – и начинается необратимый процесс. Всматриваешься в ночную полутьму, в которой горят зеленые и красные огоньки поселившейся в доме новейшей техники – горят, словно глаза неведомых зверушек. И сама, как зверушка, вздрагиваешь от того, что приходит в голову. Откуда приходит? Из каких внутренних глубин, точно из огромного мешка выползает? Страшновато даже, что там барахтается, скрытое до поры. А потом – ничего, сживаешься с этим неведомым, приручаешь его, одомашниваешь, форму придаешь... И вот оно уже от тебя отделилось, по бумажному листу крадется, следы оставляет и тихонечко мяукает...

ТРЕТЬЕ СЛОВО

Третье Слово еще не произнесено. Первое было в Начале, когда творящий Дух снизошел в материю, и она ожила, заколосилась, замычала... И человек появился, еще ветхозаветный, быстро потерявший рай и живущий по примитивно-жестким законам.

Считать ли Скрижали Моисеевы новым явлением Слова? Вряд ли. Эти законы лишь упорядочили то, что было наработано.

Исход из Египта и брожение в пустыне скорее стоит уподобить освобождению живого из мертвого. Так себе, что-то вроде среды в неделе Творения. Или все-таки пятница?..

Новое Слово – это Христос с его любовью к дальнему будто к ближнему. Что ему дочь Иаира? Лазарь хоть другом когда-то был...

Акт Творения – великая Теза мирового сонета. Здесь все весомо, грубо и зримо, все по-земному. Христос – великая Антитеза. Точнее, он задает вторую великую тему, зарождающуюся в недрах старой и взрывающую ее изнутри.

Отсюда гонения, неприятие – старые мехи боятся нового вина. Вторая тема грандиозна, но это дорога души, а не духа. Она только намекает на высшую сферу, как намекал на наличие души акт творения материального мира.

Возлюбить ближнего, взяться за руки, на любовь свое сердце настроить – светлая тоска поющей души бродяги у ночного костра. И невесомость распятия, ибо при твердости веры оно сродни полету. А Он знал, ради чего все это, и муки земной оболочки – пустое перед взлетом духовности.

Вот и еще один обертон темы. Христос духовен, но людей сделал только душевными, а потому слабыми. Вот и отрекался даже тот, чье имя – Камень. Но в обновленных душах зарождался некий потенциал уже духовного порядка.

Так и в Творении Господь создавал тела, вдыхая в них души, но до развития души еще надо было дожить: убить брата, оскорбить отца, поклониться золотому тельцу, отречься в третий раз от истины и горько во всем раскаяться.

Третье Слово должно принести человеку развитие духовной сферы. Этот процесс не менее мучителен, чем развитие души.

Обретение в себе Духа – приход к Духу Творящему. Круг замыкается.

Второе пришествие Христа – это не когда Он спускается к людям, а когда люди поднимаются к Нему. Возможно ли такое?

СТРОФИКА СОНЕТА

Строфика классического сонета требовала синтеза в последних шести строках. Это прорыв не просто к новой теме, но и в новые измерения. Потому катрен сменяется секстиной. Неясно только, по каким законам жить там.

Может, прав был Шекспир, упростивший структуру сонета?

У него третья тема ничем не отличается от первых двух, зато потом – двухстишие, словно некое резюме. Воспринимается такая структура проще, но... Но это и есть Конец Света. Это тупик, в который зашел человек эпохи Возрождения, попытавшийся сделать Божественное и Человеческое равновеликими, а в конце рассуждений еще и вывод – мораль от себя приписать. В шекспировском сонете эта система приобретает законченность и умирает. Нет в этом правоты...

Но есть еще Пушкин. Что же сделал он с сонетом в «Евгении Онегине»? Перекрестная рифмовка материального мира, парность душевных движений, опоясывающая структура духовности, закольцованная на себе, и парные строчки в конце – как зеркальное отражение области души – второго катрена. Здесь материя противостоит не душе, а Духу. И эти две твердыни, как антитела, взаимоуничтожаются, аннигилируют.

Душа остается. Прав ли Александр Сергеевич? Или это снова тупик – тупик гуманизма XIX столетия?

Итак, Слово (Дух) в первый раз, в акте Творения, стало плотью, материей, открывая потенциальную возможность развития души. Во второй раз, в явлении Христа, Слово стало душой, открывая потенциал для развития Духа (так как Христос – это духовная сущность во плоти, ведущая за собой души). Третий акт еще впереди. Он чреват Концом Света, потому что материя и Дух взаимоотрицаются, аннигилируют.

Остается среднее звено – душа. Какой она будет? Или как раз ее призвание – объединить свойства материального и духовного миров? Опять Христос? Тогда все правильно. Через Христа человек от мира животного-природного, материального устремляется к духовности и при этом действительно становится человеком. Поднимется ли он дальше, в сферу Духа, к Богу? Да в этом ли его предназначение?..

Аннигиляции не произойдет, только если материя и Дух перестанут осознавать себя антагонистами. Для этого Дух должен перестать гордиться тем, что он Дух. По сути, он призван осознать, что он – вовсе не какая-то «высшая природа» (читай «надприродное»), а нечто осуществляющееся через природу как через единственно возможный материал.

Творец без своих творений – ничто, точнее сказать, «ничто непроявленное». Так и материя, не насыщенная Духом, не существует, так как не может сама себя осознать. Ей тоже надо избавляться, но не от гордыни, а от комплекса вины. Вина действительно есть – осознание материальной формой своего неполного соответствия заданному духовному содержанию.

Но соответствие – вопрос развития, а комплексы его только задерживают, будучи болезнью.

И снова мы приходим к Христу – божественной сущности в человеческой форме. Но в Христе нет антагонизма, хотя нет и абсолютного совершенства. Все логично, все уже сказано: чтобы Конец Света стал Началом, люди должны пройти путем Христа. Да, круг замкнулся. Впереди распятие...

Готовы ли мы? Чьи грехи искупает Человечество?

НАИГРЫВАЯ НА ЛИРЕ

Наигрывая на лире (ах, дребезжащая фальшь старых метафор!), я вызываю тебя из царства теней.

Ты идешь за мной, и я знаю, что оглянуться теперь уже нельзя. Нельзя, потому что, оглядываясь, мы обращаемся к прошлому, а в прошлом навеки остаются лишь бледные тени воспоминаний.

Мне надо дойти до конца, смело глядя вперед, туда, где в отдаленном конце этой бездонной пещеры брезжит свет иного дня. Совсем иного, потому что там мы сможем быть вместе, не разделенные смертью.

Это сродни идее воскрешения, бессмертия душ, сродни возвращению в Эдем, ибо туманное царство Аида – сумеречный иномир – скорее подобен аду.

Орфей оглянулся, хотя свет был уже так близок. Он недостаточно доверял силе своего поэтического слова, а может, недостаточно думал о том, что оно – священный дар богов и потому способно воскрешать. Слово без веры бессильно, даже если идеально обработано мастером. Орфей – мастер, которому не хватило веры.

Мое мастерство не столь изощренно, но я не могу допустить мысли, что рок навсегда разъединит нас. Я не оглядываюсь, я смотрю вперед и знаю, что за всеми нашими сумеречными прощаниями, невстречами, несовпадениями во времени и в пространстве грядет свет, в котором мы радостно растворимся, потому что теней там уже не будет.

В АНТИЧНЫХ МИФАХ

В античных мифах время – более существенная категория, чем в христианских. В гомеровском эпосе все расписано по минутам.

Успеть проскочить между Сциллой и Харибдой, принести золотые яблоки в срок. Даже в речи Орфея, обращенной к Аиду, важным аргументом является юный возраст Эвридики.

В Библии все происходит глобально – тогда, когда должно совершиться. Все числовые признаки – дни творения, 33 года Христа, на третий день, 7 лет тучных и семь тощих – скорее символика, нежели обозначение временных промежутков.

Античная вечность – это очень долгий срок. Христианская вечность – абсолют. Не потому ли не выдерживает напряжения последних шагов к свету и оборачивается Орфей?

Христос, сходя в ад, никуда не торопится и спокойно выводит оттуда всех, кого должно было вывести.

Античный мир имел конец – и Рим был разрушен. Но Рим породил христианство, которому конца не предвидится. Если так, то Конца Света не будет, потому что это не конечный срок, а перманентное состояние.

П ОГИБНУВ ОТ РУК

Погибнув от рук разъяренных вакханок, Орфей соединяется в царстве Аида с Эвридикой. Но это встреча теней – и бледный свет асфоделей – цветов мертвых – освещает этот союз.

Орфей получил то, что хотел. Он, великий певец античного мира, чья музыка могла зачаровывать камни и растения, все же не сумел вышагнуть из зачарованного круга язычества.

Но какая ирония в его гибели! Ведь вакханки растерзали его именно за то, что он был недостаточно язычником – и все страдал по умершей Эвридике, не находя в себе силы радоваться пробуждающейся новой весной жизни. Его лира, дарованная ему богами, воспевала весну, но сам Орфей душой стремился назад, в Аид, к мертвой тени.

Он не был женоненавистником, как решили его убийцы, но он отвернулся от жизни – и получил по желаемому. Он не понимал еще бессмертия в свете и довольствовался тьмой сумеречного царства теней.

Его лира была мудрее, и потому загорелась на небе звездами. Но ведь Орфей – человек, а лира – дар Аполлона.

Может, этот миф – одна из первых историй о том, что божий дар – это нечто большее, чем сосуд, в который он заключается.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» – это отклик Пушкина Орфею. Пушкина, у которого были свои менады...

Н А УЛИЦЕ ЖУКОВСКОГО

Сегодня, на улице Жуковского, слушая стихи в книжном магазине, вдруг поражена была: свет появился после тьмы! Ведь «тьма над бездною...и дух Божий носился над водою»...

Кстати, и воды не должно было быть. То есть свет – от Бога.

Но эта первичная «тьма над бездной», кажется, должна была в себе и свет заключать как нечто изначально непроявленное.

Иначе... Иначе все бессмысленно, ибо все возвратится во тьму.

Хаос не темен, он только неорганизован, но лишь в космосе появляются и светят созвездия.

И в живописи белый цвет так легко замутить. Не тьма крошечная будет, но темная грязь. А если взять поровну белил и сажи, то смесь получится скорее черная. Ну почему так? Почему белый обязан быть чистым и безгрешным, а черному дозволено быть смешанным? Или в этом как раз истина? Белый абсолютен, он только бел, а черный – смесь.

Дорогу в ад мостят именно благие намерения, если к ним примешивается что-то недостаточно идеальное. Но есть ли абсолютное зло? Такое впечатление, что нет. Во всяком случае, не стоит в него верить. Но абсолютное добро встретить тоже чрезвычайно сложно. Белый цвет так легко замутить...

Господи, не потому ли мы разучились различать добро и зло и пугаемся с непривычки белого света, не пропущенного через разноцветную призму грехов наших? Нам он режет глаза. Господи, но ведь не тьма первична, не тьма!..

В ОДА БЫВАЕТ

Вода бывает в трех основных состояниях – твердом, жидком и парообразном. Можно добавить еще: в сжатом – сверхтяжелом и в... воображаемом, сверхлегком. Ведь без идеи воды воды бы не было.

Наверное, и душа человека может пребывать в разных состояниях.

Среднежидкое состояние обыденной жизни с ее автоматически возникающими заботами, малыми печальями и радостями.

Ледяная заторможенность бездушия или депрессии, когда ничто не может вывести из апатии и безразличия.

Легкое воспарение свободной творческой мысли, взлеты человеческих симпатий и бескорыстных поступков.

Страшное антисостояние, когда идет распад личности, перепутаны все нравственные понятия и уже невозможно даже осознание своей греховности.

И, наконец, сверхлегкое огненное состояние высокой любви, свободного полета, преодолевающего времена и пространства...

ГЛАЗ ГОРА

Глаз Гора, потерянный им в бою с Сетом, мог служить для воскрешения из царства мертвых. Одновременно это глаз Луны. В Древнем Египте изображение этого глаза встречалось часто. Интересно, что изображение глаза в треугольнике есть и на иконах, пришедших на Русь из Византии. Это око всевидящее, знак Бога-Создателя. Но в царство мертвых – в ад – спускался Иисус Христос. Его лунный свет был необходим в подземном грешном мраке... Но он был в то же время лишь отраженным светом божественного солнечного диска.

При желании христианство легко вывести из египетского пантеона. И не только из египетского. Все религии произрастают из единых корней, только возмужавшие стволы не склонны вспоминать о подземных переплетениях.

ПЫЛ УЛИСС В НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ

Пыл Улисс в неведомые дали. Что искал он в океане гневном? Все отгадки его ждали дома. Стоило ли по миру скитаться? Пенелопа гостю, в котором она подозревает, но не узнает мужа, задает вопрос об устройстве супружеской спальни. И тут выясняется главное – что кровать покоится на древе. На том самом, что осью Вселенной является. Знал ли об этом великий скиталец? Знал. Зачем же и куда он стремился?

Впрочем, ведь стремился как раз домой, на родную Итаку, только боги задерживали, прогневавшись.

У Данте Улисс в аду мается не за коня Троянского, а за дерзость великую – за проникновение в воды запретные, слишком к священной горе Чистилища он ненароком приблизился.

Гомер к своему герою добрее – в дом возвращает, где жена его, Пенелопа, несчетное количество раз сотканное полотно его скитаний вновь распускала и создавала заново.

Здесь, Одиссей, ось твоей вселенной...

Зачем же нужно было ему путешествовать? Просто чтобы Гомер мог песнь сложить? И звучит она в пространстве морским прибоем, и весь мир следует путями странника, отбросившего домашнее знание ради недостижимых горизонтов скитания, по волнам песни великого старца, сменявшего зрение на высшую прозорливость...

В РАЗМЫШЛЕНИЯХ О БОГЕ

В размышлениях о Боге самое печальное то, что мы в плену уже существующей испокон веков мифологии. И сам Бог – все-таки миф, человеком созданный. Кто-то возмутится? Да знаю я, что это человек Богом создан по образу и подобию Его.

Вот здесь и камень преткновения. Бог-Творец. Это его первичная функция. Если «по подобию» – значит главное в человеке – творческое начало. Именно поэтому он Богу отплачивает тем, что сам его создает, но уже по своему образу и подобию.

Примеры в любой религии – и языческие боги все время между собой цапаются, как люди, да и при монотеизме ничуть не лучше – только тут уже вовсе шизофрения начинается. Борьба внутри единого сознания. Может, идея троицы имеет самый такой вот медицинский смысл (это помимо того высшего, что на нее накручено, ведь «тьмы низких истин нам дороже...»).

Может, потому меня так влекут самые древние мифы, где речь не столько о богах, сколько о первичных стихийных силах. В это глубже как-то верится, потому что их отголоски в себе ощущаешь...

Вот и поймала сама себя за руку: опять «в себе ощущаешь», значит, опять – по своему подобию. Возможно ли вырваться из этого заколдованного круга собственного сознания?

ЧЕЛОВЕК КОГДА-ТО ОПРЕДЕЛИЛ СЕБЯ

Человек когда-то определил себя как «гомо сапиенс».

Мыслящий. Разумный. Точнее, разумом обладающий. Ох, коварен язык наш! Разумно ли без конца разум свой изощрять и испытывать? Что имеем в виду, говоря «обладание разумом»? Можно ли нам, неопытным и мятущимся, овладеть божественной искрой, в нас заложенной? Не кощунство ли в этом слышится? Впрочем, и корень – «лад» тоже звучит отчетливо. Тогда «разумом обладать» = в ладу быть с этой малой искрой Великого.

Но и «власть» от того же корня произрастает. Впрочем, она задумана была для того, чтобы жизнь отладить, чтобы дела на лад пошли... Это что потом у людей получилось – лучше не думать. А первичная власть – неземная, не от человека, от Бога.

Язык ключ к многим тайнам подсказывает, только и загадки задает – утонуть можно, разгадывая.

И опять же – человек ли язык свой выработал, или Богом речь нам дана? Библия тонко подводит: Бог дал Адаму все вокруг называть, но в своем присутствии...

А разноязычие – опять-таки из отсутствия лада, из столпотворения вавилонского. Только разлад здесь – не между людей начинался, это Всевышний прогневался и поступил очень по-человечески: «разделяй и властвуй». Мда, печальный вывод...

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ХАРАКТЕР

Мировоззрение и характер из одного корня произрастают, как два ствола одного дерева. Если я не привыкла особенно ни на кого, кроме себя, рассчитывать, если даже в танце на руки партнера полагаться опасаясь – вдруг уронит – то чего вы хотите от меня? Могу ли я почувствовать себя смиренной и надежно защищенной, полагающей, будто «все в руке Божией»?

Ну что ж ты не хочешь переубедить меня, Господи, почему не покажешь, хоть издали, что есть в этом мире опора и устойчивость? Сколько можно над бездной балансировать?!

Или так я слепа, что прочный мост тонкой жердочкой представляется? Вот и иду, как во сне, покачиваюсь, но от поисков вечных не отказываюсь. А за соломинку на этом пути хвататься привычнее, чем за перила чугунные...

ИНОГДА ЖАЛОСТЬ ТАКАЯ

Иногда жалость такая переполняет ко всему миру земному, балансирующему над пропастью, вырытой человеческими руками! Все эти глобальные потепления, радиационные мутации, пересыхания аралов... Обнять бы первое живое, что попадет на глаза – и разрыдаться... Не тут-то было. Даже собственная домашняя кошка кусается. И начинаешь помышлять уже о каком-то глобальном самопожертвовании.

А потом спохватиться: опять гордыня? Опять до Бога возвеличить себя пытаешься? Ему-то, Создателю, ему, Великому, виднее все, что происходит на Земле. И не только на Земле. Погляди в ясную ночь на звезды над головой – там миры и миры. Кстати, даже привычное представление, будто это все у ТЕБЯ НАД ГОЛОВОЙ, ложно.

И вдруг – новая печаль. А вдруг он, Бог-то, в масштабах созданной им Вселенной сам растерялся? И сидит он, маленький, усталый, измученный и ужасается: “Что я натворил-то?!” И такое человеческое желание возникает – сесть рядом, обняться и поплакать...

ЕСЛИ КАЖДЫЙ

Если каждый живет в мире своих представлений, то мы еще дальше друг от друга, чем кажется. Не с этим ли страхом вечной изоляции связано желание единоверия?

Одна беда – стремление сходное, а пути разные. И церковь не одна. И нет войн жесточе и бессмысленнее религиозных.

Многие посейчас спасения ищут “приникая к лону церкви”.

От чего спасения? Да от себя. Тяжело с собой, необузданным, ненаправляемым, страшно. Церковь смирению учит, соборности... а проще видеть себя маленьким осколком большого зеркала, что когда-то (по

Андерсену) уронили на землю прислужники Тrolля. Но пока каждый со своим осколком носится – мир ему искаженным кажется. И слово “Вечность” из осколков ледяных не складывается никак – вопреки законам вероятности. Кстати, даже у вероятности корень – в вере, в доле чудесного совпадения. И льда осколки не просто растаять должны – переplавиться. А тогда все заново: воды, воды – и дух Божий над ними. И новый круг начинается...

Какая же теория какой вероятности подскажет тот единственный путь, где первичный океан на капли не дробится?

Виват, Солярис...

Привет тебе, Станислав Лем...

СЕГОДНЯ, ПОДНИМАЯСЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Сегодня, поднимаясь по лестнице к своей квартире, я ощущала отчаянное барахтанье мысли. Так котенок барахтается в большом темном мешке. И вдруг на уровне 4-го этажа мешок словно прорвался...

Если истина существует объективно, то мир непознаваем!

Вернее, путь познания возможен и даже необходим, но дойти до цели человеку никогда не удастся. Можно только приближаться к ней – слишком велик маршрут, слишком несоизмерим масштаб расстояния и наших шагов.

Если же истина субъективна, если весь мир – это наше представление, тогда познать его вполне возможно.

Надо просто заполнить собой все воображаемое мной пространство. Когда это произойдет, я буду идентична себе, мое внутреннее я и границы мира совпадут. Тогда самопознание конечно и свои границы имеет в себе самом.

Но тогда мир конечен. Мне же никогда не была близка идея конца, законченности, завершенности, обреченности на смерть. Даже совершенство не может быть абсолютным, есть только путь совершенствования.

А если движение должно продолжаться, значит, осознав себя, я иду дальше – к осознанию других (а их бесчисленное множество, они все разные, и все они влияют на меня, изменяют меня – и вот уже самопознание можно начинать заново).

Итак, истина объективна. Я ее часть. И хорошо, если эта капля стремится отразить целое, а не ощупывает вслепую свою придуманную оболочку, полагая, будто внутри нее весь мир.

Итак, в районе пятого этажа я, кажется, логически доказала объективность истины. Может, это шаг к постижению Бога?

Во всяком случае, котенку, освободившемуся от мешка, стало легче.

Мария Амфилохиева



*СТИХИ РАЗНОГО ВРЕМЕНИ И
НАСТРОЕНИЯ*

Я ЧЕЛОВЕК

Я человек, я посредине мира...

А.Тарковский

В моей голове обрывки криков чужих и стонов,
Раскаяний поздних всхлипы брошены под откос.
Миру конец зловещий выкаркивают вороны,
И, в общем, уже неважно – пылает мозг или мост.

Над правым виском гневливо цунами бугрит на море,
Левее – ближе к затылку – терактов гремит волна,
И все катаклизмы мира, между собою споря,
Взвалены мне на плечи, так что трещит спина.

Давно посредине мира стою подобьем Атланта,
Немирного мира нашего, смирившегося с войной.
Удерживать эту тяжесть дай мне, Господь, таланта,
Дай Твоего терпения, слезу смахни надо мной!

СОЛОВЕЦКАЯ ТВЕРДЫНЯ

На небе – скошенные тучи,
И волн движенья нележки.
Стоят, угрюмы и могучи,
За краем света Соловки.

Здесь всё устойчиво и крепко –
Был старой веры твёрд оплот.
Ослабла православья сцепка,
И вызрел ядовитый плод.

Те – казнены. Пришли – другие.
И веры вновь слова тверды,
Но помыслов пути благие –
Причина будущей беды.

Безглавый монастырь порушен.
Явился СЛОН. И будет СТОН.
Тверды команды: ужас нужен –
За прегрешенья присуждён.

Да, после долгого ненастья
Вновь расцветают купола,
Но в памяти тверды напасти,
Кроваво-страшные дела...

Живучесть стелющихся сосен –
Укол для каждой ли руки?
Попытки объяснить отбросив,
Угрюмо дремлют Соловки.

** **

В мире наоборотном,
Где победила ложь,
Строимся мы поротно,
Проданы ни за грош.

Каждый – затем рождённый,
Чтобы вперёд-назад
Вновь колыхал колонны
Мёртвых идей парад.

Строимся – марш на месте
В месиве площадей,
В вечном прогорклом тесте
Лозунгов, клятв, вождей.

А меж домов разбитых,
Тайно от глаз скользя,
Небо свивая в свиток,
Ловит свой хвост змея.

НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ

Не хватает Людей в этом городе, полном людей.
Не хватает любви среди любимых, далеких и близких.
Я уеду в леса, где приветливы танцы ветвей,
И закатное солнце с улыбкой склоняется низко

Над водою озёр, укрывающих в тайне глубин
Золотых карасей,
 в ил скользящих за лаской желанной.
Там вечерняя гладь отразит тонкий проблеск седин,
Будто пряди тихонько небесной посыпаны манной.

Догоревший костёр мне подарит остатки тепла,
Вдруг напомнив горячку в час пик на асфальтовых трассах.
Это значит, что к людям опять мне дорога легла,
Чтоб воскресшей любовью своей их согреть постараться...

** ** *

Город из центра стал вытеснять
Все, что мы любим и знаем.
Вот укатила трамвайная рать
В зелень бульваров окраин.

Вот переехали сквер, магазин,
Есть и в домах перемены.
Здесь остаются, глотая бензин,
Офисов тусклые стены.

Наглой рекламой блестят бутики,
Высятся банки помпезно,
Даже течение знакомой реки
Словно изрыто болезнью –

Тихо уносит струенье воды
Мусор, бутылочный пластик,
Но не избавит вода от беды
И не спасёт от напасти.

Скоро окажется центр-мавзолей
Новой и пыльной Помпеей.
Может, окраины примут людей,
Кров им дадут и согреют?

Из цикла «Дань преданьям»

ХУДОЖНИКИ

1. СУРИКОВ

Сибирские крутые склоны,
Излучины великих рек...
Здесь вырастает непреклонным
В своих стремленьях человек.

Душа взволнованна, открыта,
Мечтательна и удала.
Художник станет знаменитым,
Воспев старинные дела:

Упорство, мужество и силу,
По воле вечную тоску –
Всё, что исконно было мило
И Разину, и Ермаку.

2. КУСТОДИЕВ

Ярчайших красок ликованье,
Фольклорной росписи язык!
Лечи, художник, мирозданье,
Являй его прекрасный лик!

В азарте, в сладком упоенье
Забудь мучительный недуг,
Недвижное оцепененье
Спины и слабость чутких рук.

Когда творишь – уже не больно,
И кисть, волшебна и легка,
Пресветлым звоном колокольным
Врачет души сквозь века.

3. АЙВАЗОВСКИЙ

Жизнь – океан, великий, пенный,
Пленяет и пугает он.
Морей волненью и вселенной
Один сопутствует закон.

Что человек? Песчинкой малой
Он брошен в бурю, в шквал, в туман,
Но может научиться плавать
И быть отважным капитан.

Художник, не страшась несчастий,
Морских сражений, злобных скал,
Знал: этот грозный мир прекрасен,
И вал девятый написал.

4. БРЮЛЛОВ

Романтик, академик, мастер,
Успешный модный портретист –
Жизнь предвещала только счастье...
Но, открывая чистый лист,

Он обращается не даром
К печальной памяти Помпей.
Огромный холст горит пожаром,
И высказать всего важней:

В минуту страшную, лихую,
Когда всё гибелью грозит
И боги падают, тоскуя,
В нас человечность победит!

5. ВАСНЕЦОВ

Далёкие гласят преданья:
Богатыри – Руси оплот,
Но вот средь мёртвого молчанья
Распутье взору предстаёт.

Двадцатый век вопросы мечет,
Злорадны окрики ворон,
Покоя нет: и день не вечен,
И окровавлен небосклон.

Быть может, там, в родимой дали
Забрезжит правда сквозь туман
И повернёт нас от печали
К решимости седой Боян?

НА КАРТИНУ МАГРИТТА

За окном немудрён пейзаж:
Птиц не слышен ажиотаж,
И поляна была б пуста,
Если б только не три куста.

На кусты смотрю сквозь стекло.
Лего попусту утекло.
Вот дела – хоть волчонком вой!
Бьюсь в стекло смурной головой...

За окном неизменен мир –
Так же зелен и так же сир.
Невесёлой судьбы итог –
Три осколка лежат у ног.

А на них нанесён пейзаж:
Птиц не слышен ажиотаж,
Зеленеют лишь три куста...
Может, жизнь не совсем пуста?

В. И. Чернышев

СТИХИ О НЕСЧАСТНОЙ
ЖИЗНИ



* * *

В этом году затяжная зима -
Как ожиданье на тесном вокзале.
Или вселенная сходит с ума,
Или за что-то нас всех наказали..

Ну помоги мне подняться, мой Бог!
Видишь, скольжу я по скользкому своду?
Чудо – надежды последний залог.
Правда, вино превращается в воду...

17 апреля

* * *

Благословляю третье мая!
Когда и солнце, наконец,
Не то всерьез, не то играя,
Спустилось наших вглубь сердец.

Час благодати – праздник полдня.
Я славлю божий мир!
Моя мечта – рука Господня,
Орешник, лавр, сосна и мирт.

3 мая

* * *

Зачем мне мученья, стихи и тоска?
Ночью влачил я каменья в гору,
Храм воздвигал из земли и песка,
Мир возлюблял от корней до листка –
Все же, увы, эта жизнь мне не впору!

Ночь *отвалила*, ушла за кручи,
День заступил на смену ночи.
Но продолжаю все так же мучиться,
Цепляясь рифмой за старые точки.

Надо искать не то и иначе,
Крикнув себе и миру: Хватит!
Где же тот ключ, а к нему и ларчик?
Или мой стих никуда *не катит*?

Я проповедовал философию человека,
Не пора ли и мир человечить тоже?
Выдрать нас всех из прогнившего века,
Вместе с душою из старой кожи!?

Или на это мы не способны,
Только канючить, жалобы множа?
Хворост в костер всеильного Собра,
Гремящего своей бронетанковой кожей?

Дух наш ничтожен пред мощью тела,
Наши стихи слабосильней орудий?
Значит, не нам злая пуля пела:
Ниц упадите, ничтожные люди!

Или и нам нарываться не стоит?
Так же робели мы взглядов конвойных,
Ночь вдруг помедлит и успокоит,
Мимо к утру прошумят наши войны...

Нет, трепещите, живущие даром!
В мир я был послан для Нового слова!
Заревом, маревом, бурей, пожаром
Путь мой намечу среди зимнего сора!

Ночь не вернется с погонщиком старым,
Я раскалю свои строки на горне.
Встаньте – рабы, манихейцы, катары,
Пусть я разбитый, поникший, усталый...
Все же иду... Выдирая и корни...

Манихейство соединяло зороастризм с христианством в представлении добра и зла, ведущих между собою борьбу в природе и в душе человека.

* * *

Давай, мой друг, уйдем отсюда!
Здесь Север, холод, снег – увы,
Здесь глупость зlá, тяжкá простуда...
– Но Пушкин? Пётр? Нева и львы?
Но свежесть Павловского парка?
Фонтанка, Мойка, Невский, Клодт?
И даже к Зимнему под арку
проходишь – и душа поет!
И пусть уж холод, снег и слякоть –
Но лучше ли пустыни жар,
Когда и хочется заплакать.
Но лишней капли влаги жаль?

И потому, мой друг, не будем
Мы покидать страну чудес.
Нальём! – и горести забудем!
А выпьем – ну и где тут бес?!
Где все, что нас вчера смущало?
И погружение во тьму,
и Дьявол, и соблазнов жало?
Так пей же! Если б небо знало,
Как трудно сердцу и уму!

21 апреля

* * *

Конец апреля, мокрый лес,
А с неба снег и лед.
Взлететь бы! но крылатый бес
Собьет меня и влет.

Сомкнулись тучи, дождь и снег,
Мой пыл почти погас.
Река времён. Не виден берег,
Куда летит Пегас.

Я был со всеми нежен, мил,
А мир со мною груб.
Зарыться ль рыбой в донный ил,
Не размыкая губ?

И ждать, пока придет тепло,..
Крючок блестит в руке...
Всю землю снегом замело,
И холодно в реке...

Я трепещу и жду: уйдет,
Как наваждение сон.
И бес промажет, трудно влет
Стрелой попасть в висок.

27 апреля

* * *

Нет в жизни счастья, как в эфире
Нет плоти. Лишь случайно рядом
Согласное расположенье
То окон дома с диким садом,
То в шуме звезд ночного бденья.
Все удивительно, и в мире
Произрастанье и цветенье
Сопряжены с числом и мерой.
Как боль сомненья с жгучей верой –
И мир достоин восхищенья!
Пусть жизнь пугает мраком ада,
Пусть мы дрожим пред властью тленья,
Подвластно даже тленье Лире!
Ночные сны, дневные звуки
Соединяют чьи-то руки...

19 мая, пятница .

* * *

Случайно ль жизнь похожа на роман?
Я продолжение его пишу неспешно.
То холода, то ветер, то туман,
Сквозь них бреду как лис во мгле кромешной.

Как видно, жизнь не очень веселá.
Но мне пенять и жаловаться стыдно.
Случайно так колода карт легла,
И вот во тьме ухабы лишь и видно.

Измены вспоминаются больней,
Чем первые блаженные объятья.
Но наше прошлое тем слаще и полней,
Чем ближе ночь, и чем старше платье?

22 мая, понедельник

* * *

Наконец-то и лето пришло.
Целый май где-то с кем-то гуляло,
Мы боялись, что нас миновало –
Вдруг явилось, все свечи зажгло,
И нарциссы в саду целовало.

Словно в храме, я в мире стою,
Вся природа ликует согласно,
Облака высокó, небо ясно,
Птичьей песне теперь подпою,
Подпирая прогнившее прясло.

Жаворóнком взлечу в небеса,
Промелькну над деревней и лесом,
Даже если гульнула ты с бесом –
Мы и сами не с тем же ль замесом?
Здравствуй, матушка, лето-краса!

23 мая, вторник

* * *

Поэзия – письмена на времен холсте,
Даже и в простоте она в волшебстве.
Мы ли ею избраны, те ли мы, те –
Маги по рождению или только в родстве?
Холст над здешним миром простерт меж звезд,
Радостные слова любви полны.
Даже если я только певчий дрозд,
Иволги мне клялись и будут верны.

Труд мой хотя и в радость, но все ж не прост,
Вышивка, иероглифы, отбелка льна?
Даже если я сам всего лишь холст,
Звездам я уподоблюсь, восстав от сна.

Магия, вдохновение – вот наш прорыв.
Слово соединит и *здесь* и *там*.
Горную высоту и грусть речных ив –
Мир и инобытийное прижмем к устам!

Поэзия – долженствование – и воля воль!
Мягче, чем пух цветения и тверже, чем сталь.
Ею мы утешаем и нашу боль,
С нею лишь мы находим и в здешнем даль.

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Т. М. Лестева

Два рассказа:

Ида

Ведьма



И Д А

Они спускались по лестнице, когда Александр поздоровался с шедшей навстречу девушкой, улыбнувшейся ему. Она казалась высокой, выше Александра из-за туфель на тонких шпильках, только что начинавших входить в моду. Чёрное цельнокроеное платье с длинными узкими рукавами с заострённым уголком, петля от которого была надета на средний палец, делало её ещё стройнее. Калерия одним взглядом оценила всё: и платье, и густые рыжие волосы, собранные в пучок, а главное, её светло-карие глаза, в которых затаилась печаль, не исчезнувшая даже при улыбке.

– Что это за волоокая Гера, исполненная тайной грусти? – спросила она своего спутника.

– Ира, из нашей группы. Тебе показалась она грустной? Нет, с чего бы это? Она чуть постарше нас, где-то работала перед университетом. Нет, нормальная девчонка.

И, забыв о ней, они заговорили о предстоящем студенческом вечере, капутнике, близился Новый год. Дня через четыре Калерия увидела Александра, выходящего из аудитории вместе с Ирой.

– Саш, как насчёт «Чаяк»? – спросила она. – С сегодняшнего дня в Балтике «умирают в гавани». Сбегаем, посмотрим? Через пятнадцать минут начало. Говорят, нестандартный фильм.

– Ира, пойдёшь с нами? – обратился он к своей спутнице.

– Да, – согласно кивнула она, – конечно. Я тоже много слышала о нём, надо обязательно посмотреть.

Тембр её голоса был мягким, грудным, но опять-таки Калерии показалось, что звучат минорные ноты, энтузиазма не было слышно. Они вошли в зал, когда журнал уже закончился, на экране шли фамилии операторов и художников по костюмам, и тихо звучала грустная мелодия, с неожиданными тревожными и пронзительными диссонансами, напоминающими крик чаяк. «Немецкий лагерь для перемещённых лиц, я думал о своей жене Денизе», – произнёс главный герой картины.

После сеанса они вышли молча, всё ещё находясь под впечатлением фильма, только Александр тихонько насвистывал запомнившуюся ему мелодию. Фамилию композитора и актёров им не удалось узнать, так как они опоздали к началу фильма.

– Надо бы ещё разок сходить посмотреть, что за актёры, кто композитор, – сказал Александр.

– Нет, – не согласилась с ним Ира. – Очень тяжёлый фильм. Ну, я пошла, у меня скоро электричка. Счастливо.

И она заторопилась к Среднему проспекту, к остановке трамвая. После знакомства они стали частенько встречаться на факультете то втроём, а то и вдвоём. Появились общие интересы, расширился круг знакомых на обоих курсах. Часто ходили вместе в кино, а в театр реже: трудно было с билетами. Если спектакль заканчивался поздно, Ира убежала пораньше, чтобы успеть на электричку. Калерия предлагала ей переночевать у них дома, но Ира

отказывалась, опасаясь, чтобы мама не переволновалась. Она мало говорила о себе, о своих родных, но мало-помалу картина её семейной жизни стала проясняться. Жили они с мамой и старшим братом, холостяком, в ближнем пригороде Ленинграда. Отец пропал без вести во время войны. Старшая сестра и второй брат уже обзавелись семьями и жили отдельно, мама вышла на пенсию лет пять назад. Вот, пожалуй, и всё, что Ира рассказывала о своей семье, где она была самой младшей.

Однажды Калерия увидела Иру в вестибюле, с преподавателем с кафедры пластмасс, невысоким коренастым мужчиной лет тридцати двух, широкоскулым, с черными жёсткими волосами. Он улыбался, обнажая крупные ровные зубы, но было в его улыбке что-то недоброе, хищническое. Она стояла перед ним, глядя в пол, чуть согнувшись, как будто хотела стать ниже ростом. В туфлях на шпильке она была выше его на полголовы. Со стороны казалось, что она в чём-то виновата перед ним. Калерия знала этого мужчину: он курировал работу комсомольской организации и часто выступал на заседаниях комитета жёстко и требовательно. Когда она подошла и поздоровалась, Ира улыбнулась, как ей показалась, с облегчением.

– Ну, наконец-то, Каля, – сказала она, – я уже подумала, что ты сегодня не приедешь. Минут двадцать назад спустилась встретить тебя, а случайно увидела Бориса Петровича. Ну, пойдём? – она вопросительно взглянула на Калерию и попрощалась с собеседником.

Тот взглянул на Калерию с нескрываемым неудовольствием, но подруги уже поднимались по лестнице.

– А откуда ты знаешь Бориса? – спросила Калерия.

– О, это давняя история, – ответила Ира, нехотя. – Не будем заниматься археологическими раскопками. Сегодня ты меня просто спасла. Спасибо, я в библиотеку.

А Калерия поспешила на кафедру. Дней десять они не виделись. Встретив Александра, она поинтересовалась, куда же делась Ира.

– Да она болеет уже больше недели.

– Что же ты молчал? – возмутилась Калерия. – Поедем её навестим.

Они зашли в деканат, узнали адрес и поспешили на вокзал. Ира жила на окраине города, в небольшом пригородном посёлке с совхозом, куда удобнее всего было добираться на электричке. Несколько одно- и двухэтажных домов стояли неподалеку от платформы, ни на одном из них не было ни названия улицы, ни номера дома. Наконец какая-то женщина показала им двухэтажный деревянный дом довоенной постройки, типа барака, который они искали. Вошли, позвонили, им открыла полная пожилая женщина, седая с большими голубыми глазами на бледном лице, которое обычно называют мраморным.

– Проходите. Ида! Это к тебе.

Прихожей не было, вошли они прямо в кухню. В дверях стояла Ира, одетая в теплый ручной вязки толстый шерстяной свитер длиной почти до колен, в шерстяные рейтузы и валенки.

– Ой, зачем! – Ира показалась смущённой. – Я через два дня уже выпишусь.

Голос у неё был мягкий, мелодичный, грудной, но иногда в нём прорывались звонкие сопрановые нотки, как будто весенняя капля застучала по подоконнику. Они пили чай с яблочным вареньем, болтали и часа через полтора заторопились домой.

– Выздоровливай скорее!

Дня через четыре на факультете Калерия снова увидела Иру в том же чёрном платье, красиво облегающем её стройную фигуру, и с улыбкой пошла ей навстречу.

– Ир! Ты нам так нужна. Будешь вести концерт 23 февраля. Только не болей больше.

Калерии показалось, что Ира вздохнула с облегчением, будто гора с плеч свалилась. Помолчав минутку, она согласно кивнула головой, потом, выдержав паузу, тихо произнесла.

– Я хочу тебя попросить... – снова последовала небольшая пауза.– Ты приезжай к нам, но только одна. Знаешь, когда вы уехали, я весь вечер проплакала...

– Что случилось?!

– Я думала, Каля, что ты никогда больше ко мне не подойдёшь!

– С чего бы это? – глаза у Калерии буквально полезли на лоб от удивления.

– У нас такая бедная квартира! – произнесла она, почти трагически.

– Ирка, ты что, совсем дура?– не выдержала Калерия.– Это надо же такое придумать!

– Мама мне то же самое сказала. А я так боялась!

– А почему тебя мама зовёт Ида?

– Я же Ираида по паспорту.

– А, – протянула Калерия, – дочь героя! Хороша героиня! Надо же, напридумывала себе страхи.

После этого разговора они сблизились. Ира стала более открытой, иногда даже рассказывала какие-то эпизоды из своей личной жизни. Однажды она ответила на вопрос, откуда она знает Бориса Петровича.

– Когда я поступала в университет первый раз, познакомилась с выпускником с факультета журналистики, он недавно закончил аспирантуру, ему было двадцать семь лет, а мне семнадцать. Он представился: Виктор Англичанин. А я не поняла, что это его фамилия, говорю, а вы у нас только учитесь, а живёте в Англии? – Она улыбнулась, но глаза оставались грустными. – На филфак я не прошла, не хватило одного балла, срезалась на поэтах серебряного века, акмеистах и символистах. Откуда я их могла знать? В школе не проходили, дома книг не было, во время войны наш дом разбомбило, а после эвакуации дали вот эту квартирку в бараке. Анатолий, как он называл себя на французский манер, а ля Куракин, уехал, его взяли в «Вечернюю Москву», по благу, конечно. У него тётушка там работала. Мы с ним переписывались, встречались, он часто приезжал в Ленинград, то в командировку, то на праздники, а то на выходные. Позвонит мне на работу, дома-то телефона нет, и я лечу к нему. Где мы с ним только не были! Все

музеи, театры, выставки... Или просто бродили по городу. Он говорил, говорил, ну, знал буквально всё. Такого интересного человека я больше не встречала. – Она замолчала и, как показалось Калерии, попыталась скрыть от неё навернувшиеся на глазах слёзы.

– И что же дальше? А при чём Борис Петрович?

– А дальше мне пришла телеграмма, я была дома, сама её приняла. Открываю: «Толя погиб. Похороны двадцатого. Мама». Он увлекался альпинизмом, поехал с ребятами на Алтай, и там сорвался, страховка не выдержала, летел метров тридцать.

Глаза Иры оставались сухими, только, казалось, почернели, из ореховых превратившись в тёмно-карие, а у Калерии наворачнулись слёзы, она сердцем почувствовала состояние матери Анатолия, единственного сына у родителей. Ира после небольшой паузы продолжила рассказ.

– На поминках было очень много народа, рядом со мной за столом сидел Борис. Он, оказывается, учился с Анатодем в одной школе, друзья детства. Вот так и познакомились. Потом девять дней, сорок... Он всегда навещал родителей Анатолия в эти дни поминовения, и всегда оказывался рядом со мной. А после сороковин пошёл меня провожать. Я согласилась только до электрички. Разве я могла ему показать, где живу. Потом он звонил и звонил мне на работу. Телефона-то у нас нет. Я изредка с ним встречалась, ходила в театр, он провожал меня на вокзал, а дальше я не разрешала. Это его начало злить. Ревнивый страшно! Самолюбивый. Он даже в любви мне объяснился знаешь как: «А ты никогда не задумывалась, почему я вокруг тебя хожу: из дружбы к Толе или потому, что ты мне нравишься?» Он, наверное, думал, что у меня кто-то есть, даже спрашивал, не замужем ли я.

Она снова замолчала.

– А однажды он узнал адрес и приехал к нам домой. Меня не было. Он долго разговаривал с мамой, а та по простоте душевной всё ему рассказала, что после войны пришлось работать в совхозе, чтобы попасть поближе к Ленинграду, перед войной-то нас эвакуировали, дом разбомбило, документы погибли, а ей с четырьмя детьми надо было как-то вернуться поближе к Ленинграду. Старшему брату из-за этого не пришлось учиться, тоже сразу пошёл работать. Средний брат после семилетки учился в ПТУ на токаря, работает на заводе. Да ещё рассказала, что я не поступила на филфак, а работала учётицей в этом же совхозе два года. А у Бориса отец профессор, живут на Кировском проспекте, квартира то ли три, то ли четыре комнаты. И после этого стал меня звать «барышня-крестьянка».

– Фу, какой противный, – поморщилась Калерия.

– Это у него юмор такой. «Барышня-крестьянка, пойдёшь за меня замуж?»

– Ну, и как, когда свадьба?

– Какая свадьба! Это всю жизнь выслушивать, что я ему неровня? Нет уж!

Шли годы, Калерия уже работала в НИИ, Иру оставили на кафедре, времени стало поменьше, встречались пореже, но уж если встретились, то...

– Ну, как на Западном фронте? – обычно спрашивала Калерия. – Без перемен?

– «На западном фронте без перемен», – как обычно с улыбкой отвечала Ира, но грусть струилась из глубины её ореховых глаз.

И говорили, говорили, говорили о жизни, любви, Борисе. Однажды Ира позвонила и попросила о срочной встрече.

– Что-нибудь случилось?

– Всё потом. Каля, прошу тебя, очень нужно, пожалуйста. Встречаемся наверху у выхода Горьковской.

Выйдя из метро, Калерия удивилась, увидев Иру с букетом чайных роз, их было штук семь.

– Так что же случилось?

– Пойдём, по дороге расскажу.

Они пересекли площадь у памятника Горькому, перешли на другую сторону и пошли вверх по Кировскому проспекту.

– Ты, наверное, не знаешь, Бориса направили по обмену на год в Америку, он уже месяцев семь там. А незадолго до отъезда у него умер отец, мать осталась совсем одна. У них в Ленинграде нет никаких родственников. А сегодня у него день рождения. Он просил, чтобы я зашла к его матери, чтобы ей не было так одиноко сегодня.

– О-о-о-о, – понимающе протянула Калерия. – «Барышня-крестьянка» таки решилась отдать руку и сердце? Так иди! Какие проблемы!

От этой шутки Ира внутренне сжалась, казалось, даже стала меньше ростом.

– Я не могу! Я её не знаю, он нас так и не познакомил, ну, как я приду! «Здрасссте! Я Ида». Он меня, как и мама, зовёт Идой. Каль, ты зайдёшь, вручишь Анне Ивановне цветы, скажешь, что просили передать, а кто, не говори.

Калерия недоумённо пожала плечами.

– Ну, а я-то с какой стати? Представляешь сценку: «Здравствуйте, вам просили передать цветы в ознаменование незабываемого и знаменательного дня, когда вы произвели на свет некое создание, которое из-за океана просило любимую девушку поздравить вас и посидеть с вами, дабы вы не почувствовали себя тааа-кой одинокой именно сегодня». Ну, пойдём вместе, в конце концов.

– Нет, я не смогу. Пожалуйста, зайти одна, отдай цветы и всё.

Они уже стояли у пятиэтажного дома на углу Кировского проспекта и ул. Рентгена. Ира с мольбой в глазах протянула ей розы.

– Третий этаж, восемнадцатая квартира налево.

Калерия поднялась на третий этаж, позвонила. Дверь ей открыла полная пожилая женщина с семью волосами.

– Анна Ивановна! Здравствуйте! Мне поручено поздравить вас с днём рождения Бориса Петровича, пожелать здоровья, чтобы вы не грустили, и вручить эти розы. – Она протянула розы. – Я, естественно, присоединяюсь к поздравлениям.

– Проходите в комнату, Ида, я рада вас видеть. Боря сегодня уже мне звонил. Проходите, проходите.

– Анна Ивановна, я не Ида, я только посыльная, выполняю поручение.

– Всё равно проходите. Как Вас зовут?

Калерия представилась. Из прихожей с большим старинным зеркалом в резной оправе они прошли в комнату, вдоль одной из стен которой стояли шкафы с книгами, у окна – дубовый письменный стол, покрытый зелёным сукном и накрытый стеклом. В центре большой квадратной комнаты на круглом столе с вишнёвой бархатной скатертью стояла роскошная хрустальная ваза с гвоздиками и лежал альбом с фотографиями. На стене было несколько портретов – Анна Ивановна с мужем и мальчиком в молодости, большая фотография Бориса, свадебный портрет кого-то из родителей. Они сели за стол. Стулья были старинные дубовые, резные, тяжёлые.

– Признавайтесь, это цветы от Иды? – спросила Анна Ивановна, улыбаясь, как показалось Калерии, не слишком доброй улыбкой.

– Извините, Анна Ивановна, мне поручено сохранить инкогнито дарительницы, – Калерия улыбнулась в ответ. – Так что молчу, как партизан. Единственное, что могу сказать, что цветы не от меня.

– А вы знакомы с моим сыном?

– Ещё бы! Конечно! Он даже предлагал как-то объявить мне выговор за организацию вечера. Кому-то показались идеологические огрехи в капустнике. А Борис Петрович курировал работу комсомольской организации факультета.

– Ну, Вы же понимаете, Каля... Можно, я Вас буду называть Калей? «Ля nobless облиз», положение обязывает.

– Да я не в претензии, тем более, что выговор так и не объявили, – Каля улыбнулась. – Ну, я пойду, Анна Ивановна.

– Ни в коем случае, посидите ещё. Сейчас будем чай пить с пирогами. Боренька очень любит пироги с мясом и слоёные с лимоном.

– Анна Ивановна, не обижайтесь, но меня ждут внизу.

– Так вы за ней сходите, приведите, выпьем чаю, посмотрим фотографии.

– Нет, нет, нет, я честное слово, не могу.

– Как-то неумно это всё. – Анна Ивановна поморщилась, с плохо скрываемым раздражением. – Вообще не понимаю их отношений, что-то не клеится у них, нет откровенности, что ли, искренности, простоты. Боря не очень делится, но чувствую какую-то напряжённость. Знаете, сердце матери...

Она немного помолчала и вдруг неожиданно спросила:

– А вы, Каля, замужем?

– Нет, не берёт никто, – Каля отшутилась стандартной фразой.

– Вааас?! И куда смотрят мужчины?! Но я вам всё-таки покажу несколько Бориных фотографий.

Она открыла альбом, и стала перелистывать его. Калерия посидела ещё несколько минут и решительно встала.

– Анна, Ивановна, я побегу, меня действительно ждут.

– Ну, как хотите. Жаль, конечно, что не хотите попробовать пироги. Но я Бореньке всё расскажу и передам от вас привет.

Около дома Иры не было. Калерия заглянула за угол, она прохаживалась по улице Рентгена, быстро пошла навстречу.

– Ну, что? Как? Почему так долго?

– От твоей свекрови живой не выберешься, – пошутила Калерия. – Тебя вычислила сразу и всё настаивала, чтобы я за тобой сходила. Действительно, глупо как-то получилось, надо было тебе идти самой. Ну, в крайнем случае, со мной. Да ладно, жди реакции от БОРЕНЬКИ. Знаешь, Ир, она дико будет тебя к нему ревновать.

Они дошли до метро, попрощались и поехали в разные стороны. К этому времени Ира жила у Чёрной речки, где им дали двухкомнатную квартиру.

Месяцев через шесть Ира пришла к Калерии домой. Вид у неё был просто убитый.

– Каля, мне просто нужно поговорить. Я на грани. Хоть в Неву. Всё кончено.

– Да, что с тобой? Проходи. Рюмку коньяка с кофе?

Она достала оставшуюся недопитой после дня рождения бутылку пятизвёздного армянского коньяка, поставила рюмки, сыр, лимон. Ира села на табурет у кухонного стола и уставилась в одну точку.

– Я даже не знаю, с чего начать.

– Что, опять БОРЕНЬКА нервы треплет? Или на сей раз его мамочка?

Ира всхлинула. Слезы, так ей не свойственные, покатались по щекам.

– Ну, поплачь, поплачь, легче станет. Да выпей поскорее, хороший коньяк.

Она маленькими глотками между всхлипами выпила коньяк.

– Он..., он просто издевается надо мной. Я без него скучала, он тоже, часто писал, звонил каждую неделю. И даже без обычного этого ёрничанья, подтекста. Вернулся, такой ласковый, всерьёз сделал предложение, мы даже документы подали...– Она снова всхлинула.– И вдруг он увидел меня с аспирантом с нашей кафедры. Мы шли вместе в библиотеку главного здания. Что тут началось! Вечером ехидно меня и спрашивает: «Так это ему, «мадам-крестьянка», я обязан своими рогами? Или только Анатолию? Молодёжьких мальчиков любим?» Я просто онемела, смотрю на него и не знаю, что сказать.

Слёзы снова покатались из глаз.

– Даже школьного друга и то упрекнул! Столько лет прошло, а он ревнует к Толе!!! Я молчу, смотрю ему прямо в глаза. А он продолжает. «Мама была права, надо было жениться на твоей Кале, она ей очень понравилась, не то, что ты».

– Тьфу! – вырвалось у Калерии. – Ещё и между нами клин захотелось вбить.– Ну, а ты?

– Что я? Что я могла сказать? Выслушала всё, молча встала и ушла. А сегодня захала в загс и забрала заявление. Столько лет! – снова всхлинула она.– Столько лет я его ждала!

– Да садист твой БОРЕНЬКА, или просто псих. – Калерия налила ещё одну рюмку.– И слава богу! Представь себе свою жизнь: с одной стороны ревнивый психопат, а с другой – маменька, следящая за каждым твоим шагом и словом. Да ты бы через полмесяца повесилась!

Они разговаривали долго, часов до двух ночи, потом легли спать, Ира заснула сразу, а Калерия никак не могла сомкнуть глаз, вспоминая и свою первую любовь, которая ещё саднила в её сердце. «Нет, все мужчины одинаковы!» – подумала она, закрывая глаза.

Через два месяца Ира вышла замуж за доцента своей кафедры, невысокого, немногословного мужчину, который никогда не повышал голос, даже на лекциях не делал замечаний болтающим студенткам. Через год у них родилась дочь, а перед самым началом перестройки он скоропостижно умер от обширного инфаркта.

– Роковая ты женщина, Ира, – сказала ей Калерия после поминок, моя посуда. – Ну, и досталось нам с тобой по судьбе!

– Да, роковая! Борис тоже умер три года назад.

– О, а я и не знала. А Анна Ивановна?

– Она умерла лет семь назад. После её смерти он женился на аспирантке, но детей у них не было.

Светло-карие глаза Иры как бы потухли, даже грусть не светилась в них, а какая-то пустота.

– Не знаю, как мы теперь будем жить одни. Деле ещё четыре года учиться!

Привычный мир рушился: на руках дочь – студентка филфака, полное безденежье. Немножко спасали гранты: пару раз ей удалось съездить поработать в Германию и в Америку, а потом на кафедре прошло сокращение: договорных работ не было, её уволили, и она исчезла. Телефон не отвечал, письма возвращались назад. Как-то, встретив сокурсницу, работавшую на соседней кафедре, Калерия узнала, что Ира уехала в Америку, где устроилась на работу в исследовательский отдел университета и, как поговаривали на кафедре, вышла там замуж, но через две недели должна приехать на месяц – дочь ждёт прибавления в семействе.

Раздался звонок домофона.

– Каля, это я, открывай.

Загремел лифт, открылась дверь. Вышла улыбающаяся стройная элегантная женщина в чёрном костюме, отливающим чуть заметным золотистым люрексом, с короткой стрижкой каштановых подкрашенных волос, в туфлях на высоких каблучках. Они расцеловались.

– Ну, что дорогая, тебя можно поздравить? Говорят, ты замуж вышла.

– Да, – кивнула она. – Мы вместе работаем.

– Русский? Американец? А почему ты не с ним?

– Американец. Так он же работает. Это тебе не в Союзе. Хочешь за свой счёт месячишко, – пожалуйста. Там не так. Отпуск на недельку и всё, да ещё рождественские каникулы. Всюду хорошо, где нас нет.

– Ир, давай подождём минут пятнадцать, наша бизнес-леди обещали подойти.

– Кто это?

– Наталья, с твоего курса. Мы в одном институте работаем. А она открыла фирму, хозяйка. Ездит на машине с шофёром. Правда, пока без охраны.

Шутит, что на неё кто посмотрит, сразу отскочит. Узнала, что ты зайдёшь, сказала, что обязательно придет с тобой встретиться. Может, ещё филиал откроет в Штатах, а тебя возьмёт директором, – последние слова Калерия произнесла с улыбкой.

– Может, лучше сразу тебя президентом, а меня вице-президентом? – поддержала игру Ира.

Энергично, стремительно вошла Наталья, высокая полная женщина с волнистыми волосами, в которых пробивались седые пряди. Она протянула Калерии бутылку Асти Мартини, коробку конфет, торт из мороженого.

– Коньяк не стала покупать, у тебя всегда припасена бутылочка.

Войдя в комнату, она отдала Ире семь крупных разноцветных гербер.

– Ты, по-моему, была любительницей гербер, – они поцеловались. – Рада тебя видеть. Выглядишь!!! «Где мои семнадцать лет?!»

Сели за стол, открыли шампанское, выпили «За нас, любимых!», беседа поначалу не клеилась. Ира молчала.

– Ну, рассказывай, не томи, – попросила Наталья. – Когда же мы виделись последний раз? Ох, да, на похоронах. Как живёшь, трижды вдова Советского Союза?

– А ты? – вопросом на вопрос ответила Ира.

– Что я? Жизнью в общепринятом смысле это назвать трудно. Кручусь как белка в колесе, работа на работе, работа вечерами, без выходных практически, проблема за проблемой, всем от меня что-то нужно, под постоянным обстрелом со всех сторон. Времени нет совсем. «Ни сна, ни отдыха измученной душе». Одна – одинёшенька. Единственная радость – в Мариинку сбегать оперу послушать, отвлечься от этих повседневных гадостей. Ну, никакой личной жизни! Но духом не падаю. – Она улыбнулась в конце тирады.

– Всё ещё любишь *его*, «одинокая гармонь»? – не удержалась от ехидства Ира, вспомнив, как обычно Наталья отвечала на вопросы о личной жизни, и слегка обидевшись за «трижды вдову». – А я опять вышла замуж!

– Да наслышаны. Молодец ты, Ирка. Есть такой тип женщин, которые не могут жить одни, всегда нужен мужичок рядом. Мужик-то иногда, действительно, нужен: прибить что-нибудь, починить. Не будешь же любовника об этом просить. Мне пока шофёр помогает. А про любовь... Знаешь, как в песне. «Ну, что сказать, мой старый друг, мы в этом сами виноваты...»

Допили шампанское, открыли коньяк и разговорились: «А помнишь...?» Незаметно пролетело время. В половине первого Наталья спохватилась.

– Ой, девочки, мне пора. Кот, наверное, голодный. Ир, ещё увидимся. Позвони, приезжайте ко мне. Счастливая ты, Ирка, молодой бабушкой будешь, не то, что мы с Калей. Тошка не торопится осчастливить её внуками, ну а я... – она безнадежно махнула рукой.

Вызвали такси, и Наталья ушла так же стремительно, как и вошла. Ира осталась ночевать. Они не стали мыть посуду, а просидели, разговаривая, почти до трёх часов ночи. Ира удивлялась какой-то раздвоенности в Наталье,

с одной стороны энергичная деловая женщина, а с другой – минорные ноты неудавшейся жизни.

– Чему ты удивляешься? – ответила ей Калерия. – Первая любовь, вспыхнула как факел, у него быстро прогорела, а она всё ждала, всех с ним сравнивала. Оказалась в вакууме. Ну, поклонников, конечно, был рой, но серьёзного-то никого не было, так для флирта, а уж на всю жизнь... Захотела родить ребёнка, мальчик родился мёртвым. Нет, мужчины боятся таких женщин, видят одну маску феминизма, а что под ней скрыта тонкая нежно чувствующая душа, так это же надо внимательно приглядеться, заглянуть в душу. А многих ли душа сейчас интересует? Вот и комплексует порой, но не часто. Она самодостаточна. А сегодня увидела тебя и, наверное, всколыхнулось былое, юность вспомнила.

Они помолчали. Ира вздохнула с какой-то обречённостью.

– Это я-то счастливая?! Ты даже не представляешь, сколько у меня проблем. Деля – здесь, я в Штатах, она туда переезжать не хочет. А сейчас? Родит, а я ей даже помочь не смогу, через месяц нужно уезжать. Муж дома один, сердечник. Мне пришлось уволиться с работы, кто для меня будет держать место? В наши-то годы! Не работать – сесть на социалку, значит, сюда больше не приедешь, а здесь дочь и внучка будет. Врачи говорят, что девочка. А я и помянуть Анюту не смогу.

– В честь прабабушки решила назвать внучку? Молодец! Анна – хорошее русское имя, и уменьшительных масса. А то у вас всё Иды: Ираида, Аделаида.

– Моя прабабка по материнской линии была Идой, вот и меня так хотели назвать, но отец воспротивился, ему не нравилось. Говорил, что имя происходит от идола. Вот тогда и появилась Ираида. А муж меня тоже зовёт Идой. Судьба! Может, ещё и не вернёшься сюда больше, – так и похоронят на чужой стороне. Пойдем спать. У меня глаза просто закрываются.

Они легли. Ира заснула, как только голова коснулась подушки, а Калерия долго лежала с открытыми глазами, заново переживая все перипетии своей вдовьей жизни и, в общем-то, безрадостной жизни подруг.

Месяц спустя она приехала проводить Иру в аэропорт. За несколько минут до посадки на вишнёвом форде с серебристым отливом подъехала Наталья. Дели не было: Анюта что-то затемпературила. «Видно, почувствовала разлуку с бабушкой», – попыталась утешить её Калерия. Они постояли, помолчали на дорожку, по русскому обычаю трижды поцеловались, и Ира прошла через таможенный контроль, помахав им рукой уже с той стороны границы. Она улыбнулась на прощанье, но глаза были потухшими, даже обычная грусть не лилась из них.

Наталья заторопилась на работу, а Калерия вышла на улицу и почти час простояла, глядя, как взлетают и садятся самолёты. В одном из них улетела Ира, как оказалось, навсегда. Они изредка переписывались, иногда Ира звонила. Года четыре спустя рыдающая Деля по телефону сказала Калерии, что мама умерла от обширного инфаркта.

«Ностальгия! – откомментировала это печальное известие Наталья. – Жаль, надо будет позвонить Деле. Заезжай, помянём».

ВЕДЬМА

В последнее время он часто думал о своей жизни, погружаясь в воспоминания о прошлом. Нет, он не пал духом совсем, он ещё надеялся. Но с каждым новым днём надежда ослабевала. А вот воспоминания всплывали совершенно неожиданными сценами. То он видел себя двенадцатилетним мальчишкой, отважно переплывавшим Ахтубу с двумя друзьями. То он вспоминал своего дядю с моторной лодкой, на которой тот возил его на рыбалку на Волгу. Он просто осязал ступнями упругий волжский песок, когда, выпрыгнув из лодки, входил в воду с удочкой и, стоя по колено в воде, часами ловил рыбу. Дядя любил спиннинг. Оставив лодку, он обходил остров, далеко забрасывая леску с блесной. Ему везло – щурята, окуни, судаки, порой шереспер блеснёт в воздухе, приняв блесну за серебристую рыбку. А ему, десяти-двенадцатилетнему мальчишке приходилось довольствоваться только удочкой и уловом из плотичек, краснопёрок. Однажды на донку попался сомёнок килограмма на три, но и его ему помогал вытаскивать дядя. А он только гордо нёс его по Волгограду домой на кукане.

– Да, – подумал он, – когда же я последний раз был на Волге?

И сам себе ответил: «Лет двадцать назад, а уж рыбачил ... Последний раз в пятнадцать лет, когда дядя взял его с собой на ночную рыбалку. Волга, костерок на островке, палатка, ранняя зорька. А через неделю после этого дядя скоропостижно скончался от обширного инфаркта.»

Своего отца он не помнил, тот ушёл из семьи, когда ему исполнилось только полгода, и исчез; вроде бы он завербовался на север после окончания института, и там где-то погиб при аварии на шахте. Жили они с матерью у бабушки, профессора, преподававшего в волгоградском институте. Бабушку он помнил смутно: ему было года четыре, когда она умерла от перитонита. Дед второй раз не женился, так и жил с дочерью и внуком, посвящая ему всё свободное время. Дед казался ему всегда древним стариком, да, наверное, так и было. Исаак Абрамович женился поздно, единственная дочь родилась, когда ему было уже сорок пять лет, а к моменту рождения внука ему было почти семьдесят. Но внука он боготворил, называл его не иначе, как «кумир ты наш», никогда не отказывал ему ни в чём, водил его на занятия в спортшколу, ездил с ним на соревнования, всегда вместо мамы ходил на родительские собрания. Да, дед им занимался.

– А я? – снова подумал он. – Что я могу дать внуку? Иногда поговорить с ним... а даже на руках не подбросишь, только погладишь по курчавой головке...

И снова тоска вползала в его душу. Молодой, энергичный сорокапятилетний мужчина, он был парализован после автомобильной катастрофы. Нет, не полностью, руки действовали, разум не покинул его, а вот ниже пояса... Перелом нескольких позвонков, паралич ног, и никакой надежды. Прошло уже двенадцать лет после этой страшной катастрофы, а ни малейшего намёка на возможность вернуть хотя бы частично движение, хоть бы пальцами ног пошевелить... А так хотелось пошевелить пальцами!

Но эти мысли он отгонял от себя прочь, хотя забыть тот ужас, когда в его новенький форд врезался военный грузовик, он не мог. Вроде бы ничто не предвещало несчастья. Тёще с тестем срочно понадобилось в город: позвонил кто-то из сослуживцев тестя, что приезжают на пару дней в Петербург, и они, радостные, помчались на встречу с юностью, а встретились со смертью. Удар пришёлся по той стороне машины, где сидела Елена Николаевна, и она погибла сразу, а тестя вырезали из машины, успели довести до больницы, где он скончался на операционном столе. Сам же он был в шоковом состоянии, но хорошо помнил, как и его тоже вырезали из покорёженной машины, потом серия операций, но он остался жив.

– Жив? – снова он задал себе этот вопрос. – А не лучше ли было бы...

Вспоминать этот день не хотелось. Второму сыну, Петру, было тогда шесть лет, старший учился в Политехе.

– Женя, – окликнул он жену.

Никто не ответил. Наверное, в магазин вышла, когда он задремал в кресле-каталке.

И снова он вернулся к тому проклятому дню. Неужели ничто не предвещало несчастья? Нет. Ночью ему опять приснилась шефиня по аспирантуре. Он никак не мог забыть её взгляд. Был юбилей института. Он в это время уже работал в процветающей коммерческой фирме у своего приятеля – Бориса. Лет десять они не встречались с шефиной. Казалось, что развязанная им с Борисом склока, направленная против неё, уже забыта, забыта навсегда. И неожиданно встретив её, чуть поседевшую, но практически не изменившуюся за эти годы, с улыбкой шагнул к ней, поклонившись. Её презрительный взгляд скользнул по нему сверху вниз, и она прошла мимо, сделав вид, что не заметила его приветствия. А он так и замер на миг, с жалкой улыбкой, не ожидая такой реакции. Эту встречу он забыть не мог. «Змея!» Иногда он видел во сне, как стремительно подходит к ней и, обданный холодом её тёмно-серых глаз, просыпается, вздрагивая. В эти дни обязательно случалась какая-нибудь гадость. Однажды сын сломал руку, в другой раз мальчишки угнали его старенький жигулёнок, разбили и бросили его неподалёку на площадке детского сада. В ночь перед аварией... Он вспомнил... Да, опять ему приснился этот проклятый сон. Что это? Она его предупреждала? Или откуда-то из подсознания робко зывали угрызения совести?

Раздался звук ключа, поворачиваемого в замке, чуть скрипнула дверь.

– Ты спишь, Изя? – спросила жена, заглядывая в комнату.

Ему не хотелось отвечать, он сделал вид, что дремлет. Жена тихонько прикрыла дверь и пошла в кухню.

А он снова погрузился в воспоминания. С Женей Петрушко они учились на одном курсе. Симпатичная стройная девушка выделялась на курсе. Весёлая, кокетливая, жизнерадостная, всегда модно одетая, была она дочерью капитана первого ранга, командовавшего подводной атомной лодкой, а в тот момент служившего в штабе округа. А он жил в университетском общежитии

в комнате с ещё тремя сокурсниками. Но в Ленинграде! Ни дед, ни мать не захотели, чтобы он учился в Волгограде, а в Московский университет он не рискнул поступать, пугал его «пятый пункт». Им всем казалось, что в столицах смышлёному пареньку из интеллигентной профессорской семьи будет побольше перспектив. Да, пробыть в окружение Жени было не так-то просто. Но он использовал все методы, шёл к этому три года, медленно и методично, пока, наконец, после летнего колхоза после третьего курса она не забеременела, и её родители, скрепя сердце, согласились на этот брак. Жить с ним под одной крышей? Ни за что! Женин отец купил дочери однокомнатную квартиру на Пискаревском проспекте, уже в построенном доме, так что к моменту появления первенца молодая семья имела крышу над головой и две стипендии четверокурсников. Правда, у Изи она была повышенная: он стремился к красному диплому и аспирантуре. Женя взяла академический отпуск на год, а Изя получил рекомендацию Учёного совета в аспирантуру. Летом после окончания университета он поехал в стройотряд – подзаработать, но топором разрубил себе ногу, полежал в травматологии, и уехал на Волгу на бабушкины и мамнины хлеба. Вернулся он в конце сентября и стал готовиться к экзаменам в аспирантуру. И вот тут-то и произошла осечка. В аспирантуру приняли приехавшего после двух лет работы в Сибири выпускника, а он срезался на экзамене по английскому языку. Это он-то! Окончивший английскую школу!

Даже сейчас, спустя столько лет, обида захлёстывала его: «Антисемиты проклятые!» Не хотелось признаться себе, что перепугал времена глаголов и исказил смысл перевода, поскольку грамматику даже не повторял. Вот и вкатили ему удовлетворительно.

Что делать? Куда идти работать? Попросить тестя помочь? Нет уж! Только не Петрушко. Его университетский шеф, к которому он обратился за помощью, позвонил своей бывшей аспирантке, работавшей в одном из ведущих институтов. Вот тогда он впервые её и увидел.

«А ничего! Красивая баба!» – подумал он. Вьющиеся волосы, тёмно-серые глаза, внимательный взгляд. «Да, Николай Иванович мне звонил. Пойдёмте, я представлю вас начальнику отдела». Дирекция не разрешила принять его в теоретический отдел, где она работала, но выпускника с красным дипломом и ленинградской пропиской охотно взяли на работу в технологическую лабораторию, где он томился в бесконечных командировках, да и в институте частенько приходилось работать по сменам на опытных установках. И так ещё два года до аспирантуры.

Снова жена заглянула в комнату. «Пора обедать! Я приготовила твой любимый салат с креветками». И она повезла его кресло-каталку в кухню. На столе стояла бутылка коньяка и открытая бутылка муската. Ему стало стыдно.

– Какое сегодня число? Я совсем забыл! Сегодня же Шурику четыре года!

– Они зайдут в воскресенье, так что, дед, пока отметим вдвоём день рождения первого внука.

И снова ему стало не по себе, он вспомнил, что и сегодня снова видел во сне юбилей института. Опять эта ведьма приходила. «Как бы не случилось чего!» – мелькнула мысль, но он сразу отогнал её и залпом выпил рюмку коньяка.

Подремав с полчаса после обеда, он подъехал к письменному столу и включил компьютер. Вот уже третий год его товарищ по общежитию, Сергей Коротков, профессор, ставший заведующим кафедрой, подбрасывал ему хоздоговорные темы по квантовой химии. «Пиши докторскую, – говорил он ему. – Вот тебе тема!» Да ещё и зарплату платил, правда, небольшую, но всё-таки... Борис-то уволил его из фирмы, как только выяснилось, что больше ему не встать на ноги. А ведь друзья были – не разлей вода. Но дружба дружбой, а прикованный к креслу инвалид фирме был не нужен. Работа отвлекла его от воспоминаний, и он погрузился в расчёты.

Зазвонил телефон:

– Дед, а ты купил трансформер? – голос Шурика прозвучал требовательно. – Ты обещал.

– Купил, купил, – неуверенно произнёс он, вспоминая, говорил ли он об этой просьбе Жене.

Поговорил немножко с внуком, вернулся к расчётам, но работать не хотелось, что-то не получалось. Он выключил компьютер и задремал. Приснилась Дина.

– Что не заходишь? Я жду. Пообщаемся.

Он вздрогнул: сквозь дремоту услышал собственный голос: «Ты же умерла! Куда ты меня зовёшь?» Проснулся от сердцебиения, свесившаяся с коляски рука онемела.

– Тьфу, чёрт! Приснится же!

Он помассировал руку. Взглянул на расчёты. Нет, сегодня работать не хотелось совсем. Прикрыл глаза и вспомнил Тольятти.

Дина. Крашенная блондинка из бригады московских пусконаладчиков. Было ей тогда лет сорок, шли испытания, они с Борисом уже почти две недели сидели в командировке «без женской ласки», как говорил Борис. К лаборантке Наташке, этакой кустодиевской красавице из ЦЗЛ, к которой они поочередно с Борисом наносили визиты, приехала мать, так что путь был закрыт. Нет, она его не разочаровала: в отличие от сдержанной и холодноватой Жени Наташка любила разнообразие и была темпераментной, вопреки рассуждениям о фригидности полноватых натуральных блондинок. Дина приглашала «мальчишек» на чай, но появлялся на столе и разбавленный спирт, да и «мальчишки» не забывали порой принести бутылку или жигулёвского пивка. У неё был одноместный номер, а он жил вместе с Борисом в двухместном. Он вспомнил, как заливался соловьём, рассказывая всевозможные истории из своей волгоградской жизни. Она слушала с интересом, вспоминая Волжский, где жила месяцами при пуске завода, иногда кокетливо поглядывая на него из-под чёрных, густо покрашенных ресниц. Была она ладенькая, с неплохой фигурой, правда, чуть портили её коротковатые ноги.

Первым остался ночевать у неё Борис. В эту ночь сам он плохо спал, злился на Бориса. Этот «пархоменко», как он дружески его иногда называл, всегда опережал его на секс-фронте, хотя был толстым, неуклюжим, каким-то сальным и, по словам Наташки, громко сопел в минуты страсти... Он же был спортивным, упругим, подтянутым, всегда имел в запасе новый анекдот или какой-нибудь афоризм на все случаи жизни. Но вечно второй! Утром появился удовлетворённый Борис, с маслянистой улыбкой на устах:

– Сегодня твоя очередь. Будь готов!

– Всегда готов, – произнес он бодрым голосом, но в душе шевельнулось злое чувство к нему: опять опередил.

И надо же было такому случиться! Утром, когда он выходил от Дины, через номер увидел свою шефиню, приехавшую ночью, она шла по коридору с «тётей Галей», своей правой рукой. От неожиданности он вскрикнул: «ой!» и быстренько ретировался к Дине.

– Надо же быть таким дураком, – корил он себя потом. – Надо было выйти, поздороваться, как ни в чём не бывало, а теперь...

– Дина, посмотри, ушла шефиня!

Дина вышла в коридор; её номер располагался как раз у холла с телевизором. Обе женщины сидели в холле.

– С приездом! Анна Петровна, вчера приехали?

– Да ночью прилетели.

– Напоить вас чаем?

– Нет, спасибо. Ждём машину. А Вы заходите вечером на привальную, торт из Метрополя ждёт. Василий Владимирович с вами?

– Нет, шеф должен появиться завтра. Ну, я пошла, – Дина вернулась в номер.

Анна Петровна ушла позвонить. Минут через пять Дина снова выглянула в коридор. «Тётя Галя» по-прежнему была на посту.

– Да иди, как ни в чём не бывало, подумаешь, проблема! Они всё равно тебя видели!

– Ты не представляешь, какой язык у тёти Гали. Приедет, вся лаборатория будет знать. А у шефини работает сокурсница жены.

– Да ладно, иди. Мне пора на завод. Опаздываю.

Он, съёжившись, встал и вышел, в холле поздоровался с «тётей Галей», сказал, что заходил за чертежами.

– Знаем, знаем такие чертежи, – она усмехнулась. – Не бойся, Люсе не расскажу.

А ведь рассказала, но рассказала при всей лаборатории. Вернулись они все из командировки, а тут седьмое ноября. Накрыли стол в лаборатории, пили, закусывали, обсуждали производственные и непроизводственные дела, кто-то поинтересовался командировкой. Вот тут тётя Галя и блеснула историями о любовных похождениях их парочки. Но ничего, обошлось, до Жени не дошло. Только Люся взглянула на него с нескрываемым презрением: «И Женя всё это терпит? Выставила бы твой чемодан за порог, и покатился бы ты к себе на Волгу широкую». Да Нора вспыхнула, взглянула на Бориса, но тут же отвела глаза.

– Боренька, потом зайди в нашу комнату, посмотри, у нас что-то самописец барахлит.

Но это были проблемы уже одного Бореньки – на ту территорию он не вступал: слишком уж непривлекательна она была, да ещё и такая разница в возрасте...

Люся, Люся... Прошла любовь. А какая страсть вспыхнула осенью в колхозе. Он даже хотел уйти из семьи... Срочно прилетела из Волгограда мать, охладила его пыл словами: «Изя! Ты рос без отца! Хочешь и для своего сына сиротскую долю?» А вот преступить черту эта рыжеволосая синеглазка не захотела. Её он не видел очень давно. Люся вышла замуж, родила сына и уволилась. Поговаривали, что она вскоре разошлась с мужем, но он не был уверен, так ли это.

– А женись я на ней тогда, может быть, был бы здоров, и тещь с тёщей были бы живы.

Эта мысль впервые пришла ему в голову...

Вошла жена.

– Поедем ужинать, мыться и спать!

– Как с малым дитём обращается, – недовольно поморщился он. – А я бы её ненавидел, случись такое с *моими* отцом и матерью. А она простила. Простила? А за что? Не виноват я. Ну, реакция не сработала, не нажал на тормоза...

Вспоминать расследование и суд не хотелось... Судья требовала ответа: «Почему вы не тормозили? Почему, почему?» Да потому!

– Ты Шурке трансформер купила?

– Трансформер? Я купила ему железную дорогу и спортивный костюм.

– Какую дорогу! У тебя что, совсем память отшибло? Он трансформер хочет! Все уши мне прожужжал.

– Не волнуйся, куплю, ты мне ничего не говорил про трансформер.

– Я? Не говорил? Ты записывай! Что, склероз уже?

Она промолчала, толкая коляску в сторону кухни, только взглянула на него зло, без обычного смиренного терпения. Он со злостью отбросил её руки, сам начал крутить рычаги своей инвалидной коляски. В кухне залпом выпил грамм сто коньяка, но раздражение не проходило. Съел котлету с картофельным пюре и жареной капустой, налил ещё рюмку коньяка...

После ванны лёгкая истома разлилась по его телу, но спать не хотелось. Он лежал с закрытыми глазами и думал, думал...

В соседней комнате жена кому-то жаловалась по телефону.

– Сегодня что-то хандрит, раздражён.

Он накрыл голову одеялом, чтобы не слышать.

Опять вспомнился институт, Люська, шефина. Когда ему осточертели установки, он попросил Люсю переговорить с Анной Петровной.

– Трудно будет перейти, дирекция мне постоянно вставляет палки в колёса, но попробуем. Попытка – не пытка. Действительно, квантовика после университета торчать на опытных установках нерационально.

Ей удалось преодолеть сопротивление дирекции, теперь он занимался теоретическими разработками, сдавал кандидатский минимум и готовился к аспирантуре. Он вспомнил сорокалетие шефины, и её рассказы на банкете. Отдел одновременно праздновал своё пятнадцатилетие.

– Я – ведьма, – произнесла она неожиданно. – В средневековье меня точно бы сожгли на костре.

И она рассказывала всевозможные фантастические истории, в которых предсказывала судьбу, и всё сбывалось, и о том, как по её просьбе Илья-пророк тотчас же изменял погоду, и о конфликтах, в которых какие-то высшие силы всегда стояли на её стороне.

– Я даже боюсь этих сил судьбы. Если я делаю кому-то только добро, а он или она потом отплатит злом, обязательно наступает расплата. Причём без моего участия. Стоит только от обиды сжаться сердцу, от несправедливости, и карающая рука обязательно достигнет обидчика. Но только в том случае, если я не отвечаю какими-то действиями на эти незаслуженные обиды. Если же начинается двусторонняя война, то сверхъестественные силы не вмешиваются. – Она засмеялась. – Наверное, наблюдают со стороны, кто же победит, чтобы потом поддерживать победителя. Просто всех новых знакомых предупреждаю, рассказываю все истории. Не верят, пока самих судьба не шлёпнет за очередную гадость.

Он вспомнил свою реакцию на её откровенность, пожал плечами: «Вроде бы естественник, и такую дурь несёт». И забыл, и больше не вспоминал никогда эти байки.

Нет, однажды вспомнил. Это было перед его предзащитой. В институте бушевала склока, уже готовились вопросы и выступающие с тем, чтобы его прокатить по всем правилам современной науки и техники. Особенно активным был Безухов со своим замом, враждовавший с шефиной уже несколько лет. Это началось после того, как его стараниями уволили из института пожилого профессора, к которому она относилась с безмерным уважением. Приходившие из столовой лаборантки, встречавшиеся там с подружками из вражеской лаборатории, и особенно тётя Галя, приносили безрадостные слухи о том, что его завалят. Он нервничал, перечитывал ещё и ещё раз доклад, сам себе задавал вопросы. Обычная самоуверенность иногда покидала его, и он холодел, представляя, как будет доволен тесть его провалом. Шефиня же была оживлена, отмахивалась от приносимых сплетен. «Да успокойтесь вы, всё будет нормально, рекомендуют к защите, а в университете... Кто там будет слушать их бредни?» Он успокаивался, но всё же нервничал.

И вдруг, за неделю до защиты в лабораторию влетела тётя Галя с выпученными глазами. «Представляете? Безухов умер вчера на операционном столе!». Все замолчали. А она продолжала рассказывать о командировке на завод в Эстонию, где они отметили, как всегда достойно, прибытие. Утром ему стало плохо, весь пожелтел. На заводе врач предложила вызвать скорую помощь, он отказался, дождался поезда, вернулся в Ленинград. Прямо с вокзала отправили его на операционный стол, сделали операцию. Выйдя из наркоза, он пришёл в себя, поблагодарил врачей, и через два часа умер в

реанимации от общей интоксикации. Все заохали и заохали, и только Анна Петровна подняла на него глаза, ему показалось, что они были чёрными, как агат, и спокойно произнесла: «Вот всё и решилось. Смерть работает на нашей стороне». Его поразила жестокость её слов, подумал: «Действительно, ведьма!» Ни один из безуховцев не рискнул произнести ни слова на защите, правда, пара анонимок в ВАК всё же поступила.

Прошло две недели после дня рождения внука. Младший сын дома появлялся редко. Студентам разрешали порой оставаться ночевать в общежитии в Петродворце, чем он регулярно и пользовался, когда деньги были. Женя нервничала. Звонила ему, а он... он никогда не набирал его номер. Петя был светлорусым, синеглазым, круглолицым с открытым взглядом синих глаз, чуть курносый, и очень походил на тестя. Увидев его впервые, Елена Николаевна улыбнулась: «Ну, этот наш, вылитый Петрушко». Она так и звала его – Петрушко. Когда он начал говорить, и его спрашивали, как его фамилия, он всегда отвечал: Петлуско! Дед с бабкой смеялись, Женя улыбалась, а он приходил в ярость. Но ничего сделать не мог: пришла пора совершеннолетия, и сын взял фамилию матери. Женя тоже не стала менять фамилию при замужестве, смеясь, сказала ему, что женщина должна сохранять индивидуальность, да и каждый раз менять фамилию хлопотно. Он с трудом сдержался, хотя ярость вскипела: «Еврейской фамилии не хочет, Петрушка!» Но цель была близка, смирился, единственный раз уступив ей за всю жизнь. Но чтобы сын не взял фамилию отца! Да ещё больного, беспомощного отца! Этого он простить не мог, и вычеркнул его из своего сердца.

Опять вспомнился тот проклятый день. Накануне ему снова приснилась шефиня, презрительно взглянувшая на него. «Ну, ведьма, никак не забудет ко мне дорогу!» – подумал он. Но день не предвещал ничего плохого. Пети не было, он сказал, что они в общежитии отметят его совершеннолетие, а дома – только в воскресенье. Так и отмечал три дня в общежитии. Явился домой только часа в два в воскресенье, голодный, похудевший, но весёлый и жизнерадостный. Как бы мимоходом сказал: «Папахен, а я взял мамину фамилию, так что ...» Но договорить не успел: «Подонок! Да я тебя!» Ему показалось, что он даже вскочил от ярости, пытаясь ударить сына, но руки ослабели, и он беспомощно сполз в кресло. «Подонок!» Слёзы ярости полились по худым, гладковыбритым щекам. Вбежала Женя: «Что случилось?» «Твой, твой, ублюдок...» Больше он ничего не смог сказать, забился в истерике. Женя бросилась в кухню за корвалолом. Руки её тряслись. «Уйди! Не могу видеть вашу проклятую породу!» Но она всё-таки ухитрилась влить ему корвалол, потом принесла стопку коньяка, он выпил, выпил ещё рюмку, и остался один на один со своим горем. Вечером, когда пришли гости и старший сын с внуком, он никого не захотел видеть, даже внука, так и просидел один в комнате, закрытой Женей по его требованию на ключ.

Петя же, как ни в чём не бывало, входил к нему, интересовался самочувствием, помогал матери мыть его, укладывал в кровать, когда был

дома, но никогда ничего ему не рассказывал о своей жизни, односложно отвечая на все вопросы: «Нормально!» А после предательства он ни о чём не спрашивал сына, только приказывал: «забери, отнеси, принеси», как чужому прислужнику. Женя поклялась, что она ничего не знала, хотя где-то в тайниках души была довольна, что не превратится в род Петрушко. Она была единственной дочерью у родителей, жизнь которых так трагично оборвалась. О вине мужа она старалась не думать, но иногда, когда он был особенно раздражителен и придирчив, вспоминался вопрос судьбы: «Почему вы не тормозили?». Она тяжело вздыхала: «От судьбы не уйдёшь!» Хорошо ещё, что не отпустила тогда с дедом с и бабкой Петю. И терпела, терпела, терпела.

Женя была благодарна Сергею Короткову, присылавшему мужу работу. Он был на пару лет старше Изи, но они учились на одной кафедре, вместе играли в футбол, и связи не нарушились. А вот Борис... Она поморщилась, вспомнив, как просила его помочь, отправить на лечение в Германию, а он сначала дал пятнадцать тысяч, а как только мужу оформили инвалидность, сразу уволил его. Она вздрагивала каждый раз, вспоминая эту жуткую сцену, как Изя сначала просил, а потом кричал на него: «Ты, Пархоменко, что ты без меня? Ноль! Ты хоть бы подумал, сколько для тебя я сделал». И потом со слезами на глазах сказал: «Проживём как-нибудь!» А она, если бы не Петрушка, она не смогла бы пережить всё обрушившееся на неё горе. Но подойдет этот маленький человечек, прижмётся к щеке, и проваливалось куда-то вглубь горе, нет, не уходило, просто оставляло её на несколько минут. На лице появлялась улыбка: «Что, Петрушенька, что милый?». Свекровь перебралась в Петербург, и жила в квартире её родителей, днями не отходя от сына. Но облегчения не наступало. А однажды в институте Вредена профессор жёстко произнёс приговор:

«Надежды нет, терпите, готовьте себя к жизни с парализованным мужем. Это на всю жизнь». Готовить? Она давно уже всё почувствовала сердцем и была готова.

День выдался пасмурный, по стёклам бил дождь, бушевал ураган, западный ветер гнал в Неву длинную волну. Он проснулся часов в пять утра. Опять приснилась шефиня. Но на этот раз она выступала на Учёном совете. Чёрт его дёрнул туда пойти, это было в разгар склоки. Он недавно защитился, хотелось получить старшего научного, а по штатному расписанию в лаборатории должен был быть один старший и один ведущий сотрудник. И встала она у них с Борисом на пути со своей аспиранткой, защитившейся на несколько лет раньше. И началось! Сначала они получили благословление у нового зама по науке, тот был им поближе, разработали план. Бросились на заводы организовывать письма, что не хотят, дескать, те работать с Анной Петровной, а хотят лицезреть только их двоих с Борисом. К великому удивлению, их не поняли, и не только не пришло ни одного отказного письма, а наоборот главные инженеры и начальницы техотдела звонили ей, предупреждая о миссии этой «пары гнедых». Но клубок завертелся, отступать

было нельзя, и пошёл поток анонимок в партийные органы, и служебных записок в дирекцию. Да, молодой зам поддерживал их начинания, один за одним на доске приказов появлялись выговоры... Но никто же не думал, что получат они такой отпор! И пошли в институт комиссии одна за другой, и партийные, и министерские, и отменялись приказы... «Чёрт меня дёрнул, – думал он, – связаться с ней. Это всё Пархоменко!»

А уж тот Учёный совет он не мог забыть никогда. Зам. директора в свете разработанной программы поставил на Учёном совете отчёт руководителей аспирантов. В Актовом зале, кажется, собрался весь институт. Дошла очередь и до неё. Она, в лучших традициях демагогии, рассказывала о том, как сложилась судьба её аспирантов – эта возглавила крупный институт в Ленинграде, тот – правая рука академика, директора института в Новосибирске, уже назначен начальником лаборатории, готовит докторскую диссертацию. Наконец, она делает паузу и с горечью произносит: «Конечно, нужно признать и недостатки в моей работе. Предпоследний мой аспирант – и серые глаза остановились на нём, – к сожалению, занимается не научной деятельностью, а организацией склоки в институте. – Сделала паузу. – Что делать? Где-то допустила пробелы в воспитании молодёжи. Но, даже у Иисуса Христа, если верить легенде, среди учеников один оказался Иудой. А я всего лишь старший научный сотрудник». При слове Иуда в зале захихикали, многие взоры обратились на него. Потом информация быстренько распространилась по министерству и заводам, и каждый знакомый считал своим долгом обсудить с ним. «А знаете, Изя, тут рассказывают...» Мурашки побежали по его спине, как будто Совет был только сегодня. Где-то промелькнуло сожаление: зря, наверное, мы всё затеяли. Старшего всё равно ждал ещё два года. Но сожаление так и исчезло, не явившись на свет.

Вовремя вспомнил рассказ Бориса. Они встретились в ресторане Дома Архитектора, где праздновал своё семидесятипятителетие один из технических руководителей института. Поздоровались. «А тут на меня нахлынула волна сентиментальность. Знаешь, Анька, я мало о чём сожалею в жизни. Но вот за ту историю мне стыдно до сих пор. А она мне в ответ: «Да брось, Борух, главное не извиняйся. А то началась эпоха покаяния. Как только кто покается, и сразу на тот свет! Ты только пересчитай их всех!» Я чуть в сторону не отскочил от неожиданности. Всё-таки она ведьма!»

Он, конечно, не верил ни во что сверхъестественное, но в подсознании нет-нет да и раздавалось: «Ведьма! Ведьма!» Спать не хотелось, полежал с открытыми глазами, подумал о Софе. Как только Сергей Коротков стал давать ему работу, за ней всегда приезжала Софа. Она была лет на десять его старше, окончила ту же кафедру и теперь подрабатывала там курьером. Приезжала, рассказывала университетские новости. В отличие от увидшей бесцветной Жени она хорошо выглядела, была всегда в хорошем настроении и щебетала, щебетала, чуть грассируя букву «эр». «Вот на ней бы жениться, – иногда мелькала у него мысль, – но...» И снова безумно хотелось встать, просто встать на пол.

Со дня аварии прошло пятнадцать лет, Петька был на сборах после окончания четвёртого курса, Женя поехала с внуком на экскурсию. Был светлый июньский день, солнышко светило в открытое окно. Он пребывал в радостном настроении, казалось, должно было произойти что-то радостное и светлое. Давно у него не было такого радужного настроения. Послышался звук поворачиваемого в замке ключа. «Кто бы это?» И он, крутя руками колёса коляски, направился в коридор. Не успел. Два короткоостриженных парня лет двадцати пяти с татуировкой на руках были уже в комнате. «Вон!» – только и успел он крикнуть. Один из них наотмашь ударил его по голове с такой силой, что выбил его из коляски. Падая, он ударился виском об угол стеклянного журнального столика.

Когда Анна Петровна выходила с работы, на двери института висел очередной некролог, у которого толпились сотрудники. «Кто ещё? – спросила она, подходя и увидев издали «Трагически погиб...». И остановилась, как вкопанная. Все-знающая секретарь директора рассказывала подробности убийства. «Дааа, каждому свою осину! И крест у каждого свой». Она подумала о Жене и, вздохнув, тяжело пошла к автобусной остановке. На следующий день сдала проформу деньги на венок, но на панихиду не поехала.



Калягин Николай Иванович



Прозаик, историк русской поэзии. Родился в 1955 году в Ленинграде.

В середине 80-х годов в рамках тогдашней "второй культуры" (К. М. Бутырин, Н. П. Ильин, и др.) печатался в журнале "Обводный канал".

Позже печатался в журналах и альманахах "Москва", "Нева", "Постскриптум", "Странник" и др.

Главные книги: "Сказки и истории" (печатается в «Журнале с топором») и "Чтения о русской поэзии" (издана в 2016 г.)

Сказки и истории

Белый кот

Двадцать седьмое января

Любовь какая-то и страсть

Белый кот

- Тр-р-р!
- Слушаю вас.
- Кто у телефона?
- А кого вам надо?
- Мне надо Петю Смирнова.
- Петя Смирнов – это я.
- А я от газеты «Северо-Западный проход». Здравствуйте!
- Чем могу быть обязан?
- Я журналист.
- Понятно.
- Хочу взять у вас интервью.
- Берите.
- Скажите пожалуйста, как вам удалось достичь таких прекрасных результатов в деле прикладного гуманизма?
- Все делал своими руками.
- А что бы вы посоветовали нашим читателям? К чему им стремиться в жизни?
- Пускай они всё стремятся делать сами, своими руками. Пускай еще хуже относятся к мешанству, равнодушию, хулиганью.
- И последний вопрос. Ваши планы?
- Собираюсь в Купчино, на пустыри. Там бродячие собаки научились сами колбасу варить – наглость такая...
- Действительно нехорошо.
- И антисанитария, и все что хотите. Наконец, зараза.
- Понятно. Разрешите, в таком случае, пожелать вам новых творческих достижений. Как говорится – ни пуха, ни пера.
- До свидания.

I

Всю ночь цвел жасмин, и ни одна душа не могла заснуть без какой-нибудь улыбки или прибаутки, а под утро переменялось: захлопали форточки, явился ветер с подбитыми глазами и седой бородой – полные карманы окурков! – пошел мотаться по городу. Он сгребал с тротуаров песок, сгребал целлофановые обертки, фантики, всякие ошметки, сгребал дохлых мух – и пригоршнями швырял в круглые лица фонарей.

– Нам не нравится. Пожалуйста, прекратите, – ныли фонари, поживаясь и светя куда попало.

– А зачем у вас свет холодный? – отвечал ветер. – Согрейте кого-нибудь, тогда прекращу.

И взыв для отвода глаз, что душе невыносимо зябко, бросился он к обломку кирпичика, который вчера едва не покалечил кошку, а теперь лежал на спине, предаваясь сожалению и меланхолии.

– Никакого тепла от них, – рассуждал ветер, приплясывая над кирпичом, – никакой радости. Даром небо коптят. Лодырничают – и больше ничего. Никакого тебе тепла от них, никакой радости...

Кирпич тем временем готов был сдвинуться с места.

– Что же это? – заскулили фонари, качнулись – и спали с лица, погасли. Тотчас из-за домов с видом бессмысленным и кротким выступил утренний свет.

– Подожди выступить! – завопил ветер. – Убью!

Он умчался куда-то, но быстро возвратился, гоня перед собой комок драных, готовых на все туч. Пошел дождь, следом пошли трамваи и разбудили горожан.

Толпы рабочих и служащих высыпали из домов и понеслись по тротуарам на крепких ногах, один только Петя Смирнов неподвижно сидел со своим грубым лицом у входа в рюмочную, курил сигару «Полет», а пепел сигарный аккуратно стряхивал в придвинутую урну.

Неподалеку от рюмочной толпились заспанные, унылые женщины в том возрасте, который сразу же наступает после бальзаковского, и торговали с рук.

– Единые карточки! Семечки! Проездные билеты! – выкрикивали они, вспоминая, должно быть, времена, когда были сиренами, но прохожие уносились прочь в размышлениях об Итаке.

Пока они все стояли, выкрикивали и проносились, было хорошо, как вдруг злорадный и огромный чей-то бас – чисто труба Иерихонская! – загремел на всю улицу: «Продам шпартгалки по политэкономии!» – и напугал публику.

– Что такое? – возразил Петя Смирнов, поднимаясь на ноги. – Неужто разрешено хулиганить?

– Дурак будешь, если не возьмешь, – вывернулся отвратительный бас.

Тут Петя Смирнов в сердцах ударил оземь свою кепку, потом подобрал ее, надел на голову и зашагал в ту сторону, откуда доносился голос.

Он шагал, страшно стуча резиновыми сапогами, переворачивал урны, пинал на ходу водосточные трубы...

– Чего налетать? Здесь не людоеды сидят. А если голова пустая – нечего тогда на улице находиться, в приличном месте. Шпана, – забубнила третья по счету труба – и попалась. Петя Смирнов крепко ухватил ее за бока.

– Это как понимать? – спросил он. – Мне и покурить нельзя? Каждая, извиваясь, собачья морда начинает пугать народ и голову поднимать?

– А сам-то! Сам-то! – запыхтела в ответ труба.

Петя Смирнов, не слушая, потянул – и отодрал ее от стены вместе со скрепами, и понес, как змею, на вытянутых руках.

– Да ты видел настоящую-то собачью морду? – доносилось из трубы. – Да ты...

Петя Смирнов вышел к Мойке, уперся коленом в чугунную решетку и...

– Прощайте, граждане!

Труба плюхнулась, наполнив воду, но не утонула, а быстро извиваясь, поплыла вверх по течению.

– Чтобы духу твоего! – закричал ей вслед Петя Смирнов. – Чтобы духу!..

II

Под Новый год, когда трудящиеся несли по улицам последние елки, елочные игрушки, хлопушки и прочий праздничный инвентарь, когда снежинки, задержав дыхание, отважно ложились им под ноги, – новенький ртутный фонарь, притом совершенно исправный, повесился на Мало-Калинкинском мосту.

Грохочущие трамваи выезжали с Садовой и мчали мимо него свои оскаленные морды, из освещенной пожарной части доносились звуки духового оркестра, а он висел, окруженный бледно-желтым ореолом, и безучастно позвякивал на ветру.

Серая крыса, бежавшая вдоль Фонтанки из Кораблестроительного института, первая увидела его и пожалела.

– Надо же, какой молоденький! – сказала она, усевшись на снег. – Повесился, голубчик.

– Всему причиной несчастная любовь, так надо понимать, – продолжала она, чуть заметно облизываясь. – Или, может быть, водка.

– Дура, – возразил ей Петя Смирнов. – Крысиная морда.

Он неслышно подошел сзади и теперь стоял, опершись на солнечные часы, и крупные слезы падали в снег с грубого, багрового его лица.

– Иной жизнь отдает за человечество, понятно тебе? Так вот и фонарик этот повесился для общей пользы: чтобы светло было, чтобы прохожий человек, проходя с вечерней смены, ногу себе не повредил. Дошло? А ну – брысь отсюда, пока не зашиб.

И правда, светло было на Мало-Калинкинском мосту, несмотря на поздний час, и никакой возможности повредить ногу не было у прохожего человека. Трамваи и такси с их фарами, папироски пожарных, кошачьи и крысиные глаза, кометы – все это освещало мост до утра. Один только фонарь смотрел в сторону; лучи-шерстинки звенели, отрываясь от него, и все до последнего пропадали в узкой прорве Фонтанки.

III. Белый кот

Часть первая

Зовите меня Ивановым.

Полгода назад я обнаружил, что жалованье школьного учителя не может излечить меня от припадков меланхолии, и тогда я решил заняться отловом бродячих животных, дабы поглядеть на мир со стороны подворотен, задних дворов и чердаков.

Положив в карман трудовую книжку, я вышел однажды на улицу и отправился пешком за три квартала – поступать на работу при санитарно-эпидемиологической станции. Снаружи здание станции ничем не отличалось от соседних домов, но уже в вестибюле ожидали меня настоящие чудеса. На стенах, выкрашенных свежей зеленой краской, висели плакаты ручной работы: было их здесь немало. Злое личико микроба выглядывало из груды

яблок и груш, дохлый сурок заражал чумой восточного охотника, и малярийный комар плодился. Повсюду стояли гипсовые скульптуры: Луи Пастер, Мечников, таежный клещ. В окне между рамами метался бешеный воробей.

Среди экспонатов прохаживался человек, кому, судя по выражению лица, принадлежала здесь некоторая власть.

– Не вы ли будете начальник отдела кадров? – проговорил я, приближаясь.

– А что тебе нужно от начальника? – отозвался он.

– Хочу работать по отлову бродячих животных.

– Вот как? – беспокойно переспросил он. – А любишь ли ты этих животных?

– Иначе бы я здесь не стоял.

– Вот как? – еще раз переспросил он. – А случилось ли тебе прежде ездить в специальном фургоне? А приходилось одними голыми руками задушить аршинного кота с острыми, кривыми когтями?

– Давайте его сюда, – отвечал я, засучивая рукава.

Часть вторая

Мой фургон выходил в рейс через два часа. Я пошел в гараж, намереваясь познакомиться заранее с этим быстроходным экипажем, заглянул внутрь – и оторопел.

На деревянной скамейке, приколоченной к борту машины, сидел Петя Смирнов.

Я занимался горным туризмом, целовал женщин, читал письма Ван Гога, но за пределами моего уютного внутреннего мирка лежал суровый мир, с которым я не имел надежной связи и в силу этого жил неуверенно, наощупь. А лицо Пети Смирнова настолько было неподвижно и такая лежала на нем печать неколебимого гуманизма, что я, повторяю, оторопел.

– Ты кто такой? – устало спросил он.

– Напарник ваш новый.

– Что ж, мне это все равно, – спокойно отвечал он.

– Детишек любишь? – поинтересовался он немного погодя.

– Я десять лет работал в школе!

Он кивнул, достал из кармана сигару отечественного производства и молча протянул ее мне. Потом пришел шофер, завел машину, и мы выехали в город.

Часть третья

– В моей первой жене было все, но не хватало ей вот этой изюминки маленькой, не хватало шарма. Вы понимаете, что я имею в виду?

Уволился я однажды с работы. А на новую работу меня пока что не принимают – там место должно было освободиться. Сижу дома неделю, месяц сижу. Самочувствие ужасное: депрессия, невралгии различнейшие. И засела мне в голову мысль: «А люблю ли я свою жену так же сильно, как она, судя по всему, любит меня?»

В моих отношениях с женщинами вообще много загадочного, даже для меня самого непонятного. Такие импульсы вдруг возникают, такие проявляются комплексы... Вы, конечно, слышали про комплексы?

– Комплекс ГТО слышал. ГЗР, – сказал Петя Смирнов.

– Да-да... Одним Словом, встречаю я возле дома знакомую, по университету еще. Разговорились, Вдруг входит жена – ее раньше времени отпустили с работы. Тогда я говорю: осуди, но и постарайся понять. Должен ли я любить тебя, потому что ты для меня – самая подходящая женщина, или же я должен любить тебя, как кот в мешке, потому что не знаю и боюсь узнать других женщин? Не забывай, говорю, что ты живешь в XX веке...

– Вот это верно подмечено, – вздохнул Петя Смирнов. – Была у меня такая же, подобная этой, история лет двадцать назад. И чем, ты думаешь, дело кончилось?

– Я думаю, кончилось... А вы расскажите.

– Та простила – и эта не уходит! Живут! Первое время ссоры у них, скандалы, а дальше хуже. Подружились! В магазин идут вдвоем: одна в отдел очередь занимает, другая в кассу. Жена взяла – прописала ее на нашу жилплощадь! «Куда она пойдет, бедная? Не в общежитие же ей возвращаться, бедной».

– Тяжело.

– Не то слово. Тоска. И терпел я этот бардак – терпел два года. Потом не выдержал, собрал всех. «Живите только честно, – предупредил. – Детей воспитайте людьми». И ушел, все им оставил.

С тех пор я здесь, – совсем просто закончил Петя Смирнов.

Часть четвертая

Мы ехали по Садовой, почти свободной в эти ранние часы от уличной жизни, когда какой-то старый хрыч бросился наперерез нашей машине, крича чтобы остановили. Уже через секунду он ухватился руками за задний борт и просунул к нам голову. На нем была кожаная кепка с наушниками и ежовые рукавицы.

– Здравствуйте, товарищи! – гаркнул он. – Как пенсионер-общественник я здесь присматриваю за детьми. Видите детскую площадку? Там карусель, бревно, ледяная горка, – я за ними присматриваю. Как вдруг, минут за двадцать до вашей машины, проходит через площадку здоровенный кот – я таких еще не встречал, – совершенно белый и взбесившийся. Я ему говорю: «Брысь, гадина!» – а он мне заявляет: «Нужно быть добрее, су-у-ударь». Всех детей мне распугал. Убедительно прошу вас, товарищи, принять необходимые меры. Я – ветеран жилкомхоза, а не «су-у-ударь».

– Постарайся, дед, – просто ответил Петя Смирнов, ударил кулаком по кабине и крикнул шоферу:

– Жми!

Машина резво взяла с места, погоня началась. У каждого перекрестка дожидались нас дорогие ленинградцы, бледные от пережитого потрясения, – показывали нам, куда ехать и где сворачивать.

Азарт погони захватил меня. Жадно ловил я пересохшим ртом струю холодного воздуха, бившую через какую-то щель в передней стенке фургона. Напряжение нарастало, становясь невыносимым.

– Закурить бы, – произнес я, машинально ощупывая пустые карманы, но Петя Смирнов остановил меня, сказав:

– Здесь твое рабочее место. Будешь курить, когда я разрешу. Ты на работе, блядь.

Я не успел извиниться – машина, свернув в последний раз, выехала на пустырь, и мы увидели вдалеке огромного белого кота.

Изогнув лапу козырьком, он смотрел из-под нее в нашу сторону.

Часть пятая. О белизне кота

– Ты заходи сзади, а я его буду пока подманивать. Верный способ, – говорил Петя Смирнов, выбирая крюк по руке.

– А вы не боитесь? Уж очень он велик и бел.

– Какое мне дело, белый он или зеленый? – удивился Петя Смирнов. – Я хочу, чтобы детишки могли свободно по бревну ходить. Ну пошли, хватит болтать.

Как ошпаренный выскочил я из фургона и устремился по пустырю обходить кота сзади.

Часть шестая

Пока Петя Смирнов, маскируясь редкой растительностью пустыря, подбирался к коту, тот продолжал стоять на месте, высокомерно задрал круглую морду. Небольшой узелок висел у него на боку.

Наконец, когда Петя Смирнов был уже близко, кот прямо взглянул на него, театрально взмахнул лапой и заговорил.

– Чего ради вы преследуете меня? – спросил кот.

Сильнейший немецкий акцент слышался в его речи – и в этом тоже была театральность, нарочитость. В старых фильмах про разведчиков подобная утрированная речь усваивалась фашистским полковникам и генералам.

– Если вы хотите делать мне зло, – продолжал кот, – то вы должны узнать: от тех лет, когда мой хозяин, граф Карабас, отдал Богу душу, никто из людей не делал мне зло. Все люди помнили очень хорошо про те услуги, которые я имел счастье оказать господину графу.

– Кис-кис-кис, – произнес Петя Смирнов, сидевший на корточках за ближним кустом и готовивший снасть.

– Неужели вы не видите? я очень стар, – лебезил кот. – Но я могу драться. Но я хочу верить, что доводы разума еще имеют хождение на свете.

В ту же секунду из куста, где хоронился Петя Смирнов, выкатился кусок ливерной колбасы.

– А может быть, вас привлекает моя ноша? – спохватился кот. – Судите сами, стоит ли она драки.

Он развязал шнурок, и содержимое узелка – голенища сапог,

полуобглоданная куриная кость, ржавая шпага – со стуком попадало на мерзлую землю.

– На, киса, ешь. Возьми колбаску, – начал подманывать Петя Смирнов. – Тю-тю-тю.

– Смотри не упусти, – крикнул он мне, продолжая укрываться. – Беды наделяет, гад. Здоровый, словно лошадь.

– Что? – взвился кот. – Что такое?!

Он подобрал шпагу и, перешагнув дорогой через колбасу, двинулся к кусту Пети Смирнова.

– Моя шпага, – кричал он, напрягая грудь, – древняя шпага Гинца фон Гинценфельда, не должна принадлежать глупой лошади! Отнимите же ее, господин Грубиян! Господин Тю-тю-тю! Господин...

И тут Белый кот, как ненормальный, набросился на куст и стал тыкать в него острием, желая резать Петю Смирнова, но не дотянулся и прежалким образом запутался в длинных ветвях.

Тогда Петя Смирнов вышел из-за куста, зацепил кота своим крюком, поднял на воздух, перехватил руками и – раз-два! – свернул ему шею.

Эпилог

Мы ехали в тряском фургоне, передавали друг другу зажженную сигару и беседовали.

– Смотри, – объяснял мне Петя Смирнов, – бродячие животные несут детишкам заразу. Наукой доказано про эту заразу, и все про это знают. Теперь смотри, что они делают. Один говорит: меня это не касается, я буду играть на скрипочке, трень-брень, у меня хорошо получается. Другой говорит: я буду дамочкам исправлять форму ушей, пусть приходят в наш Институт Красоты и денег несут побольше... И они знают прекрасно про эту заразу, про этот ящур, про всё – но они не пойдут на эту работу! Они думают: это работа грязная, опасная работа, неденежная – так это работа для дураков, дураки всегда найдутся. А я один! Один – и никого! Ну, может, еще ты – когда подучишься... И никого! Соображаешь, чем это кончится?

– Страшное дело, – согласился я невольно.

– Не избежать. Но пока я жив, этого не будет. Я так решил. Пока жив, буду работать. Кто-то же должен? Хотя бы ради детишек.

– Вы, Петя, великий человек, – сказал я искренно.

– Ну, это ты безусловно переборщил, – отозвался он после долгого раздумья. – Хотя... Кто-то же должен.

Сказав так, он сильно затянулся и весь от головы до сапогов пропал в облаке табачного дыма.

Двадцать седьмое января

У нашего трудового народа самая хорошая пословица: «Слезами горю не поможешь». По-моему, эта.

Старший брат никогда не болел, и даже любовь к спиртным напиткам не могла подорвать ему организм. Только рано он радовался.

Позавчера на работе вызывает меня начальник, Николай Иванович Голобатько. Поднимаюсь к нему наверх, на второй этаж, а он сидит в коридоре на скамейке и беседует с уборщицами.

– Иди, – говорит, – ко мне в кабинет. Тебя там к телефону спрашивают.

– Ой, Николай Иванович, – отвечаю, – замучили мы вас...

Захожу в кабинет, беру трубку.

– Алё, – кричу. – Алё.

– Вы такой-то? – спрашивают.

– Точно.

– Брата имеете?

– Имею.

– Ваш брат такой-то?

– А в чем дело? – говорю. – Давайте побыстрее, товарищ, здесь служебный телефон.

– Примите соболезнования, – говорят. – Ваш брат в нетрезвом виде скоропостижно скончался на улице Восстания.

– Ну, спасибо, – говорю.

Предупредить родственников, подготовить их – ничего этого у нас не умеют, а только умеют хорошо оглушить по башке...

– Чего он? – спрашиваю. – Случайно не сердце?

– Мы не доктора, – отвечают. – Ваш родственник находится у нас по такому-то адресу. Приезжайте оформлять.

Завтра мы будем его хоронить.

И вот что я подумал: смерть вырывает у нас близких людей, но мы не должны этому поддаваться и также опускать рук, потому что обществу не нужны наши слезы, а нужен честный труд и культура семейных отношений....

Хорошо, что у брата не было семьи! Он всегда жил один, за исключением того периода, когда страна решала квартирный вопрос. Тогда он жил вместе с нами.

Я учился в Политехническом институте имени Михаила Ивановича Калинина, супруга вела хозяйство, имея третью группу инвалидности по сердцу, а брат работал в Министерстве тяжелого машиностроения. Он был слесарь-сборщик.

Когда я закончил свое образование, брат сумел получить комнату на улице Пушкинская и совсем от нас переехал. Однако работал на старом месте и в силу этого посещал нас часто, почти каждый месяц.

Я еще раньше махнул рукой, а супруга до последнего времени надеялась на него повлиять и говорила: бросай выпивку, женись, живи по-людски, тебе же не двадцать лет, а сорок пять, – он все пропускал мимо ушей.

Очень он любил бывать у нас: ему нравилась семейная атмосфера, которой он не сумел создать у себя, не будучи никогда женат. Еще ему нравился пятнадцатый том энциклопедии «Брокгауз и Ефрон», который перешел мне в наследство от отца.

Книга эта самая редкая, и если отнести в магазин, то дадут большие деньги, однако брат относился к ней потребительски. Проработав за вечер несколько страниц, он вставлял первую попавшуюся закладку – рваный кусок газеты, пустую коробку из-под папирос – или загибал угол страницы и не понимал, что этим разрушает ценную книгу. Я каждый раз выбрасывал его закладки и на словах заявлял неоднократно, что это не дело, но он продолжал их вставлять, ссылаясь на плохую память.

Тогда я страницу, на которой он в последний раз остановился, пометил карандашом и даже записал на отдельной бумажке заглавие статьи. Закладку, конечно, выбросил.

«Посмотрим, – думаю, – какая у тебя память».

И вот приходит брат, съедает обед, набирает еще полную горсть мандаринов и садится в кресло с пятнадцатым томом энциклопедии.

Я подхожу, чтобы проверить наблюдение, и вижу: все правильно, та самая статья: «Дантес, д'Антес».

– Говоришь, память у тебя плохая? – спрашиваю. – Постыдился бы врать.

Брат молчит, Подпер голову ладошкой и глядит на меня, как на пустое место.

– Ты чего? – спрашиваю.

Брат молчит. Обидно мне стало, не скрою, что он опять наводит свои порядки: сидит, как у себя дома, пользуется энциклопедией, не хочет ответить на простой вопрос...

– Может, я тебе чем-нибудь не угодил? – спрашиваю. – Ты говори, не стесняйся.

– Что ты, Аркаша, – отвечает брат. – Мне у тебя хорошо. Лучше, чем дома.

– Я думаю, – говорю ему.

Вдруг он мне на книгу указывает – на ту статью, которую я отметил карандашом.

– Ты не читал? – спрашивает. – Тут, знаешь Аркаша, – тут напечатано, что Пушкина – поэта Пушкина – убило на дуэли.

Я как стоял, так и сел на стул. Смеюся, не могу.

– Иди скорей, – зову жену. – Полюбуйся на моего братца: до сорока пяти лет дожил, живет на улице Пушкинская, а не знает до сих пор, что Александра Сергеевича Пушкина убили на дуэли!

– Откуда мне знать, – отвечает брат, – когда я в школе почти не учился? Все работаю и работаю, как ишак. Всю жизнь.

– Ты это брось – ишака своего, – говорю. – Кто хотел учиться, те учились по вечерам и всего достигли. Возьми хоть моего начальника, Николая Ивановича Голобатько.

– Я не спору, – говорит брат. – Я забыл, что его убили. Перед самой войной, когда мы жили на Пятой линии, мама мне покупала Пушкина. «Острою секирой ранена береза» – это ведь его стих?

– Один стих ничего не доказывает, – говорю, – он знаешь сколько написал произведений – за два года не изучишь. Величайший поэт был.

– Это такой был гений, – замечает моя супруга, – что, не зная его биографии, нельзя считать культурным человеком.

– У нас на Пушкинской его памятник стоит, – отвечает брат. – Видел, наверное? В конце улицы.

– Большая важность, – отвечаю ему, – что он на вашей улице стоит. Такого гения скульптуры, наверное, и в Америке имеются.

– Уж ты ляпнешь: в Америке, – говорит моя супруга.

– Какие это были дуэли? – спрашивает брат. – На саблях рубились?

– На саблях... Ты... Ты хоть соображаешь, что ты сейчас сказал?

– Ему из пистолета в живот выстрелили, – объясняет жена.

– Хватит меня разыгрывать, – говорит брат. – Все равно я вам не поверю. Кто же станет нарочно стрелять человеку в такое беззащитное место, как живот? Наверняка это был несчастный случай на охоте.

– Ха, на охоте, – говорю я ему. – Кто-то здесь прочел пять минут назад, что Пушкина убили на дуэли, а не на охоте. Или мне послышалось?

– Не послышалось, – брат говорит. – Я понимаю, что это была дуэль. Но все равно же его убили на этой дуэли случайно – не нарочно же его убили.

– Конечно, нарочно, – говорю я. – Ему убийцу прислали из-за границы, если хочешь знать. Этот убийца поддел кольчугу под пальто: Пушкин в него стреляет, стреляет – как об стенку горох, – а он его положил с одного выстрела. И уехал потом во Францию, жил там спокойно... Конечно, заплатили ему хорошо. А официально было объявлено, что Пушкин сам виноват – он же первый начал. Вот так это было сделано.

– А я обедаю, – говорит брат. – А ты меня мандаринами угощаешь... Родителей наших убили, теперь Пушкина убили, завтра еще кого-нибудь убьют, а мы вычистим и сожрем, так получается?

– Нет, а что ты предлагаешь? – я ему говорю. – Сам же первый убиваешь себя водкой – думаешь, приятно твоим родственникам смотреть на это? Убили кого-то – ну, значит, убили... Значит, судьба у него такая. Живые все равно должны жить, чтобы жизнь на земле не прекратилась.

– Вот и Лермонтова убили, – говорит моя супруга.

– Слышишь? И Лермонтова убили!

– И Лермонтова? – спрашивает брат. – Тогда я домой поеду. Ты не сердись, Аркаша, я лучше дома пересажу эти бедствия.

– Золотой прямо человек, твой братец, – говорит мне супруга. – За всех переживает: за Пушкина, за Лермонтова...

– Да уж, – говорю.

– Где он успел набраться в два часа дня? Не понимаю. Просто не понимаю. И ходит сюда, и ходит... Какой-то вытрезвитель устроил себе у нас, честное слово!

– Недолго ему ходить, – отвечаю я. – Столько пить водки – это ни одно сердце не выдержит.

И ведь как в воду глядел. Позавчера позвонили ко мне на работу и сообщили горестное известие. Остался я теперь один, без старшего брата, как дерево без листьев, но все-таки живу, не вешаю носа и твердо верю, что за морозным февралем настанет нежное дыхание весны.

Сколько уже раз так было!

1978

Любовь какая-то и страсть

Петербург. 1833 года. Июля 12 д.

«Милый брат Платон Александрович!

Ты пишешь, что соскучил, так долго не получая от меня писем, но в Петербурге жизнь совсем не та, что у вас в деревне, и за целый месяц не выдается порой свободного часа, чтобы написать письмо.

Ты спрашиваешь еще, что нового напечатали в столичных журналах? Ничего, любезный брат, такого, о чем можно было бы пожалеть, что ты не прочел. Увы! Для Руси невозможны еще гении. Один Гюго с его “Notre-Dame” втаптывает в грязь всех наших писак. Если поставить кого-нибудь из них рядом с Гюго, то нужна будет подзорная труба, чтобы различить, например, физиогномию Загоскина.

Вчера прочел в “Телеграфе” статью об Державине и долго потом смотрел по сторонам с большим огорчением: где преемник гения?! Право, хочется схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке, перед окном, на пуховой перине детского успеха...»

Петербург. 1837 года. Март.

«Полтора месяца минуло, а злосчастная дуэль все еще будоражит умы. Недоуменный ропот достигает подножия трона, и кажется, что русское общество пробудилось наконец после многолетней спячки.

Как можно было осудить на смерть несчастного, который всего лишь защитил на поединке свою честь? Неужто Дантес, оскорбленный бешеным ревнивцем, должен был еще подставить под пулю лоб свой?

P.S. Кстати, сообщают за верное, что Государь распорядился заплатить все долги покойного Пушкина – что-то до трехсот тысяч рублей. Чем не жите петербургским литераторам?»

Петербург. 1842 г.

«Театр? Я почти не бываю в театре, любезный брат, с того часа, когда все чувства во мне были потрясены отвратительным фарсом, недостойным искусства, именно: “Женитьбой” г-на Гоголя.

Слишком еще редко являются на нашей сцене произведения, подобные “Роксолане”, – истинно поэтические и одновременно глубокие.

Но все же словесность наша, испытав на себе благотворное воздействие романов Жорж Занда, мужает и выходит из отроческого возраста. Что Лермонтов был уже гораздо глубже Пушкина – с этим никто теперь не спорит; однако безжалостная смерть оборвала в самом начале это поприще, так много обещавшее для России. Кто знает, может быть именно Кукольникову суждено возвести российскую литературу на европейский Парнас?»

1863 г.

«Странно вспоминать, что каких-нибудь тридцать лет назад мы с тобою зачитывались стихами Пушкина – этого певца женских ножек. Какие с тех пор перемены! Освобожденная мысль забурлила, и русское общество семимильными шагами устремилось вперед по пути Развития. Высылаю тебе книги, которыми зачитывается теперь весь Петербург: “Туземцы Австралии. Физиологический очерк” и “Животноводство в Древней Элладе” – книги дельные! Никогда прежде не читал я подобных книг».

Москва. 1880 год. 9 июня.

«Вчера Достоевский в “Любителях русской словесности” объявил Пушкина всемирным гением....

Милый Платон, голова идет кругом: неужели и мы, образованные русские люди, выстрадали наконец своего всемирного гения?

А видел бы ты, что делалось вчера в зале общества... Рукоплескания!.. Крики!.. Лучшие наши дамы поднесли Достоевскому лавровый венок и целовали ему руки!.. Неизвестный студент пробирался на сцену с тем же намерением – да так и упал в обморок!.. С писателями Паприцем и Успенским сделалась истерика.

Апофеозом пушкинского праздника стал воздушный поцелуй Ивана Сергеевича Тургенева, который тот послал Достоевскому.

Сколько бы я ни жил, Платон, но этого мига и этого жеста никогда не смогу позабыть».

Петербург. 1880 год. Июль.

«Выходит, что поторопились мы с тобой, любезный Платон. Всемирный гений невозможен еще на Руси, очевидно, из-за сильных холодов, сковывающих умственную продуктивность великорусского племени.

Поцелуй старейшины наших литераторов адресовался, по последним сведениям, не Достоевскому, а нашей московской публике. Иван Сергеевич попрощался с нею, предчувствуя скорый отъезд за границу.

Речь Достоевского вообще идет вразрез с чаяниями передового общества. Глеб Успенский математически доказал в своей статье, что пушкинская Татьяна не может являться идеалом русской женщины, поскольку отдается каждый день нелюбимому человеку – крепостнику (sic!) и царскому сатрапу. То есть, она вроде публичной женщины...»

1913 г. Февраль.

«Находясь борту парохода современности зпт сообщая следующее тчк прошлое тесно тчк пушкин зпт надсон непонятнее гиероглифов тчк кто не забудет своей первой любви зпт не узнает последней тчк телеграфируя согласие тчк беременный мужчина стиснул руку памятника пушкину тчк»

1937 год.

«Милый брат, сердечно поздравляю тебя со всенародным праздником – столетием пушкинской смерти. Это торжество стало возможным только теперь, когда уничтожены экономические отношения, породившие к жизни убийц поэта. Страна заново прощается с Пушкиным в эти незабываемые дни, говоря ему: “Спи спокойно, дорогой товарищ. Мы отомстили за тебя”».

1979 год.

Решение товарищеского суда дома для престарелых

14 апреля 1979 года товарищеский суд дома для престарелых в составе..... рассмотрел дело о кощунственном нарушении общественного порядка пенсионера т. Репетилова года рождения.

Товарищеский суд установил, что пенсионер т. Репетиллов 9 февраля 1979 года употребил выражение «потомок негров безобразный» по отношению к Солнцу Русской Поэзии, Умнейшему Мужу России Александру Сергеевичу Пушкину.

Выступившие на заседании товарищеского суда т. т. Хорти, Дубинин, Ундервуд и Гуменюк осудили поведение и проступок т. Репетилова и потребовали для него более строгого наказания вплоть до отчисления из дома для престарелых за грубый выпад, однако приняв во внимание ответное выступление т. Репетилова, в котором тот выразил свое сожаление и подчеркнул, что 9 февраля сего года находясь в сильном подавленном нервном состоянии под воздействием ишиаса допустил грубый клеветнический выпад и обещает впредь подобного никогда не допускать, товарищеский суд, руководствуясь п. 4 ст. 16 «Положения о товарищеских судах»

РЕШИЛ

объявить т. Репетилову общественный выговор с опубликованием в стенной печати и предупредить о недопустимости подобных инцидентов в будущем.

1978

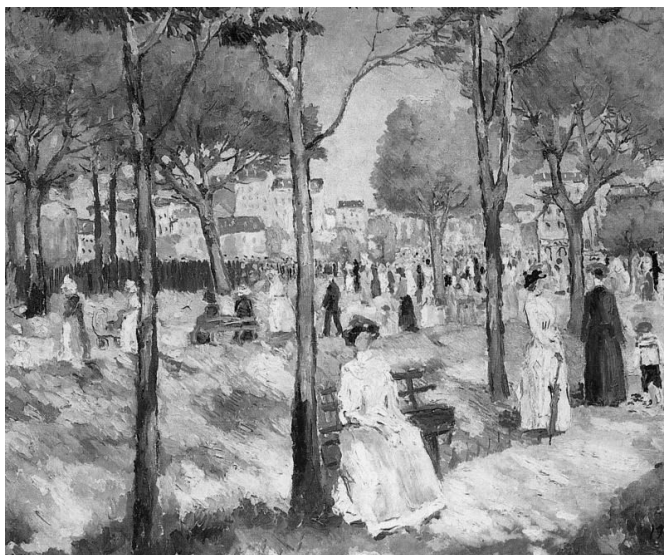
IV. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

ЛЮДМИЛА БУБНОВА

Мужественно, толково и чувственно...

О книге Е. Антипова
«Век авангарда: подытожим»

25 апреля, 2017 г.



Казимир Малевич. На бульваре

МУЖЕСТВЕННО, ТОЛКОВО И ЧУВСТВЕННО

Мужественно, толково, с чувством – досадой и страстью, – не ссылаясь на высказывания каких бы то ни было корифеев, авторитетов, Евгений Антипов взял на себя смелое, своевременное неизбежно выстраданное в течение полувека, беспощадное суждение о художественном направлении в изобразительном искусстве, названном «авангард», в своей книге «Век авангарда: подытожим».

«Век непостижимых авантур и виртуозных подлогов... хватит, сколько можно...» Рассуждения автора убедительны и непреложны.

Художники-авангардисты – профессионалы и дилетанты – дольше века используют направление и, растерянные перед всё новыми катаклизмами в реальной действительности, не знают, как с него сойти или изменить направление мысли. Авангард ругают так же, как в самом начале при возникновении стиля. Значит: действительно «хватит!».

Впору заново вывешивать «Чёрный квадрат» К. Малевича – символ исчерпанности бесконечно длящегося метода, пора поразмыслить заново. Налицо КРИЗИС авангардистского стиля.

Но другое мышление должно принести новое поколение, не запуганное апокалипсическими страхами.

Автор книги об авангарде инстинктивно смешал искусство с социальной жизнью, с политикой, с рыночными отношениями не зря: авангардистские взгляды сплелись с реальной действительностью, настырно проникли во все сферы человеческой жизни и деятельности, заполонили мысли.

Характер человека вложен в это художественное индивидуалистское течение, потому направление держится так долго, даже слишком.

Что такое авангард, зачем появился и так долго длится?

Весь мой век я прожила с «веком авангарда», на его фоне, я его мыслящий продукт, мне понятны его всполохи, зигзаги: я сочувствую любому неординарному повороту, досаую от неудач и, конечно, в ожидании современного (т.е. нового, новаторского) шедевра.

Мой авангард я не предаю.

Он начинался как искусство отчаянных индивидуалистов, и я вижу, как теперь не хватает индивидуального зрения, воли характера в нашей стране у художников, приверженцев авангарда, у писателей, артистов и, естественно, у обывателей, – и везде в мире: удручающий всеобщий стандарт, какой был по бедности жизни до «века авангарда». Из него трудно голову высунуть, не то что по-новому помыслить: самым новым в якобы обеспеченном глобалистском обществе оказался терроризм.

Снова заговорили о спасительной «традиции». Но какую традицию ни воплощай масляными или вновь изобретёнными красками или другими средствами, невозможно не учитывать накопленного веком авангарда всего послетрадиционного – иначе отставать от мира – писать вилами по воде. Зрелому взгляду опытного человека сразу бросится в глаза мыслительная растерянность, неуверенность в себе, неясность цели автора: для чего, для

кого, зачем так вынужденно написал свою картину. Тем более, что всю визуальную «реальную действительность» давно взяла на себя фото-кино-телеаппаратура. Прежде мыслили традицию в одном русле, а теперь думают в разные стороны – и ввысь, и вглубь, и вкось, и вразнос.

Традиция, традиция... Прежде изобразительное искусство служило неизбежной надобности. Охотник-мужик выбивал для меткости стрельбы из лука на скале мишень – рисунок оленя, быка, лани...

Наизобретали мифов о богах – надо было изображать их в виде людей как можно величественнее для особой демонизации...

Навязали миру христианское единобожие – веками художники писали библейские легенды об аде, о рае, об апокалипсисе, чтобы люди боялись клерикалов, молились, слушались и подчинялись. Диктат церковного заказа был тотальным, таким образом дурили людям головы. Изображали всю подобную «красоту» умелые молодые сильные мужики по заказу и за плату.

От века к веку велись войны – история состоит из войн. Победители заказывали художникам изображать победоносные битвы: как красивы воинские доспехи, ритмично сверкающие копья и штыки! Художники увлекались псевдоисторическими картинами: заказ или не заказ, но псевдоистория поселилась в картинах. Позже профессия художник становилась всё более массовой – их стало хватать для изображения жизни окружающих людей, поубавилось величественности, стало «реалистично», как на улице. Теперь художнику диктовала сама визуальная реальность.

В нашем XX веке – снова войны, революции, тоталитарные режимы: жили трагично, сложно, трудно – и отважно, иначе не выживешь.

Вдруг изобразительное искусство будто опомнилось: начало выходить из прикладного, служебного состояния к самодостаточной, самостоятельной роли.

Мне наивно представляется, как это начиналось, хотя, может, в самом деле так и было.

Вышел художник на пленэр писать пейзаж: выставил холст на подставку, выложил краски на палитру (может, простую доску), взглянул окрест: небо голубое, земля чёрная, кусты зелёные, дома серые, и люди у своих затхлых жилищ с их кошками, собаками. За один раз «реальную действительность» не напишешь. Похожесть придётся тюкать изо дня в день: эти картины, как романы, пишущся долго. Подошёл один раз, помазал – и спи-отдыхай, завтра снова за то же. И послезавтра – та же беллетристика. Тоска!!!

Мужик стал задумчив: тоска мутила задание.

Луч солнца высветил краски – они яростно заблестели.

Он взялся за кисть, набросился на краски и начал лепить их по лицу поверхности холста, как хотелось красиво... ураганом промчался по холсту... палитра опустела. Солнце зашло. Он свалился без сил внутри пейзажа у подножия своей картины – выложился до основания...

То-то здорово вышло! Без людей-лошадей, без вонючих домишек с кошками-собаками.

Композиция нравилась: в ней он видел себя с солнцем в голове и бурей в

сердце, и теперь знал, что делать с разрывающей сердце тоской и с издевательским пейзажным настроением...

Друзья-художники посмотрели его картину в недоумении:

– Ты с ума сошёл!

– Я! её! сделалл!!! – вполне заносчиво сказал он.

Художники расходились озадаченные, роптали и поносили картину, жалели художника, дома хмуρο помалкивали. Но потом также стали писать картины, варьируя композицию каждый по-своему, чтобы не было совсем похоже на ту умопомрачительную... Словом, мыслительный толчок был произведён и получен. Большой дерзости не у всех хватало, но сколько есть мочи, то и было в картинах: один посильнее, посмелее, другой робеет, не отваживается во всю силу, третий не знает, что делает, бессилён и слаб, жизнь у него была другая, повидал в ней маловато... ну, что же делать? А ничего не поделаешь. Как есть.

Так я теперь смотрю каждую картину художника «авангардную» или «реалистическую» – любого направления. Художники в картинах разные, как люди, – это страстно интересно мне, зрителю. Кто-то «полез» в политику, презирает кого-то, кому-то солнечного света хватает для душевной радости. Всё, всё мне видно в картинах, особенно усилилась зоркость в «век авангарда» с его обнажённостью чувств.

Что ж это было и стало, и дальше пошло под названием «авангард»!

Можно сказать, живопись освободилась от давления внешних обстоятельств, от внешней надобности, диктата заказа, вошла «внутрь» художника, стала достоянием его воли, желания, настроения – печали и радости, – мысли и чувства, приблизилась к человеку так соблазнительно, что толпы выпускников училищ и академий начали пробовать выразить себя и показать миру новым манером и так далее...

В любой живописной композиции я смотрю ХУДОЖНИКА, именно он – характер человека – мне интересен.

Я привыкла к живописи «авангарда», не кляню живопись, а, бывает, жалею художника за мыслительную незрелость, ущербность чувств. Да и нет у меня охоты ниспровергать абстрактные формы. Я жду следующего художника зрелой мысли и с сердцем чувственным.

Мне не надо, чтобы авангард кончился или его насильственно прекратили-запретили. Авангард принёс миру образ и характер, какового прежде не было.

Абстрактный экспрессионизм состоялся ярко, звучно, агрессивно и закрепился на целый век – просто его со счёта не скинешь. Метод мышления сумел поведать о внутреннем состоянии человека-художника больше, чем о его деревне или городе; на этом, как известно, долго держалось реалистическое визуальное предметное искусство. Нельзя хотеть прекращения яркого, кровеносного художественного метода!

А «школы», традиции, «реализмы» разного толка пусть будут, живут и совершенствуются, авангард не мешает существованию других миров. Но предметные изображения не могут оставаться такими, как были в XIX–XX

веках. Века не должны давить на мысли человека о современности, примером той жизни наворачивать на человека тяжесть прошлого; не учитывать страстных индивидуалистических экспрессивных полотен авангардистов современные художники уже не могут, и оставаться в архаике прошлых времён не продуктивно для мысли. Да и вообще нельзя прекращать одно, чтобы возникло другое – неестественно. Всё идёт в природе само собой: пусть будут и те и другие, а третьего с нетерпением ждём. Люди у нас и так слишком спартански воспитаны, нельзя у них ничего отнимать, им нужно всего больше и лучше – для здоровья, силы, смелости, самостоятельности, самочувствия и нужности своей стране.

Подумать только: дошло до того, что молодым людям в стране нет работы, неужели все работы сделаны и других не надо? Как же трагически, сатирически и сюрреалистически организована жизнь в стране?

Вопрос риторический, но существенный.

А дилетанты? Да, много дилетантов, и всё прибавляется их количество.

Не гоните их, не уничтожайте презрением. Хорошее понятие «демократичность» подаёт негениям, некумирам, незвёздам руку спасительной возможности попробовать себя в каком-никаком виде творчества.

Некоторые профессиональные художники начинали дилетантами. Вдруг некий дилетант родит миру неожиданно хорошую идею. Хороших идей, зрелых умов не так уж много.

А злых террористов не так уж мало на современном этапе истории человечества.

Авангард разрушил школу?

Как это могло быть? Школа – прямо и метафорически великое понятие и государственное учреждение, как правило. Высшая школа даёт основу художественной грамотности, пройдя годы в академии, художник обретает главное – мировоззрение. Затем и учатся в школах-академиях. Конечно, понятно: имеются в виду традиционные художественные стили и приёмы. Один человек может быть повержен тем или иным способом – известно чрезвычайно много видов сокрушения человека, в том числе и саморазрушение. Но приходит другой человек и продолжает высокую работу – учить анатомии, рисунку, владению красками и того более.

Картина может быть написана в реалистической школе, в романтическом ключе, в стиле социалистического идеализма... Абстрактную живопись не рассматривают? Почему? Абстрактные картины заполняли мир, а у нас госидеология запрещала. Русские художники 20–30-х гг. были под запретом, хотя хорошо помню, в Эрмитаже над деревянной лестницей висела одно время вопиюще смелая абстракция В. Кандинского – откровенные яркие краски играли своей открытостью на большом полотне. Мне нравилась картина – я много раз ходила специально посмотреть её ещё раз: любование художника красками, цветом, свобода выражения завораживала. Позже В. Кандинский писал интеллектуальные, как я называю, композиции с тонким, изящным эстетическим вкусом – замечательный русский художник-абстракционист стал эмигрантом, у нас попросту был не нужен.

Запретами «школу» держали? А кто держал? Государство.

Поднялся «железный занавес», из-за рубежа хлынула абстракция, студенты обрадовались и побежали делать абстракции. Школа осталась без учеников, все сбежали в «авангард». Так разве пресловутые авангардисты разрушили школу? Само государство, оно командовало искусством. Ни одному ярому авангардисту не под силу уничтожить госсистему. Авангардисты – люди свободные, вольные, создают, а не разрушают. Писание картин на социально-политические темы, словно крупногабаритные романы, прекратилось, школа оказалась не у дел, потому что абстракции – дело индивидуальное, они «выливаются» будто из нутра художника, сам он ими владеет, за них и отвечает. Когда такое бывало? Никогда. Потому всех увлекало.

Живописная абстрактная картина оказалась открытием: живопись стала сама собой, не зависимой от заказа, от диктата «реальной действительности». Живопись будто опомнилась: вышла из состояния прикладной дисциплины, перестала быть иллюстрацией псевдоистории, социальной жизни, сумела вдруг избежать назойливо влезавшей во всё политики, религии с архаичкой средневековых библейских легенд.

Можно не заикливаться на абстракции, формы искусства разнообразны: можно работать «авангардно», умеренно, komponуя фигуративность с абстракцией, традиционно, даже в прежнем реалистическом идеализме – демократическая свобода предполагает любое индивидуальное выражение и эксперимент. Во всём мире художники так и делали, начиная с первого десятилетия XX века, от П. Пикассо до С. Дали. Футуризм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреализм прежде у нас запрещали, но теперь всё можно.

Прорыв в полную абстракцию произошёл в 50-е гг. XX века, после Второй мировой войны Америка задала этот «авангард». *Абстрактный экспрессионизм* завершил полное раскрепощение живописи от всех видимых причин: страстный, чистый, насыщенный цвет – чувство, компоновка цветowych пятен на поверхности – мировоззрение индивидуума-художника. Американская выставка в Москве 1959 года раскрепостила мысли и у наших художников (у кого это видимо произошло, у кого нет). Д. Поллак, В. Де Кунинг, А. Горки, Д. Смит, Д. Грэхем, М. Ротко – корифеи абстрактного экспрессионизма.

Джексон Поллак в ранних работах пользовался реалистическими приёмами, свойственными академической школе. Но высвободился из традиционных пут, вышел на свой индивидуальный стиль со всей силой собственного темперамента, протеста, дерзости и любви к своему холсту или к поверхности, с которой работал. Ливни, водопады, лавины красок штурмуют поверхности. Столь решительно выпустить на волю новое видение живописи: у первооткрывателей, абстрактных экспрессионистов, жизнь на пределе возможного не проходила даром: Д. Поллак погиб в автокатастрофе в 44 года, М. Ротко покончил с собой в 53 года. А. Горки, вложивший в свой живой интуитивный абстрактный стиль все противоречия мира, покончил с собой в 43 года. В. Де Кунинг прожил около 100 лет, вначале писал картины фигурального толка, но вышел на абстрактные композиции – яркие цветные вылески красок, будто сама жизнь низвергалась с восторгом, страстью, болью и поражением.

Абстрактный экспрессионизм – мысли и заблуждения о себе и о мире. Наши художники с энтузиазмом восприняли новшество в живописи и с разной убедительностью самовыражения выписывают абстрактные страсти на холсте. Но со временем яркость самовыражения тускнеет, повторение чужих идей, когда своих не хватает, вяло видоизменяется, и само собой напрашивается подведение итога (подытожим!).

Новых идей всё нет и нет, тут и завопили: «Традиция! Традиция!».

Традиция – дело старое, старинное. Подытожить «век авангарда» можно, но кто новое начнёт? Ведь абстракционисты не декларировали подобный живописный метод окончательным и бесповоротным; любой приём можно и нужно содержательно совершенствовать, углублять и видоизменять. Или оставить как историческое открытие в искусстве живописи в первоначальном виде.

И сделать **НОВОЕ** открытие.

После абстрактного экспрессионизма с всполохами всё подавляющей силы чувства появлялись новые всплески. В конце 90-х XX в. и в начале 2000-х идея глобализма пробивалась в нашу страну. Усиленно педалировались СМИ понятия «демократия», «демократизм». Восприимчивые молодые люди демонстративно и нахально, играючи и забавляясь, делали практикой профессионального стиля дилетантизм в разных искусствах. С. Курёхин с эстрадных подмостков или без подмостков провозглашал музыкой скрипучие, невыносимые звуки и всякие «бамм-грамм». Лично я восприняла явление как пародию на демократизм в искусстве. Э. Уорхол («для родителей он был просто Андрюша Ворхоленко» – Е. Антипов) назойливыми повторами предметов и лиц показал: реклама заменит вам искусство. Хочется крикнуть: не называйте это искусством! Назовите хотя бы площадной или бульварной саморекламой. Но уже назвали. А протестовать? Опоздали! Некуда деваться!

Значит, я принимаю и определяю: «Чёрный квадрат» К. Малевича, «бамм-грамм» С. Курёхина, пивные банки и бесконечные лица Э. Уорхола – это знаковые **МЫСЛИ-ОБРАЗЫ** современной им философии искусства. Гольй, рационализм без «мягкой силы» чувства.

Кстати, предпоследними философиями были иронический пост-постмодернизм, далее скептицизм, подвергающий сомнению всё известное ранее; а ультрасовременная (наша) философия есть глобализм, настойчиво внедряется нам неизвестно откуда (у нас говорят: «с Запада») и управляется мощными невидимыми рычагами.

Кто умнее – скажите лучше.

В абстрактных картинах я вижу то же, что было в прежних стилях, и больше того: добро, зло, силу, слабость, зрелость, профессиональную невежественность, дилетантство, совесть, хитрость, энергическую истощенность Автора. Также как в литературе, я читаю и смотрю Автора, выразителя современности, с тех пор как Автор в индивидуалистическом искусстве стал главным героем своего произведения.

Авангардный стиль – мой стиль, мне с ним до сих пор хорошо. Пусть моё видение и мнение об авангарде станет вторым, после Е. Антипова, из 7-миллиардного количества возможных размышлений людей, населяющих планету.



К. Малевич. Жницы. 1929

Реплика Редактора. Художественный Авангард – значительное явление в искусстве по крайней мере с начала 20-го века, включающее в свою орбиту живопись, зодчество, ваияние, поэзию, театр, музыку, литературу. К нему относятся несомненно гениальные Велимир Хлебников, Маяковский, Стравинский, Рихард Штраус – помимо Малевича, в гениальности которого сиюминутные критики сомневаются. Я не специалист по авангарду, и перепечатаваю в нашем «Журнале с топором» статьи Е. Ковтуна не столько по симпатии к художникам Авангарда, сколько по симпатии к работам Ковтуна.

После слов Л. Л. Бубновой *«Кто умнее – скажите лучше»* страшно высказываться, поэтому я не высказываюсь по существу, надеясь на более сведущих в искусстве авторов. Об уме их пусть решают читатели.

Но так как я математик, то позволю себе напомнить имя Николая Ивановича Лобачевского, входящего в седмицу величайших математиков мира, и предостеречь от насмешек в его адрес. Насмешки и оскорбительные намеки так же *неуместны!* и по поводу деятелей искусства, творчество которых, возможно, *«народу непонятно»* (по мнению партийных лидеров недавнего прошлого). Отрадно, что Л. Л. отдает должное «веку Авангарда» и даже намекает на то, что искусство по существу было всегда авангардным, но ее отношение к работе Антипова я не понял, а сам я его книгу не дочитал, у меня ее похитили злоумышленники. Но если я правильно понял то, что успел прочитать, то еще более утверждаюсь в том, что обращение нашего журнала к выдающимся деятелям прошлого своевременно и необходимо! Возможно, что мы не во всем ниже их, но оснований для сомнений и чувства превосходства у нас не должно быть. В одной из лучших школ России, где я учился, школьники любили Пушкина и Некрасова, и не любили Хлебникова и Маяковского – но, к счастью, не они решали, гениальны ли эти поэты. Некоторые из них со временем, к счастью, повзрослели... Повзрослеем и мы (по слову апостола Павла). 22 мая 17.

Александр Медведев



НАД ГОРИЗОНТОМ



авангарда и нео-академизма *Тимура Новикова*, вместе с тем собрание статей и эссе, посвященных русскому и европейскому искусству двадцатого столетия.

Представить, правда, данную книгу нелегко, что ни начинаешь писать, оказывается не совсем верно. Начнем с того, насколько эта книга *новая* - подписана она к печати в начале 2013 года, напечатана в 2015-м, писалась в течение нескольких лет. Я хотел сказать еще, что по крайней мере наш журнал **НОВЫЙ**, так сказано и в заглавии, да и многие статьи писались уже в этом году – но статьи Розанова, Иванова-Разумника, сообщения и материалы, касающиеся русской литературы, частично относятся еще к середине девятнадцатого столетия. Воистину, мало нового под луной, не нов и Авангард, даже если начинать его литературную критику с Мениппа (от имени которого происходит литературный термин «Мениппея»)

Привожу несколько характерных абзацев из книги.





«Василий Кандинский говорил, что еще в детстве цвета утратили для него связь с конкретными предметами, превратились в цветовые тоны, вступающие в связь подобно музыкальным. ... "я понял, что живопись обладает таким же могуществом, что и музыка."»

«... Кандинский искал пути расширения зрительного восприятия. Он хотел использовать скрытые возможности живописи отражать "внутреннее настроение" и считал своим долгом донести до масс идею правомочности изображения только "внутренне необходимого", устраняя всё "внешне-случайное"».

И, наконец: *«От Достоевского до Маяковского движется вся русская мысль. Как трактор, мне страшен ваш страшный суд! / Меня одного сквозь горящие здания / проститутки как святыню на руках понесут / и покажут богу в свое оправдание.»*

Рассказывая о судьбе Тимура Новикова, Малевича, Кандинского, автор показывает, что в кризисные эпохи истории и Миф и Искусство заняты поисками магического (или трансцендентного) перехода в Инобытие, и художник и поэт, как творцы нового, часто обречены на непонимание.

Геннадий Муриков

ПОЛЁТ СКВОЗЬ ТЬМУ
(Вспоминая Сергея Дроздова)

ДНЕВНИК КРИТИКА. 2016
Александр Потёмкин и Дональд Трамп

ДНЕВНИК КРИТИКА. 2017 - 3
Великий Октябрь и современность



ПОЛЁТ СКВОЗЬ ТЬМУ (Вспоминая Сергея Дроздова)

Кто он – Сергей Дроздов? Вернее сказать, кем он был? Да, увы, уже пять лет его с нами нет. Нелепая, вроде бы случайная гибель в автокатастрофе... А может, и не такая уж случайная? Занятие бизнесом в наше время – занятие, как известно, небезопасное. А на «доходы» от поэтических сборников не проживешь, будь ты хоть семи пядей во лбу. И все же мы смело говорим: Дроздов не просто «был», а остался как яркая личность, как самобытное литературное явление, и не вспомнить о нем сегодня просто нельзя.

А начинал он в тепер уже далеких 70-х, в самое глухое застойное время – и сразу же стал объектом самого пристального внимания и читателей, и критиков. Позднее одна, за другой выходят его поэтические книги. Самые значительные, разумеется, две последние – «Но будет XXI век России» и неподражаемая «Мерзлота». Поэт становится своеобразным бельмом на глазу тех, кому литература видится как воспевание «березок» и «рябинок». Он не стесняется бросить прямо в лицо нам свои строки, поистине «облитые горечью и злостью»: «Обос...лись наши папы,/ переевшие побед,/ по велюровые шляпы,/ по надгробный парапет». Дроздов – поэт современности, поэт самой жгучей боли наших дней. Отсюда и его специфический брутальный стиль, и особая плотность письма, и злой «черный юмор», без которого его стихи немислимы:

голова ли кружится радарная,
охраняющая города...

Ой, судьбинушка тоталитарная,
никуда от тебя, никуда!

Главное у Дроздова – разоблачение благостных утопий, «научности», «прогресса», «светлого будущего». Поэт стремится пробудить нас от «золотого сна», утопической надежды. Читая его, мы сразу окунаемся в мир жестокого потустороннего. Воочию видим, как чудовища Босха, Гойи, Дали медленно, но уверенно вползают в нашу действительность:

Полыхают дьявольские свадьбы.

Бесенята носятся гурьбой.

Как суметь быстрее расхлебать бы

то, что заварили мы с тобой? – тем более, что сегодня у нас: «Ключья мертвечины в клюве грифа –/ птичьей разновидности гиены./ Шей грифа будто бы побрита / из соображений гигиены».

Мир поэзии Сергея Дроздова одновременно ярок и страшен. Он символически называет его «мерзлота»: «Мерзлота – означает зло без меры». Как сотни миллионов лет назад тогдашние рыбы, выползая на берег, приучались жить в новой среде, так и мы должны развить сегодня способности к дыханию в новой удушливой атмосфере беспредела, таково завещание поэта.

Последний раз мы встретились незадолго до его трагической гибели. Уже тогда меня насторожило, что он с недоброй усмешкой продемонстрировал мне коллекцию оружия, и холодного, и огнестрельного, заметив, что в современных условиях это вещи совершенно необходимые. Вскоре его не стало, а планы были большие. Но, видимо, такова на Руси участь поэта. И всё-таки уверен: ни его имя, ни творчество забыты не будут.

Александр Потёмкин и Дональд Трамп

Внимательно наблюдая за предвыборной борьбой в США, я пришёл к выводу, что она какими-то, может быть, оккультными силами связана с внутренней борьбой не только разных претендентов на власть в России, но и даже с отдельными литературно-политическими центрами. Одновременные кризисы в Турции, во Франции, в Англии, выход последней из Евросоюза и дальнейший его развал, постоянные угрозы терроризма и очевидные реальные теракты ... А кто же задумывается обо всём этом?

Мне кажется, что теперешнюю, отчасти литературную, а отчасти политическую позицию миллионера, почти «олигарха» А. Потёмкина вполне можно сопоставить с деятельностью американского кандидата в президенты Д. Трампа. И вот почему. Они оба рвут на части устоявшуюся структуру официальной государственной власти, продажной и коррумпированной. Трамп хочет быть президентом, а А. Потёмкин – всего лишь идейный вдохновитель Гражданского литературного форума России.

Теперь о разных деталях. Я внимательно прочитал в альманахе «Литературные знакомства» (№1(24) 2016) собрание статей многочисленных авторов о творчестве А. Потёмкина. Судя по всему, их одновременная публикация отнюдь не случайна. Честно скажу, имя этого писателя мне до этого было незнакомо. Однако то, что о нём пишут такие известные критики, как Л. Анненский, В. Бондаренко, К. Кокшенева, Л. Звонарёва, как бы внутренне меня принудило внимательно прочитать не только художественную прозу, но и экономические сочинения А. П. Потёмкина.

Первое, что бросилось мне в глаза при чтении статьи Л. Анненского – это цитаты из его интервью с Потёмкиным: «Когда начался развал СССР, на юге страны была создана Горская федерация народов Кавказа. В неё вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушетия и Абхазия. Вот вам абхазская пятаерня на флаге (Это слова Потёмкина – Г.М.). Новому образованию, если бы оно удержалось, необходима была внешняя граница – для контактов по морю с исламским миром: рядом Турция, Сирия, Египет, Ливан, Алжир, Тунис, Марокко. Вот почему десятки тысяч добровольцев из этих республик участвовали в войне с грузинами за отделение от Грузии, чтобы потом начать войну за отделение от России. Первым "абхазским батальоном" командовал чеченец Басаев... Несколько месяцев спустя Басаев со своим "батальоном" развязал войну с Россией. Но Россия не только простила абхазам предательство, а стала раздавать им гражданство и душить православный грузинский народ по "территориальному спору" с абхазами!» (с. 57-58).

Размышляя над этим высказыванием, я сначала пришёл к предварительному выводу (ещё не читая самих произведений А. Потёмкина), что основная тема его сочинений – это проблемы геополитики.

Но вот что пишет К. Кокшенёва: «Каждый герой Потёмкина говорит исключительно о себе, вся их речь – это сплошной внутренний монолог, и

даже когда они общаются друг с другом, общение это кособокое, почти глухое друг к другу. (...) Автор раздал им роли, и каждый из них играет в свою игру». (С. 132 из статьи «Он стал "свободным" игроком»).

Из разных предисловий и аннотаций я вычитал, что А. Потёмкин, немец по матери, и, возможно, поэтому 13 лет учился в Германии ведению бизнеса и полностью овладел этой внутренней и внешней механикой, поскольку теперь он миллионер и получил огромное право, которое дают деньги – право свободы слова. В этом мы доверяем Потёмкину и всем мыслям, высказанным в его сочинениях. Константин Крылов за слова «Хватит кормить Кавказ» был привлечён к суду. А Потёмкин за фактически те же самые слова процветает в Москве, и о нём пишут ведущие литературные критики современной России...

Теперь перехожу к анализу сочинений А. Потёмкина, которые я прочитал с большим интересом. Ни Л. Анненский, ни К. Кокшенёва не заметили такого интересного высказывания этого автора: «Видимо, именно мне суждено объединить Библию и Чернозние, День и Ночь в новую религию третьего тысячелетия. В богодьявольскую, униатскую, поклоняющуюся двум братьям по отцу, но разным по матери – смиренному и буйному, белому и чёрному. Ум должен возвышаться, и в молитве, и в преступлении, в добром и злом началах. Грех, святотатство должны возвышать человека, возвеличивать его так же, как добродетель и великодушие. Мы должны стремиться к райадскому бытию, первое должно дополняться вторым, второе не должно исключать первое. Иначе утопия!». Так рассуждает главный герой романа Филипп Юрьевич Проклов («Отрешённый», М. 2004, с. 97-98). Дальше автор, отчасти подражая Ницше, восклицает: «Бог умер! Да здравствует Богодьявол!» (с. 100).

Но в чём же его задача (автора-рассказчика или А. Потёмкина, мы не знаем – Г.М.): «Я должен быть только послем страждущих, генералом юродивых, государственным секретарём мающихся, создателем ассоциации беснующихся, вожакom мытарствующих, лидером убегающих на Фавор или одиноком скитальцем своей фантазии – но ни в коем случае не искателем правды!» (с.108).

Здесь-то мы автора и поймали! Ты бежишь на гору Фавор, а не ищешь правды? Ты жулик или фальсификатор? Тот, кто ищет истину, не может от неё отречься, даже если она ему предстаёт в других обличьях. О Богодьяволе немало писал Д. С. Мережковский, и никто точно не знает даты пришествия второго Христа. Над этими вопросами следует подумать и не только в рамках церковной догматики.

А вот что пишет А. Потёмкин: «Тысячи, миллионы наших сограждан спешат, бегут, проникают в тюрьмы! Какая-то повальная тюремная ностальгия! Если хоть на один день открыть тюремные ворота, наше Отечество превратится в один сплошной лагерь!» («Виртуальная экономика...» стр. 16).

У меня нет ни малейших сомнений, что миллионер А. Потёмкин вдоволь насиделся в русских тюрьмах, поэтому и смотрит он на тюремный быт как бы

изнутри. Меня очень тронула сентиментальная тональность его рассказа «Русский сюжет». Его герой, студент–практикант юридического факультета, проходит практику на севере России. И там с ним происходит «интереснейший» случай: к нему на приём приходит молодая женщина ангельской красоты и просит написать заявление в защиту некоего убийцы, всю жизнь просидевшего в тюрьмах по уголовным делам. Студент очарован необычайно красивой женщиной и просит изложить подробно суть дела. Оказывается, что она ходатайствует за человека, убившего её отца. Практикант в панике, не понимая сути дела. Она отвечает, что её отец отбывал срок в той же колонии за тяжкое преступление. Но ему через некоторое время было разрешено свидание с его матерью. Когда та пришла в комнату свиданий, сын набросился на неё и зверски насильовал, в результате чего она сошла с ума. Девушка сказала, что она просит ходатайствовать о помиловании уголовника, убившего её отца после насилия над собственной матерью, за что он получил ещё один срок, практически пожизненный. Потрясённый этим рассказом, студент спрашивает, что же было дальше. И «ангел красоты» рассказывает ему, как она решила помочь этим несчастным заключённым: «Мне хотелось что-то сделать, придумать, предпринять, чтобы помочь этим людям, помочь им сохранить в себе человека. (...) Три раза в месяц я тайно хожу к Белым порогам и лечу новых и новых... Я жертвую своим телом в угоду облика человеческого» (с. 175).

«Священная проституция»? – примерно так думает А. Потёмкин, но никто из его даже самых доброжелательных критиков не коснулся такой глубины хотя бы некоторых его сочинений. А ведь в Древней Греции и Риме храмовые жрицы должны были отдаваться любым иностранцам, зашедшим поклониться местным богам. Каждый любитель русской литературы в этом самопожертвовании вспомнит и Сонечку Мармеладову, и Юрия Кузнецова.

Над бывшим небом без креста
Кружилось вороньё.
Шесть молодцов из-под моста
Стащили вниз её.
– Я ваша мать!
– А коли мать,
Молчи, шаля-валя,
Должна зараз детей примать,
Как мать сыра земля.
И совершился смертный грех.
Тут подоспел седьмой,
Не оказался лучше всех
Он на пути домой.

Потёмкин в этом рассказе как бы любуется своей героиней, думаю, не меньше, чем Достоевский Сонечкой Мармеладовой. А нравственно-философская связь между этими авторами совершенно очевидна.

Обратимся к одному из последних и ключевых, на мой взгляд, романов автора, кстати, названный далеко не случайно со всеми вышеприведёнными аллюзиями «Игрок» (М., 2013).

Вот что пишет автор: «У человека наших дней нет определённого лица. Как погода, как чувства и страсти людские изменчивы, как политики за день говорят прямо противоположные вещи – так и российский человек остаётся рыхлым, жидким. В нём не хватает цельности. Это собрание персонажей с самыми разными цветовыми оттенками души. Преобладают мрачные тона. Поэтому наша жизнь такая непостоянная в своих парадоксальных противоположностях. С крестом на груди и Богом в душе мы постоянно держим наши сердца открытыми для дьявольщины» (с.64).

Легко заметить, что это те же самые мысли, которые автор излагал в предыдущих сочинениях. Главный герой романа – аферист и шулер Юрий Алтынов с помощью азартных и ловких махинаций обыгрывает и обворовывает даже матёрых жуликов... Связь с Достоевским здесь только косвенная. Но зато вполне очевидное соприкосновение с Homo ludens Йохана Хейзинги. Человек играющий, игрок, которому плевать на все законы нравственности и справедливости, жизнь как бесцельная и бессмысленная игра, в которой лишь одно одушевляющее чувство – азарт.

Рассматривая другие сочинения А. Потёмкина, ограничимся только некоторыми суждениями.

«В мегаполисе жизнь насекомых и прочих низших тварей ничтожна и незаметна» («Русский пациент», М. 2012, с. 17). Настолько явное заимствование у В. Пелевина («Жизнь насекомых»), что и говорить стыдно.

Чуть-чуть ниже (с. 41) говорится, что говно – это «национальный аромат». Сразу вспоминается «Норма» В. Сорокина. Мы не стремимся ни в чём упрекнуть А. Потёмкина, может, упомянутые авторы – это его друзья, а может быть, «жизнь такая»?

В другом месте автор, разумеется, устами своего героя говорит, что при развитии бизнеса, поскольку бизнес в России – это война, дача взяток тем или иным функционерам – это путь совершенно ложный и неправильный. Взятки как принцип для развития бизнеса устарели, а поступать нужно так: «Для развития бизнеса человека надо покупать с потрохами!» (с. 54). То есть мы как бы идём к целенаправленному рабовладению – вспомним Маркса, утверждавшего, что рабовладение в США очень прогрессивно влияет на развитие капитализма (это моя реплика – Г.М.).

И дальше: «Надо целенаправленно, агрессивно развивать гипертрофированное накопительство как страсть» (с. 54-55).

Здесь мне припоминаются некоторые цитаты из книги Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма. Экономическая социология», в которой автор цитирует то ли письма Дж. Вашингтона, то ли Б. Франклина к своим сыновьям. Кто-то из них даёт такие советы: не трать лишний доллар, а отдай его в заём, тогда получишь проценты, а на эти проценты получишь новые проценты и, откладывая их дальше, станешь богатым человеком. (Цитирую по памяти).

А как же эта теория накопительства согласуется с понятием безудержной игры? Может быть, ответ вот в чём: все начальники, – а Потёмкин безусловно «начальник», – «... особую любовь питали к человечине» (с. 91). Дальше эта

мысль поясняется размышлениями о русском народе: «Нет-нет, а приходит в голову мысль: зачем плодить такой бездарный этнос? Я даже близок к заключению, что импотенция – это не что иное, как природная реакция на порочность русского человека» (с.99).

Это, конечно, мысли смелые, отчасти любопытные, хотя иногда автор демонстрирует свою историческую малограмотность, в частности на стр. 98 почему-то написано по поводу борьбы с Наполеоном, что российская армия не востала на престоле Людовика XVI. А как она могла его восстановить, если он был казнён за двадцать лет до этого? Русская армия восстановила Людовика XVIII, но это России, в общем-то, на пользу не пошло.

Ещё одна деталь: в центре всех романов А. Потёмкина то, что все его герои теми или иными путями стремятся добыть себе «это самое». В разных текстах под «этим самым» подразумеваются то алкоголь, то наркотики, то легкодоступные женщины. Одним словом, круг мыслей и чаяний русского человека предельно ограничен. С одной стороны – некий богодьявол, с другой стороны «это самое», а в итоге – иди в кабалу к новоявленному диктатору, игроку, а может, и социальному критику, но который возьмёт тебя в рабство. Ещё раз вернусь к некоторым ассоциациям. Нельзя забывать, что один из самых ярких социальных критиков XIX века М. Е. Салтыков-Щедрин занимал очень видные государственные посты. Но, когда он позволил себе унижить и пнуть Ф.М. Достоевского после возвращения последнего с каторги, то даже Д. И. Писарев, критик того же самого либерального лагеря, заметил ему (по поводу «Записок из мёртвого дома»), что «такие книги пишутся кровью, а не чернилами с губернского стола».

Позиция А. Потёмкина выглядит двусмысленно: богодьявол или бог? Кровь или чернила? Патриотизм или русофобия? А может быть, суть его творчества в том и состоит, чтобы загадывать загадки, ответ на которые он ждёт от читателя.

Мне кажется, что Дональд Трамп, о котором я упомянул в начале статьи, тоже не очень-то любит современную сложившуюся систему американского общества. Он выступает за её обновление. Несомненно, обновления желает и А. Потёмкин. Весь вопрос в том, как отреагирует на это существующая структура властных отношений и социальных стереотипов.

Теперь об экономических исследованиях А. Потёмкина.

Первое его сочинение по экономике называется «Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытие» (М., 2000). Книга к сегодняшнему дню сильно устарела, кроме некоторых, совершенно очевидных тезисов, которые и поныне актуальны. Например: «В середине 1998 г., когда глобальный финансовый кризис поставил под вопрос миф наших реформаторов о скором выходе России из кризиса, о начале инвестиционного бума» (с. 31). Читатель может сравнить это с результатами июньского Экономического форума в Петербурге 2016 года, где говорилось то же самое. Прошло 15 лет, результат нулевой.

Существенной темой в экономических размышлениях А. Потёмкина является вопрос о создании некоего «беспроигрышного золотого сертификата», то есть новой формы обеспечения рубля только на основе золота. Мне кажется, что это чисто утопическое представление. Такого рода мероприятия иногда предпринимались разными правительствами, но всемогущий доллар, с моей точки зрения, преобладал всегда.

Важно отметить то, что А. Потёмкин написал о деятельности Центробанка. Перед тем, как перейти к анализу некоторых его соображений на этот счёт, мы обратили внимание, что он постоянно ссылается на мнение международного финансиста-экономиста Джорджа Сороса, который, помимо прочего, пописывает и книжечки по теории международной экономики. Назовём одну из них: «Алхимия финансов», переведённую на русский язык только в 2010 г., но А. Потёмкин читал её, вероятно, в ранних изданиях на языке оригинала.

Перейдём к тексту книги А. Потёмкина: «Дж. Сорос показывает, что кредиты имеют существенно разные результаты. Одно дело, если кредит идёт на расширение производства, и совсем другое, если кредит предназначен, например, для приобретения контрольного пакета акций или для поддержания курса собственных акций» (с. 231).

В книге не даётся нравственного отчёта о понятиях «выдачи кредита». Раньше это называлось ростовщичеством. В своё время К. Маркс в учении о капитализме был совершенно уверен, что ростовщический капитал сменится производственным. Однако дело обстояло и обстоит не так. Именно ростовщичество, поощрённое Ветхим Заветом, сейчас стало главным моментом международной экономики, и это ласково называют кредитом, инвестициями и т.п. Всё это имеет самое прямое отношение к России: «Дело не в том, что возможность широкомасштабных спекуляций с валютой является ненормальным состоянием экономики. Оно возникло в результате последовательно проводимого российскими приверженцами монетаризма курса на ослабление рубля. Если бы Россия обладала сильной национальной валютой, спекулятивные операции с валютой свелись бы к минимуму» (с. 241).

Обратим внимание, что этот текст, хотя и написанный в 2000-м году, полностью соответствует текущей финансовой ситуации: опять обвал рубля, опять в моде финансовые спекулянты и т.д.

Но вот и противоположное суждение: автор считает, что необходимо гипербъединение России, США и Канады: «Нам просто настоятельно необходимо пересмотреть стереотипы прошлого и направить интеллектуальные силы страны на разработку нового суперпроекта: концепцию объединения США, Канады и России» (с. 368). А дальше ещё интересней: «В перспективе всё возрастающая роль евро в России предопределена» (с. 369). Конечно, как мы уже упоминали, книга написана давно и в значительной мере устарела, но всё-таки такие ляпсусы для автора непростительны. Мы прекрасно видим, что предлагаемого триединства не существует, а «евро» не только не стал единой валютой, а наоборот Евросоюз начал помаленьку распадаться (пример Англии).

Великий Октябрь и современность

В поле нашего размышления о причинах и итогах революционного 1917 года попали три интересные книги, о которых мы и поговорим.

Последняя книга Александра Проханова «Русский камень» (М., 2017 г.), хотя и названа «романом», но представляет собой грандиозный памфлет, издѣвку над всей текущей общественно-политической ситуацией. Об этой книге можно говорить только на её же языке: «Чародеи и колдуны, работающие на станции “Эхос Мундис” (так автор иронически обозначает “Эхо Москвы” – Г.М.) поняли, что сами они бессильны исправить и спасти русский народ. (...) И тогда глава радиостанции “Эхос Мундис” Алексис Венедиктум обратился к астрологам, алхимикам и другим учёным, которые носили высокие чёрные колпаки, чтобы те отправились в азиатские степи, отыскали тот зуб и создали из него чудище, которое покорит русский народ» (с. 9).

Ужас просто какой-то – “Эхо Москвы” вместе с А. А. Венедиктовым покорит русский народ! Что же такое русский народ? Дрянь какая-то, которую может покорить одна радиостанция «Эхо Москвы». А Проханов явно перегнул палку. Ещё: «Невзорофа (ныне постоянный ведущий «Эха Москвы» А. Невзоров – Г.М.) приветствовали как русского царя. Грамп обещал вернуть России Аляску. (Это что, взамен Крыма что ли? – Г.М.) А Хиллари, которая оправилась от поражения, поцеловала его в нос и сказала: “Мой пупсик”» (с.23)

Очень не любит автор книги Александра Невзорова. Например: «Александр Глебович Невзороф был богатырь и искал себе работу по плечу. Он решил расширить Волгу, чтобы в неё могли заходить океанские теплоходы. (...) Но работа по расширению Волги показалась ему малоинтересной» (с. 110).

Может, это и остроумно, но историки знают, что проблема поворота Волги из Каспийского в Чёрное море возникла ещё при Сталине. А что касается перепродажи Аляски, то уместно вспомнить высказывание Кирова о том, что нужно продать Америке Камчатку и большевистское правительство на этом не остановится.

В книге много интересных и просто смешных мест. Например, из главы «Предвыборные стратегии»: «Как известно, Николай Васильевич Гоголь после своей ссоры с Белинским кинул в горящий камин рукопись второго тома “Мёртвых душ”. Причитая: “Виссарионе, Виссарионе, не твой ли сын Иосиф” – Гоголь швырнул в огонь кипу бумаг и пошёл писать “Записки сумасшедшего”» (с. 46). И дальше: «Плюшкин работал в Центробанке, ратовал за накопительную пенсионную систему и создавал Фонд Национального благосостояния, для чего сносил в этот фонд множество всяких тряпочек, пластиковых стаканчиков, целлофановых пакетиков и жестяных баночек, в которых продавались прибалтийские шпроты» (с. 47). На кого намекает А. Проханов из сегодняшних экономических и финансовых руководителей современной России – на Грефа или Набиулину? Мы не знаем.

Спрашивается, а что же нас привело к такой печальной системе, над которой остаётся только хохотать? Мой ответ: большевизм и продукты его

распада, то есть гниения. Об этом хорошо написано в книге Ольги Грейг «Долой стыд! Сексуальный Интернационал и Страна Советов» (М., 2014). Перу этого автора принадлежит несколько книг примерно на ту же тему, т.е. посвящённых социально-эротической подоплёке так называемой классовой борьбы. Особенное внимание автор уделяет судьбам некоторых «революционных фурий» Октябрьской революции. Среди них на первом месте постоянная соратница и якобы любовница Ленина Инесса Арманд, забываемая революционерка Лариса Рейснер и, конечно же, символ российской сексуальной революции А. М. Коллонтай. «Пролетарскую революцию в России можно смело назвать сексуальной революцией» (с. 110). Одним из знаковых явлений пролетарской сексуальной революции стало появление на улицах совершенно голых людей, как мужчин, так и женщин с красной лентой через плечо. Так мало-помалу формировалось общество «Долой стыд!», которое окончательно оформилось в 1925 году и получило широчайшее распространение по всей России. В то время были такие лозунги: «Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой», якобы это требование было принято в первом Уставе РКСМ (с. 136).

Важные моменты относятся к деятельности и личности Александры Михайловны Коллонтай. Её известная теория «стакана воды» получила распространение в начале 1920-х годов: «Сексуальное влечение – это обычная физиологическая потребность, такая же, как желание выпить стакан воды», – объявила немолодая партийка А. Коллонтай, проведя ночь с очередным «комсомольцем» (с. 152).

Следует вспомнить, что во времена Октябрьской революции А. Коллонтай было 47 лет, а её новый муж А. Дыбенко (расстрелян Сталиным в 1930-х годах) был моложе её на 17 лет. Браки такого рода были не единичными, но это лишь подчёркивало одну важную особенность пролетарской революции – её обобществляющий характер. С точки зрения пролетарской идеологии «выделение “любящей пары” (в кавычках), моральная изоляция от коллектива, в котором интересы, задачи, стремления всех членов переплетены в густую сеть, станет не только излишней, но психологически неосуществимой. (...) чем крепче будет спаяно новое человечество прочными узами солидарности, чем выше будет его духовно-душевная связь на всех ступенях жизни, творчества, общения, тем меньше места останется для любви в современном смысле слова» (с. 153). Рассматривая любовь и эотику как техногенные процессы, А. М. Коллонтай вплотную подошла к современному пониманию любви и эротичности, как биотехнологических процессов в той форме, как они были описаны в знаменитом романе О. Хаксли «О дивный новый мир» («Прекрасный новый мир»), одна из ключевых тем которого для некоего общества будущего – это отмена «живорождения» с заменой его пробирочным оплодотворением. Тот же самый «стакан воды» без брака, без семьи при общем коллективизме.

Но у большевизма есть более глубокие корни, чем даже те, о которых писал Н. Бердяев в ставшей классической работе «Истоки и смысл русского

большевизма». Осмелюсь поспорить с Н.Бердяевым: русский большевизм не такой уж «русский». Предшественники большевизма и его основоположник Фридрих Энгельс в своей книге «Крестьянская война в Германии» одобрял движение анабаптистов, считая его предшественником коммунизма. То же самое писал известный авторитет социал-демократии Карл Каутский, делал то же самое в своих книгах: «Коммунизм в Средние века и во время Реформации» (1894 г.) и «Коммунизм в центральной Европе во время Реформации» (1897 г.). Крестьянская война в Германии происходила в 30-х годах XVI века. Тогда разгорелись споры о так называемой реформации. Выступил на религиозно-политическую арену Мартин Лютер, которому удалось расколоть тогдашнюю католическую церковь, но это ещё не всё. (Обо всём этом рассказывается в книге А. Руинби «Фауст» /М., 2012/). Казалось бы, события этого отдалённого времени прямого отношения к нам не имеют. Тем не менее, это не так: очень даже имеют. В 1532 году в г. Мюнстере начались волнения из-за притеснений и введения новых налогов. Там же появился некий проповедник Ротман, который заявил, что надо резать богатых и что повсеместно должно быть равенство. Таким образом будут созданы Новый Иерусалим и торжество Сиона. Все граждане города, изнурённые новыми налогами, пошли за Ротманом. Потом появились другие вожди, и туда же прибыл беспокойный доктор Фауст, исторический персонаж, а не герой пьесы Гёте.

Повстанцы в Мюнстере объявили основными принципами имущественное равноправие, общность жён и главное: «По дорогам империи потянулись религиозные фанатики и неимущие, искавшие лучшей жизни, которую им предлагало «Общество Христа» в провозглашённом Ротманом новом «царстве Сиона». Вот так и появился большевизм. Один из руководителей Мюнстерской коммуны, называвшей себя «Новый Иерусалим», Иоанн Маттис во время осады вышел лично из ворот укреплённого двумя рвами города и сказал, что, будучи укреплённым божественной силой, он готов сразиться один на один с начальником осаждающих город войск. Однако «христианнейшие» и «патриотичнейшие» осаждающие на это не пошли. Маттис был разрублен на куски отрядом войск.

Основные требования участников Мюнстерского восстания до деталей соответствовали принципам коммунизма. Не случайно Маркс и Ленин положительно отзывались об этом историческом событии, а мужество восставших борцов за этот «коммунизм» и поныне заслуживает уважения. А какова же роль доктора Фауста в этих событиях? Автор пишет, что он присутствовал где-то среди оккупирующих Мюнстер войск, но вряд ли наслаждался кровавой расправой над горожанами. В упомянутые годы Фаусту уже было за 60 лет. После некоторых испытаний он женился на юной Елене Троянской, от которой родился сын Иуста. Своё имение с небольшим садом он завещал Вагнеру вместе с 1600-ми гульденами.

Имеет ли исторический Фауст отношение к большевизму? Доктор Фауст – нет, а вот история Мюнхенской коммуны, несомненно, имеет.

ПРИЛОЖЕНИЕ**ДВЕНАДЦАТЬ ПОЛОВЫХ ЗАПОВЕДЕЙ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЛЕТАРИАТА**

Брошюра «Революция и молодежь», изд-во Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, 1924 год

1. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата.
2. Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (20—25 лет).
3. Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви.
4. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих.
5. Половой акт не должен часто повторяться.
6. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия.
7. Любовь должна быть моногамной, моноандрической (одна жена, один муж).
8. При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка — вообще помнить о потомстве.
9. Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно - пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально - полового завоевания.
10. Не должно быть ревности.
11. Не должно быть половых извращений.
12. Класс, в интересах революционной целесообразности, имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов; половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая.

(Публикация Г. Г. Мурикова)

Приглашение к разговору: Нравственность и Революция

А.Андрюшкин

ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ И АТЕИСТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ



АНДРЮШКИН Александр Павлович (1960 г., Ленинград) – прозаик, критик, эссеист, переводчик. Член Союза писателей России с 2012 г.

Окончил филфак ЛГУ (1982) (английский язык и литература). Работал преподавателем английского языка, переводчиком.

Автор романов «Политик» (1994), «Дети Горбачёва» (2015), повести «Одесса-мама» (2016). Эл. Почта: ocser@yandex.ru

В нижеследующем анализе я основываюсь на идеях, выдвинутых А. Ф. Лосевым в его книге «Эстетика Возрождения» и в дополняющей её работе «Исторический смысл эстетики Возрождения».

В этих произведениях А. Ф. Лосев показал, что так называемая «атеистическая революция», совершившаяся в культуре времён Ренессанса (прежде всего – в Италии) была неполной и непоследовательной (да иначе и не могло быть). Даже самые, казалось бы, *безоглядные* новаторы эпохи Возрождения, все-таки, по большей части, *оглядывались* назад и порой сожалели о содеянном. Так, Боккаччо в конце жизни раскаялся в том, что написал «Декамерон»; и самые видные художники Возрождения – Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи – ни в коем случае не хотели идти в своих поисках дальше определённой черты, например, не хотели отказываться от своих излюбленных сюжетов на темы Священного Писания.

Такие деятели как Джордано Бруно, чьей основной жизненной страстью была, по-видимому, ненависть к Церкви и к христианству, появлялись в Европе все-таки не столь уж часто. Ренессансная живопись, с её переносом внимания с божественного на человеческое, вызвала в разных странах Европы (и прежде всего – в самой Италии) целую серию культурных движений обратного смысла, чьей задачей было – вернуть христианскому мировоззрению его традиционную роль. Похожим образом лютеранская Реформация вызвала в лоне католической церкви мощное движение контрреформации.

При том, что ренессансная революция в культуре была неполной, даже на эту неполноту европейская культура много веков реагировала возникновением всё новых и новых восстановительных течений и феноменов. Первым таким течением в живописи стал маньеризм, затем похожую «антиреволюционную» функцию выполняло барокко, позже – романтизм (отчасти). В каком-то смысле этот процесс на Западе продолжался и в XX веке.

Отметить всё вышеуказанное нужно было для того, чтобы отсеять бытующие в России упрощенческие суждения по шаблону «на Западе всё плохо, а у нас в России – всё хорошо».

На Западе многое плохо, и всё-таки западноевропейская культура оставалась *живой* на протяжении пост-ренессансных веков. В России же живопись в XIX–XX веках совершила громадный рывок, по количеству шедевров стремительно догнав Запад, а по содержанию порой «обгоняя» его, не всегда в хорошем смысле этого слова

То, что, по точному наблюдению А. Ф. Лосева, «не доделали» итальянские живописцы Ренессанса, «доделали» русские живописцы-передвижники; ту черту, перед которой в сомнениях остановились на Западе, в России перешагнули. Живопись передвижников была реализмом с неким двойным подтекстом: с одной стороны, Россия изображалась как чудо, а русский народ как «народ-Богосец»; а с другой – эта живопись была нацелена и против Церкви, и против существовавшего в России якобы косного и отжившего строя.

В XX веке, если суммировать очень кратко, Россия двигалась как бы двумя противоположными курсами: она зашла дальше Запада в своем социальном эксперименте и в то же время очень резко «ударилась» по тормосам», остановив этот эксперимент.

Антибольшевистские (а проще сказать: добрые, человеческие, прохристианские) течения возникали во всех областях культуры *внутри* СССР; но, конечно, наиболее резко этот антибольшевизм проявился в эмиграции. Западная эмигрантская литература нам известна хорошо, живопись – меньше. Между тем у стилия Илья Глазунова были предшественники среди художников-эмигрантов. Да что там эмигранты! В любой камере ГУЛАГа, где был чистый кусок стены, гвоздь или карандаш, или чистый листок бумаги и карандаш, плюс желание «зека» нарисовать что-то протестное, – он мог бы нарисовать именно это: расстрелянная царская семья, растоптанная икона, Ленин со зловещим выражением лица.

Простейший лубок, крик народной души – вот где исток стилия Илья Глазунова.

Этот стиль или подход настолько же очевиден, насколько и труден для воплощения как жанр *серьёзной живописи*; во всяком случае, трудно его было воплотить художникам-эмигрантам на Западе. Ведь Запад решал двудединую задачу: борьбы с большевизмом и борьбы с русскостью. В рамки второй задачи отнюдь не вписывалась какая-нибудь крупная художественная фигура с моральным авторитетом. Максимум, что допускалось на Западе, это скандальная популярность вроде той, что выпала на долю Набоковой «Лолиты».

Итак, откровенно народный подход к истории и к искусству – вот что лежит в основе стилия Илья Глазунова. И следует лишь восхититься тому, как этот талантливый, энергичный и успешный художник не пошел по официозному пути советского живописца, но сумел остановиться и, так сказать, *поднять из-под ног, с самой земли* этот образчик народного искусства. Здесь – секрет очередей на его выставки и объяснение той повальной любви к нему, которая не знала разграничений на «чистую» и «простую» публику, на возраст, пол, профессию и даже политические взгляды...

Глазунов был и остаётся интересен и нужен всем нам.

В начале этой статьи я упомянул Боккаччо и сейчас хотел бы немного сказать о его «Декамероне».

Эта книжка – простое эротическое чтение, из тех, какие существовали во все века и во всех странах. Для подростков – тяга к запретному; для взрослых и для стариков – развлечение; для людей стареющих, но, так сказать, желающих «вспомнить молодость», «Декамерон» может служить своеобразным стимулятором. Почему же эту книгу считают столь важной и даже изобретают для этого весьма хитроумные объяснения? Например, профессор советских времён З. И. Плавский, специалист по западно-европейской литературе, утверждал, что ценность «Декамерона» – в «многообразии точек зрения». Думаю, лукавил уважаемый профессор, и сам вряд ли мог бы определить без «подглядывания в текст», кому какой рассказец принадлежит в этой книге. Да и есть ли какой-то ярко выраженный характер у каждого из людей, ведущих в «Декамероне» беседу, по сути, просто «гравящих байки» от безделья?

Важность «Декамерона» в другом: в том, что эта книга нанесла удар по целому жанру так называемых «примеров» (“*exempla*”), очень распространённому в Средние века. Сегодня мы практически забыли, что был такой жанр и что было очень много таких книг, специалисты об этом нам напоминают. (См., напр., труды А. Я. Гуревича: «Культура и общество средневековой Европы глазами современников» (М., 1989); «Индивид и социум на средневековом Западе» (М., 2005) и др.)

«Примеры» были сборниками, использовавшимися священниками для проповедей; они содержали краткие, но яркие *назидательные* истории, как правило, включавшие в себя описание чуда, то есть Божьего вмешательства в жизнь для наказания или, наоборот, поощрения людей. Вот образчик средневекового «примера». Один человек, грешник, очень хотел избежать ада и потому купил индульгенцию. Но после его смерти вдова рассказала о сне, в котором покойный муж приснился ей плачущим, потому что всё-таки попал в ад. «Почему же в ад, ведь у тебя индульгенция?» – спросила она его во сне. – «Так чёрт сказал, что читать не умеет! – ответил муж. – Тот чёрт, который распределял, в ад или в рай, сказал, что он неграмотный, но что по моей душе он, вопреки всяким документам и индульгенциям, видит, что я грешник». Смысл этого довольно остроумного «примера» понятен: как ты ни ловчи, а правда всё равно «выплывет».

Такие сборники примеров существовали во всех странах средневековой Европы, в основном, на латыни; на Руси – на греческом и старославянском. Конечно, талантливый священник мог и свои примеры из жизни привести, но и ему такие книги были полезны, не говоря уж о священниках со способностями средними или ниже того. Примеры в таких сборниках были распределены по темам: «о жадности», «о жестокости», ну и, конечно, «о блуде»... И вот по таким-то сборникам и бил «Декамерон» и другие подобные ему сочинения «духовных столпов» Ренессанса. Вместо благочестивых примеров дать собрание эротических анекдотов...

Говоря о лубке или о комиксах, мы должны иметь в виду, что бывают комиксы и лубки похабные, а бывают назидательные и благочестивые. Последние в чём-то смыкаются с так называемыми «иконами с житием», в которых по периметру основного изображения размещены малые картинки, показывающие чудеса и другие эпизоды из жизни святого. Эти картинки можно и нужно долго рассматривать, размышляя о них; такого же медленного и вдумчивого разглядывания требуют многофигурные композиции Глазунова, такие как «Вечная Россия» (1988; с распятым Христом в центре), «Великий эксперимент» (1990), «Разгром Храма в Пасхальную ночь» (1999), «Мистерия XX века» (1999), и другие.

«Многовековая история России» или даже, более узко, «история XX века в лицах» – так можно назвать эти композиции Глазунова. Ленин, Гитлер, Сталин; Хрущев и Кеннеди; Брежнев, Горбачев и Рейган; Толстой и Достоевский, «Битлз» и Мэрилин Монро... Фигуры, в основном, известные, хотя над некоторыми приходится и задуматься: кто именно здесь изображён? Так и в «иконах с житием»: в целом, они понятны всем, но для полного понимания требуется определённая эрудиция. Однако о деталях – чуть позже, а сейчас – о самом главном, а именно, о том, что в большинстве пост-советских (да уже и в поздне-советских) композициях Глазунова присутствует или Христос, или Богоматерь, или ангелы, – словом, элемент христианского чуда. Это, собственно, и делает его полотна явлением совсем иного порядка, чем многофигурные композиции передвижников или соцреалистов.

Смысл работ Ильи Глазунова – не просто народная мудрость, но назидательность христианского типа. Для того я и говорил выше о средневековых «примерах», большинство из которых описывает именно чудеса, т.е. не те или иные, пусть значимые, но всё же естественные сошествия и смыслы, а именно – сверхъестественные. Христос и тема Страшного суда на картинах, посвященных истории XX века – это, конечно, совсем иное, чем попытки взглянуть на век с точки зрения, свойственной этому же веку, т.е. со светской, «секулярной» точки зрения.

Здесь хотелось бы заострить внимание на том, что Глазуновские композиции «Великий эксперимент» и «Вечная Россия» являются как бы полемикой со «Страшным судом» Микеланджело (в Сикстинской капелле в Ватикане); так же, как и в целом творчество Ильи Глазунова противоположно по смыслу и является, так сказать, «симметричным ответом» всей живописи итальянского Ренессанса.

Появление Христа или Богоматери на картинах И. Глазунова, это, так сказать, «разрыв естественного хода жизни», прорыв через «полотно реальности» в сверх-реальность. И это – прямо противоположно тому, что делали художники Ренессанса, как их понимал А. Ф. Лосев и как понимает следом за ним автор этих строк. Художники итальянского Возрождения брали ту или иную ситуацию, когда-то имевшую сверхъестественный смысл (например, ту или иную сцену из Евангелия), и изображали её как *обычную бытовую сценку из жизни*.

Самый поразительный пример здесь (хотя такой, на который мы меньше всего обращаем внимания) это так называемые итальянские «мадонны», т.е.

Богоматерь с младенцем-Христом, изображенная как самая обыкновенная мама с грудным сыночком. Вдумаемся: *может ли быть что-то кощунственнее чем это?* Изобразить Бога – Христа – как совершенно реалистического грудничка со всеми присущими детям такого возраста складочками кожи, с характерными пальчиками, губками, волосиками и т.д.? Таковы, например, «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» «великого Леонардо», хранящиеся в Петербургском Эрмитаже; такова одна из мадонн зрелого Рафаэля, известная как «Мадонна с младенцем и безбородым Иосифом», и многие, многие другие.

Даже поразишься: чего тут больше, кощунства или элементарной глупости? Вот художник научился реалистично изображать «человеческую модель»: складки кожи, её текстуру, цвет в том или ином освещении, в правильно построенной перспективе. Всё очень похоже. Это, так сказать, одна «вводная». Вторая «вводная»: принято писать картины на евангельские и вообще библейские сюжеты, значит, и мы так будем делать. Это вторая «вводная». Теперь соединяем эти «вводные» и получаем картину эпохи Возрождения: вроде бы, икона, но такая, где ты видишь прямо перед собой не святых, а реальных грешных людей...

Я думаю, что здесь всё-таки была не глупость, а сознательное кощунство, маскирующееся под глупость. Так на советском политзанятии кто-нибудь мог якобы невинно, якобы *сглупа*, задать вопрос лектору: «Вот у Ленина написано, что при коммунизме унитазы будут делать из золота. Скажите, пожалуйста, а когда нам заменят наши унитазы на золотые?» Желаемый эффект – громкий смех всей аудитории. И в послесталинской реальности отказа от репрессий никак, по сути дела, нельзя было и наказать такого «весельчака». Он ведь и в любом разбирательстве будет разыгрывать протеста: «но ведь у Ленина написано, а я просто спросил, я ничего плохого не имел в виду...»

Такими шутками занимались художники много веков, прошедших с эпохи Ренессанса. Несомненно, некоторые из них будут ими заниматься и дальше... И всё-таки, как представляется, «последний суд» над атеизмом уже произошёл. Произведён этот суд всеми страшными событиями XX века: мировыми войнами и революциями, ГУЛАГом, Освенцимом и атомной бомбой. Теми событиями, главные действующие лица которых наполняют полотна Ильи Глазунова.

Илья Сергеевич Глазунов, не просто выдающийся, а – скажем это слово – великий художник нашего времени, неплохой писатель (автор книги «Россия распятая»), организатор культуры и президент Художественной академии, – внёс в этот процесс свой важный вклад. Он просто верно изобразил наше время, таким, каково оно есть в действительности: с политическими деятелями, катаклизмами и демонстрациями, суетой своей как бы отрицающими важность повседневного труда, – но с сияющим поверх всего пришествием Христа.

Т. М. Лестева

Путь к эвтаназии



Путь к эвтаназии

Доцент то ли Челябинской академии культуры и искусства, то ли Челябинского университета, доктор философских наук В. А. Рыбин не дебютант на страницах «ЛР». Он пишет часто, критически поучая редакцию, какие материалы следует публиковать в газете. Не устраивал его, например, «клерикальный перебор». На сей раз г-н Рыбин решил поделиться с читателями своими размышлениями о текущем литературном процессе («Резонанс». «ЛР» №20, 2012).

Для начала он пишет, что «некий Владимир Казоровецкий» на страницах «ЛР» утверждает, что «Конёк-горбунок» написан якобы А. С. Пушкиным. Негодующему философу следовало бы знать, что В. Казоровецкий, опубликовавший ранее своё исследование в журнале «Литературная учёба», которое вызвало широкую полемику в литературных кругах, отнюдь не одинок в постановке вопроса об авторе сказки. Версий о неавторстве В. Ершова тринадцать, как сообщает Татьяна Савченкова в статье «"Конёк-горбунок" в зеркале "сенсационного литературоведения"» («ЛУ», №1, 2010). Так что упрёк В. Рыбина редакции вряд ли оправдан. Есть вопрос, пока нет ответа. Читателю интересно.

Не устраивает философа и вторжение В. Козаровецкого более чем в трехсотлетнюю историю мирового литературоведения о том, что Шекспир – это литературная мистификация. Здесь философ категоричен: «... у нас всё позволено, даже Путина ругать ... а вот «ЛР» неприлично работать на таком уровне». Ну, что касается приличий... Вряд ли прилично доктору философии в полемике использовать такие аргументы: «...если бы Козаровецкий имел хоть немного серого вещества под крышкой своего черепа, он...». Не думаю, что г-н. Рыбин располагает данными компьютерной томографии своего оппонента, скорее всего ему хочется предстать перед читателями с почётным титулом «ругателя высшего класса» из популярного романа Э.-М. Ремарка. Но вернёмся к Шекспиру. Достаточно было бы автору «Резонанса» заглянуть в энциклопедию, чтобы узнать, что так называемый «шекспировский вопрос» (т.е., был ли Шекспир физическим лицом, и о возможных мистификациях) в самой Англии обсуждается уже свыше 300 лет. И английские историки литературы не пришли к единому мнению до сих пор.

Доктор философии возмущён серией статей, «посвящённых литературным критикам советского времени», так сказать булыжник в адрес редакции с седого Урала. Признавая, что в то время было многовато идеологии, доцент из Челябинска указующим перстом грозит руководству «ЛР»: «...не следует превращать своё издание в информационный резервуар, куда каждый возомнивший о себе любитель может запросто сливать... бред, ахиною, «продукты собственного нездорового воображения». Ай да доцент! Каков стиль! Трудно даже представить себе, до чего же он дойдёт в своём творчестве, если переместится в кресло профессора!

Не ограничиваясь мистификациями литературного плана, В.А. Рыбин демонстрирует широту своего кругозора, перейдя к измышлениям на исторические темы: «какая-то Валентина Пашинина» позволила себе

усомниться в деталях Катынской трагедии. О, ужас! Так ведь причина для сомнения есть. Документов-то нет, а есть только справка об уничтожении этих документов по данным радиостанции «Эхо Москвы». «Фильтруй базар!», – даёт ценное указание доктор философии редакции «ЛР». При этом ему, по-видимому, неизвестна позиция руководства страны: «Вина за расстрел польских офицеров в Катыни лежит на руководстве СССР, – заявил президент Дмитрий Медведев после переговоров со своим польским коллегой Брониславом Коморовским. Как передает РИА "Новости", Медведев назвал неуместными попытки представить другие версии событий. "Ответственность за эти преступления несут руководители советского государства того периода. Попытки представить иные версии не основаны ни на исторических фактах, документах, ни на моральных соображениях. В этом плане позиция российского государства остаётся. Тем паче не волнует философа и судьба 20 -40 тысяч советских военнопленных в польском плену. А история города Борисова, сожжённого в 1920 году дотла поляками с применением химического оружия? Не те проблемы! Вот «словоизвержения какого-нибудь алкаша (Сергей Кубрин...)» – это совсем другое дело. Досталось и ещё одному из постоянных авторов «ЛР» – Геннадию Мурикову, профессиональному филологу и литературоведу, автору нескольких сотен критических статей, который «...может быть, и в вузе не учился». Не учился он в Челябинском вузе, не учился ни в ЧелГУ, ни в ЧелГАКИ. Он, бедняга, окончил, да ещё с отличием, филологический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета им. А. А. Жданова, университета, который (наряду с МГУ) имел право обучать студентов не по учебникам средней школы советского времени, которые, как мне представляется, весьма читит В. А. Рыбин, а по собственным программам.

Новые откровения, поразительные для философа-марксиста, следуют дальше: Г. Муриков смело утверждает, что Маркс и Ленин одобряли подавляющую роль государства. А вот с точки зрения доктора философских наук г-на Рыбина Ленин будто бы разоблачал роль государства.

Уважаемый доктор философских наук Рыбин! Вы разве никогда не слышали о том, что такое диктатура пролетариата? Это ключевое понятие марксизма-ленинизма! И Маркс, и Ленин настаивали, что, только беспощадно истребляя враждебные пролетариату классы, можно войти в «царство свободы». И практика всей советской действительности эту мысль подтвердила. Хочется задать вопрос, где и когда В. А. Рыбин получил учёную степень доктора философских наук, если он не знает таких элементарных вещей. Да полно, уж не очередная ли это мистификация?

Проведя небольшое журналистское расследование, я убедилась, что это не мистификация. Рыбин Владимир Александрович действительно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук на тему «Философские основания проблемы эвтаназии: методологический анализ» (дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.01, Екатеринбург, 2006, 264 с. ...). И тогда страшная мысль пронзила меня: не является ли целью «Резонанса» г-на Рыбина доведение редакции газеты «Литературной России» до эвтаназии?! А как насчёт читателей?

Герман Николаевич Ионин

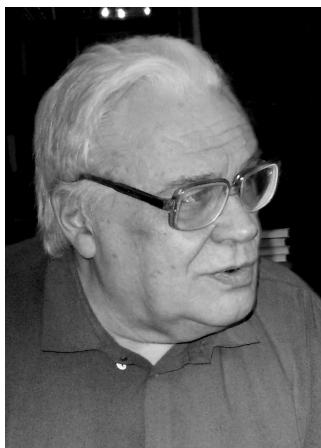
РОЖДЕСТВО

ПОЭМА

**ОПТИМИЗМ МИРОВОЙ КЛАССИКИ
И РОМАН «ПИРАМИДА».**

Гербарий и 36 кадров

О поэтических книгах Романа Круглова



Р О Ж Д Е С Т В О

1.

Как небывалая листва,
Я буду чист и неповинен.
Прибавим год. Прибавим два.
Конец и гибель отодвинем.

Перебираю сорок строк,
Перецениваю строго.
Преодолен последний срок
До отодвинутого срока.

И обновлению поклон.
Переживи и обнародуй.
По-моему, преодолен
Запрет, положенный природой.

Переживи и доверши,
Покуда вижу я и слышу.
Не все запреты хороши
Из тех, что выверены свыше.

Устои зла или добра
Навстречу аргументам веским
Усовершенствовать пора,
Но посоветоваться не с кем.

Провозгласи и отмоли
Соединенные вплотную
Советы грешные мои,
Гипотезу очередную.

Небытия на свете нет,
Покуда слышу я и вижу.
Но сразу на исходе лет
Оно возьмет меня, как Мишу.

Неодолимое, оно
Неукоснительно и сильно
Свое возьмет и заодно
Соединит отца и сына.

Возобновляя кровь и плоть,
Изобличение изведав,
Неосязаемый Господь
Не слушает моих советов.

Как небывалая листва,
Я буду чист и неповинен.
Прибавим год, прибавим два
И встречу с Мишей отодвинем.

2.

Узнаешь любовь одну и ту же?
Синева прозрачна и чиста.
И глядит мое сознание тут же
Из глубин зеленого листа.

Новое сознание поневоле
Ради воскресенья твоего,
Избегая пережитой боли,
Повторяет и творит его.
И, повторно боли избегая,
Предназначена любой судьбе,
Из листвы зеленой жизнь другая
Оживает и живет в тебе.

Что-то вяжет сердца перебои,
Что-то остывает изнутри.
На одно мгновение с тобою
Расставание предусмотрити.

Соболезнуя любым созданиям
По весне, под небом голубым,
Незаметно мы своим сознанием
Лиственное знание углубим.

Протекая по зеленым венам,
Я в него сегодня загляну.
И оно ответит откровенно,
Приоткрыв иную глубину.

Этот лист кленовый пятипалый
На ладони вынесет одно,
То, что отпылало и отпало
Или от меня утаено.

И, такое совершая чудо
Или повторение – бог весть! –
Откровенно именно отсюда
Прозвучит моя благая весть.

Погому что под крупую зимней,
Мы не покидаем этот свет,
Поспевая радостью взаимной
За тобой и за собою вслед.

Переход небытию неведом,
И опять судьба моя взята
Под сиреневым и белым пледом
Из глубин зеленого листа.

3.

Утром совесть моя иная.
Кем обижен и с кем порвал.
Вот стою и припоминаю
Каждый промах и каждый провал.
Память верная! Без повторов.
Это утро не позабудь.
Все разрывы, стыдно которых,
Мне, как стекла, пронзают грудь.
Результатов не так уж мало.
Оживаю по мере сил.
Но единственного провала
Я в мой список не заносил.
И слова и ответы в сборе
Откровеньем концов и начал.
Почему я тогда не спорил
И ни словом не отвечал?
Почему я, по крайней мере,
До пророчества не возрос?
Это не был вопрос о вере.
О неверии был вопрос.
Это было когда-то и где-то.
Не с тобой, не со мною пока.
Человек ожидал ответа,
Чтобы выйти из тупика.
Недоверия нарастанье
И неверия торжество.
Это было на расстоянье
От меня до меня самого.
Не пегля, миллионы петель
Угрожают любой судьбе.
Поступил, как будто ответил,
Ничего не ответив себе.
Как Цветаева, черным оком
Из чужих возникаю строк...
Поступил я, как будто с Богом
Помирился на малый срок.
И, нисколько не прекословясь
Откровенною прямизной,
Поутру начинает совесть
Разговор между Богом и мной.

4.

И все-таки с Богом серьезный разлад
Не станет крушением и горем.
Хоть я за него ежедневно распят,
Мы снова миримся и спорим.

Об этих разборках не людям судить,
Мы сами поймем и рассудим.
По ним, полагаю, легко проследить
Мое отношение к людям.

Когда под рукой размыкается круг,
Его я сомкну для примера.
И если я с Богом поспорил вдруг,
То, значит, крепка моя вера.

В сугробе ночном утонула изба,
Смеется метельная скверна.
Утрата ужасна, молитва слаба,
И гибель моя достоверна.

Последнюю память себе подари
В полночной метельной утробе.
И даже избу не открыть изнутри,
Крыльцо утонуло в сугробе.

Сижу без полена и без топора,
На спички напрасна оглядка.
И все, что отдать наступила пора,
Сегодня отдам без остатка.

Но кто-то вошел, непонятный сперва,
И я вспоминаю о Боге.
Сугроб он разгреб и принес мне дрова
И стал босиком на пороге.

Морозец метельный за окнами стих,
Видение в сказку одето.
Картины фон Уде и тютчевский стих
Не знали такого сюжета.

Плита раскаленная. Сковорода
Вздыхает прожаренной снедью.
Оборван хитон, и рука поднята
Вослед моему долголетью.

И я поневоле навстречу встаю,
И мы согреваемся оба.
И полночь избу накрывает мою
Волной вихревого сугроба.

5.

Хороший разговор. Наперекор метели.
Наперекор себе. Невыдержан и скор.
Нежданные слова, как беды, налетели,
Припоминая наш последний разговор.
И я тебя ловлю на позабытой фразе,
Чтоб ты не разлюбил мелодию одну.
Зачем ты, выдумав простор моих евразий,
Похоронил в снегу великую страну.
Зачем ты уголок избы моей укромной
До крыши и конька укрыв в метели злой,
Чтобы святой простор Евразии огромной
Покрыв твоих снегов пятиметровый слой.
И вот когда теперь, изведанный воочью,
Метельный твой покров отвергнут и отверст,
Зачем ты, боже мой, рождественскою ночью
На замыслах моих решил поставить крест?
И что? За окнами тебе не надоела
Вальпургиева ночь политиков и сект?
Уже пора тебе, обдумывая смело,
По слову моему исправить свой проект.
Желаешь от меня иных терминологий.
А я тебе иной представить не могу,
Без телевизора в бревенчатой берлоге,
Придавленной к земле, утопленной в снегу.
Какая разница между тобой и мною?
Мелодию мою попробуй обессловь.
От вихря утаюсь под крышей избыною.
Сегодня я хочу, чтобы ты родился вновь.
Ты будешь возражать, но мы поверим вместе,
Что нас не унесет заснеженный виток.
Здесь перекладина – метелей перекрестье,
А вертикаль ведет на юг и на восток.
Порывы снежные убийственно упруги,
Но я живу пока, и ты пока живой.
Распятая страна – раскинутые руки,
Последняя изба – твой лоб, затылок твой.
В ответ рыдания усмешливы и хлестки.
Живи и рождества иного не имей.
И полуночный шквал уносит отголоски
Евразии моей, фантазии моей.

6.

Не осуждай открытую правдивость
И эти ожидания точь-в-точь.
Я думаю, тобой распорядилась
Январская вальпургиева ночь.
Метелей ожидаемая свора,
Устраивает шквал очередной.
Но ты ведь не ушел от разговора
И поневоле бодрствуешь со мной.
Бездомный, исхудалый, необутый
И не отогреваемый вполне,
Ты спорить изготовился как будто
И все-таки не возражаешь мне.
Ты понимаешь, господи, зачем я
Сегодня узнаю твои пути:
Былую силу нового ученья
Пересоздай и перевоплоти.
А без нее не выверить, не выбрать
Все то, чему альтернативы нет.
Оно развеивает эту выверть,
Освобождая целый континент.
Провозгласи единственное слово,
Парадоксален и неповторим,
И ты новорожденного, грудного
Преобразишь учением твоим.
Преображая и не изменяя,
Упущенное можешь наверстать.
Любовь земная или неземная
В конце концов появится опять.
И ты ославишь или обеславишь
Небытия заведомый фетиш,
Когда нажатием одной из клавиш
Машинку пишушую освятишь.
Мы ничего с тобой не совершили
Для одоления метельных свор.
Но вижу я глаза твои большие
И хорошо расчесанный пробор.
И от улыбки детской и усталой
В душе тепло и в комнате светло.
И по такому случаю, пожалуй,
Преодоление произошло.

7.

Под заносами крыши кровель,
Поменяю минус на плюс.
И в груди обновленной крови
Обескровленный грянет пульс.

Знаю, сумерки загустели,
Но избушка моя жива,
Укрывая в клубке метели
Огонек моего Рождества.

От подмены первостепенно
Обновление обеспечь.
Согревай промерзлые стены,
Докрасна раскаляя печь.

За машинкою многоточье
Замыкает полночный плен,
Чтобы я потрудился ночью,
Без неточностей и подмен.

Человек до предела сужен,
Рождеству нелегко уцелеть.
Остывает мой бедный ужин,
Поутру замерзает клеть.

Я сегодня один в поселке
И устал от полночной жары.
Вспоминают о ней на елке
Позолоченные шары.

По окошкам узоры новы,
И уже не оттаешь его,
Подмененное до основы,
Позабывтое Рождество.

И напрасно заря живая
Мне оттуда бросит тепло,
Красным золотом заливая
Лобовое мое стекло.

Окружен избяной пустыней,
Замороженный человек
С половиц соскребает иней
И сквозь щели вметенный снег.

Но машинки святая сила
Сохранила подобье следа.
Рождество здесь когда-то было
И останется навсегда.

И останется навсегда.

_____ 2017г.

Оптимизм мировой классики и роман «Пирамида».

Когда-то критик В. Д. Днепров определил главное свойство всей классической литературы: она утверждает, что мир может и должен быть лучше, чем он есть. Отступление от этой идеи ведет к упадку, декадансу. Итак, мировая литература оптимистична. Кажется, все очень просто.

На самом деле понимание лучшего мира у разных писателей в разные времена и в разных национальных литературах столь различно, что порою эти «варианты оптимизма» исключают друг друга. Вообще формула Днепров, на проверку, теряет силу еще и потому, что в духовном опыте многих писателей-классиков оптимистическая вера, по-видимому, отсутствует (Дж. Байрон, Э. По, Ф. Кафка и др.). Да уже первое классическое произведение мировой литературы – акадская поэма о Гильгамеше – вряд ли оптимистично, если вспомнить его финал. Сомнителен оптимизм Ф. Рабле (вспомним, как его роман истолкован Александром Веселовским), позднего У. Шекспира, Дж. Свифта, а у нас – М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока, А. Платонова, И. Бродского. Уж по крайней мере пессимистические ноты есть у каждого из них. Пессимизм, как и оптимизм, присущ мировой классике. Роман Л. Леонова «Пирамида» с этой точки зрения особенно интересен.

Попробуем посмотреть на него как на произведение духовной культуры, т.е. в аспекте паритетного взаимодействия религии, науки и собственно искусства. Молодой Л. Толстой полагал, что анализ бесконечен и ведет к пессимизму, поэтому он предпочитал идти путем аналитической мысли до тех пор, пока не станет страшно и не придется стать на спасительный путь веры. Может быть, и в самом деле оптимизм литературы объясняется влиянием религиозного начала (в широком, а не узкоконфессиональном смысле слова), а ее пессимизм – началом аналитическим, исследовательским, научным (опять же в широком смысле слова). В общем же, литература, будучи искусством слова, как начало творческое, как сфера «сыновнего соревнования с Творцом», не пессимистична и не оптимистична: она радует самой возможностью такого соревнования и в то же время всегда напоминает, что это лишь сыновнее соревнование – не во всей полноте органики бытия, а скажем, только в словесной его сфере, равно как музыка – в сфере звуковой, живопись – в мире линий и красок, скульптура – в области форм. Разумеется, Данте, создавая свою поэтическую вселенную, моделировал микро- и макрокосмос. Но он знал, что это модель поэтическая, творимая, созданная им самим. Оптимизм Данте строился не на воображении, а на свойственном времени приоритете религии над наукой и искусством. Схоластика покрывала разрыв между областью веры и сферой точного знания. А искусство изображало этот приоритет. Именно изображало, а не являлось образной формой его выражения. Вот почему у Данте так часты моменты внутреннего спора с Богом, что прекрасно видно и в знаменитом эпизоде с Франческа да Римини и Паоло, и в не менее знаменитом рассказе Уллиса о его последнем путешествии и о гибели его, когда Бог не позволил античному герою причалить к подножию горы Чистилища.

Именно в тех случаях, когда Данте вступает в такой спор, когда искусство

опровергает подчиненность проблемно-аналитического знания знанию религиозному, он поневоле осознает себя художником, ибо религиозное знание здесь выступает одним из объектов изображения, а не содержанием, которому нужно лишь придать образную форму.

Роман Леонова «Пирамида», рассмотренный в контексте мировой литературы, видимо, может быть правильно прочтен, если мы применим к нему соизмеримый с вершинными произведениями мировой классики принцип духовной культуры, паритетно соотносящей религию, науку и искусство. Лишь так можно подойти и к сложнейшей проблеме мирооправдания в романе «Пирамида».

Ошибаются те, кто ищет в «Пирамиде» выражение какой-то научной или, скажем, религиозной концепции. Полифония таковых (притом многих!) концепций предполагает не просто образное их изложение, а их **изображение**, невозможное вне воссоздания паритетного диалога религиозных, научных и художественных моделей мира. Именно такой диалог является признаком классики во все времена – и на этапе древнего синкретизма духовной культуры, и в период нарушения паритета, когда либо религия, либо наука (философия) во многом диктовали искусству, и в период осознания духовной культуры как таковой, когда диалог на началах паритетности все более и более углубляется, а синтез религии, науки и искусства, на который сейчас надеются столь многие, реальный лишь в частностях, как принцип оказывается мифом и никогда в полной мере не будет и не может быть осуществлен.

Само определение жанра «Пирамиды» – «роман-наваждение» – содержит интересующую нас триаду: наваждение, насылаемое профессором Штатницким, символ анализа, «ведущего к пессимизму» и разрушению божьего творения, при всех успехах синтеза, при всем могуществе научных открытий в эпоху современной цивилизации, противостоит вере, восстанавливающей оптимизм и ориентирующей мирооправдание, и этот поединок веры и наваждения изображен в романе силой и властью искусства слова, являющегося третьей равноправной основой духовной культуры. Разумеется, не было бы наваждения, не было бы и романа, как не было бы гетевского Фауста без Мефистофеля. В целом роман Леонова есть наваждение, ибо это интеллектуальный роман, это мучительная и страшная попытка разрешить квадратуру круга, попытка, которая, конечно, не может привести к окончательному результату и потому попытка **изображенная**.

Поколеблена ли ею вера, а вместе с верой и возможность мирооправдания? Нет, ибо вера и научное сомнение паритетны. Никакая аналитическая мысль никогда не сможет заменить или отменить религиозное начало, ибо расщепление органики бытия никогда не даст полного знания, хотя вечно будет стремиться к его точности и полноте. Все сомнения испытующей мысли останутся в сфере науки и, даже проникая в область веры, лишь передвигают в нее границу науки, но вера при этом в существовоем остается непоколебленной, ибо только она дает целостное, пусть недоказанное, но ведь и не требующее доказательств знание. В «Пирамиде» такая сила мирооправдания тоже **изображена**. И не столько проповедью

христианства и православия или удивительными по емкости и энергетике, сверхъестественными, если хотите, божественными формулировками в тексте романа, сколько художественным обнаружением пределов для испытующей аналитической мысли, за которыми скрыто и явлено людям иное начало, утверждающее и оправдывающее мир.

В чем же природа, особенность, специфика такого изображения? Насколько оно художественно? Иными словами, в какой мере паритетно искусство слова в диалоге с верой и исследованием? Уже не раз говорилось, что в романе нет полифонизма, нет живых людей, что все персонажи – рупоры автора или же, наоборот, автор совершенно скрыт за персонажами, что он осознанно написал роман-наваждение, чтобы показать, к чему, к какому отступничеству от православия такое наваждение может привести. Значит, и в том и в другом случае ничему в романе нельзя доверять, все в тексте – прием для некоей открытой или скрытой проповеди, и собственно искусству здесь нет места. Впрочем, «зашифрованная конфессиональность» в данном случае трактуется не как недостаток, а как особенность леоновского замысла и письма.

Но ведь, согласимся, в романе есть не только сверхъестественная, «нечеловеческая» точность слова, но и предельная, до галлюцинаций, зримость описаний и артистизм речевых характеристик, какого не найдешь даже у соперника Леонова по жару интеллектуального романа – творца «Доктора Фаустуса». Конечно, здесь все персонажи говорят на особом языке, как и положено в интеллектуальном романе, и характеры строятся по особому. Литературоведам еще нужно потрудиться, чтобы точно обозначить интонации и стиль «Пирамиды». Но ясно, что перед нами принципиально осознанная изобразительность. Природа ее, думаем, кроется в том же равноправном соотношении религиозных, научных и собственно художественных начал. Ни одному из них не отдано тенденциозного предпочтения. Поэтому каждое из них, в том числе и художественное, заявляют о себе в полный голос, а весь текст, в соответствии с родом и жанром, естественно, организуемый художественной волей автора, в целом предстает как торжество искусства.

Нам осталось привести некоторые примеры, проясняющие высказанное предположение. Кто такие Шатаницкий и противостоящий ему Дымков? Не только в «доносительном фельетоне, но, может быть, и в действительности «директор таинственного учреждения <...> «Институт прикладных, проблемных и прелиминарных систематик», «он же Шатайницкий, он же Шайтаницкий, в действительности является не только нынешним резидентом преисподней на Святой Руси, но и видным участником знаменитого ангельского мятежа против небесного самодержавия, после чего начались время, история и люди» (1, 18 -19). Загадка! И не для одной первой части романа, так и озаглавленной, но и для всего произведения в целом. Столь же загадочен и Дымков. Шатаницкий (и очень важно, что именно он) сообщает, что в созвездии Водолея «обнаружили целый архипелаг неизвестных планет», на двух из которых «было обнаружено обилие храмов, заводских корпусов и

другой мощной техники, также обширные посевы неизвестного хлебного злака и главное – огненные траектории уже межпланетной перестрелки, что является приметой давно обогнавшей нас суперцивилизации» (1, 23–24), и вот откуда, как установлено, по словам Шатаницкого, и прибыл инкогнито некто Дымков, «под видом ангела» (, 24–25).

Читатели еще долго будут спорить, кто же он на самом деле. Если и действительно ангел, значит, покинутая Богом и покинувшая Бога Земля на пороге окончательной катастрофы «самопроизвольного и з н у т р и возгарания человечины» (2, 344) все же не оставлена Господом. Нам дан еще один шанс спасения: ангел принесет Создателю правду о Земле и оставит, хотя бы в одной душе Дуни, благую весть о посланце неба... Ведь даже Сталин (который, возможно, «очень болен» – 2,580), верит, что Дымков – ангел. А что если Дымков, направленный к нам «оттуда», все же не Божий посланник, а разведчик из мира обогнавшей нас цивилизации?

Если так, что наш земной пессимизм возводится уже в степень космического, и тогда какое уж тут «мирооправдание»? «Загадка», «Забава», «Западня» – трехчастие романа выстроено так, что читатель никогда не разрешит «загадки», а если разрешит ее для себя, текст вернет его к правде **изображения**.

Леонов изображает самое существенное – углубляющийся диалог в мире духовной культуры. Если говорить серьезно, только он и спасителен, только он и избавит нас от того духовного падения, в котором мы сейчас пребываем. Падение – это прекращение диалога. Только оно и есть декаданс сегодня. И неважно – идет ли этот декаданс от культа науки, неминуемо, самим фактом анализа и невозможностью абсолютного синтеза, убивающей нравственность, или от приоритета религии, теснящего или вовсе останавливающего аналитическую мысль, или же, наконец, от самодостаточного и самоценного главенства искусства, когда эстетическая «игра в бисер» заменит веру, а «сыновнее соревнование» с Творцом перестанет быть таковым по самой своей сути.

Ученик Шатаницкого и возможный посланник на родину Дымкова Никанор Шамин изъясняет Автору романа: «Раковое заболевание человечества в особенности проявилось на некотором стадийном рубеже прогресса, когда давнее противоборство генетического неравенства <...> выродилось в слепую ненависть двух взаимно несовместимых в людском общежитии физиологических конструкций. Ко времени великой схватки миров, на генеральном переходе к муравейнику, ведущие идеи окончательно обособившихся сторон, взамен прежних многословных программных тезисов, обозначались всего лишь иероглифами к л и н а и т и р е, ^ и – . Ими соответственно обозначались идеальные, для знамен, и никогда не осуществляемые на практике системы пресловутого нашего движения к звездам: журавлиная стая избранных с неизбежной гибелью отстающих в пути и единым строем, в преодоление естественного отбора, братская шеренга абсолютного большинства» (2, 294 - 295). На этом затерянном в тексте противопоставлении фашизма и коммунизма и строится весь сюжет романа, раскрывается глобальная панорама эпохи. Это две главные реалии «прорыва»

в страшном опыте нашего XX века. Обе силы заинтересованы в Дымкове. Но зарубежные гастроли цирка, в котором выступает ангел, предусмотрительно отменены властью, – условно говоря, вместо Гитлера с Дымковым встречается Сталин, сторонник прорыва «братской шеренгой», ради которой нужно временно установить биологическое и генетическое равенство всех.

Это «Западня». Реальность ее изображена физически. Мы и сейчас не знаем, каким способом нам прорваться – авангардом стаи или братской шеренгой. Путем культа неравенства, при котором неизбежно будут гибнуть слабые, или ценой старого, уже испытанного способа уравнивания всех с опасением и риском подменить евангельский принцип «будьте как дети» рукотворной нормой «к р у г л о г о д у р а к а» /2, 598/.

Присмотримся к происходящему вокруг, прислушаемся к себе... Перед названными выше страшными реалиями, которые не замечать сейчас преступно, во всеоружии окажется лишь духовная культура будущего в наступившем тысячелетии, космическое и планетарное сознание, построенное на основе не **синтеза** (ибо в полной мере и на паритетной основе он уже, повторим, не может состояться), но **диалога** религии, науки и творчества. Лишь равноправный диалог веры, исследования и целостного человеческого опыта (опережающе моделируемого искусством) подскажет тот выбор, который искали лучшие герои «Пирамиды»: Матвей Лоскутов, проповедник по-детски чистой религиозности и еретик, все поверяющий мыслью, Дуня, спасшая нас решением, которое она подсказала Дымкову: «Жестом крестнакрест перечеркивая прошлое, она как бы обрубала последние, державшие Дымкова связи: – Пусть о н и забудут про вас! <...> все, кроме меня одной! – звеняще, как бы вдогонку крикнула Дуня, торопясь вывести себя за рамки совершившегося повеленья» /2, 677/, – и сам Дымков, вырвавшийся из «западни».

Трагическая и обнадеживающая развязка не иллюстрирует религиозную догму или научную схему – она создана воображением как вторая реальность, художественно достоверна сама по себе. И потому в ней, в этой развязке, пройдут «проверку опытом жизни» любые догмы, схемы, ответвления и миры леоновской эрудиции, продемонстрированные в романе, даже те, с которыми воля писателя-творца соотносится паритетно. Финал стягивает воедино все голоса словесной симфонии, и наоборот, интеллектуальный дискурс, по мере чтения, томит ожиданием именно **этого**, еще не известного читателю финала. Своды сошлись – художественное целое, созданное Леоновым, соизмеримо с вершинными творениями русской классики XX века.

Вообще «горные вершины» большой литературы не спят «во тьме ночной». Но их диалог подслушать не так-то просто. Слышнее то, что в «долинах», где целое столетие свирепствовали бури... Больше идеологические, привнесенные в искусство слова. Бури отшумели, а вершины остались. «Лирическая трилогия» А. Блока, «Человек» и «Про это» В. Маяковского, «Персидские мотивы» С. Есенина, «Поэма без героя» А. Ахматовой, «Сестра моя – жизнь» и «Стихотворения Юрия Живаго» Б. Пастернака, роман «Чевенгур» и сказка «Уля» А. Платонова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Глаза земли» М. Пришвина, «Пирамида» Л. Леонова.

Заглядывать в «долины» полезно (кажется, мы только это и делаем). И все же куда важнее посмотреть вверх, где на особом, но понятном нам языке ведут разговор «Про это» и «Мастер и Маргарита», а затем неизбежно в беседу вступают «Поэма без героя» и «Пирамида». Сегодня их диалог важен как никогда. Им наша классика решает проблему мирооправдания.

Москва Маяковского (в «Про это») и булгаковская Москва в «Мастере и Маргарите» преемственно родственны. Но видно и движение истории. Герою «Про это», заместившему Христа, противостоит мировое мещанство, купленное Повелителем Всего (поэма «Человек»). У Булгакова Иешуа га Ноцри невольно вступает в конфликт с государством, ибо, «совсем в духе Льва Николаевича Толстого», приравнивает государство и насилие, в сущности ненужное, ибо «всякий человек добр». Антагонист Иешуа – Пилат. Это легко проецируется в 30-е годы, когда обращение к такому Иешуа невольно стало вызовом сталинской государственности. И если Мастер сближался с Иешуа как его евангелист, то за Пилатом, по аналогии, «мерцал» Сталин. Именно в сталинской Москве «благая весть» об Иешуа, при наличии столь пронизательных идеологов, как Берлиоз, могла стоять жизни. По крайней мере, у Мастера была своя голгофа и свои «поэзовы ключья» («Про это») /1/ остались на зубах Кремля. В год смерти автора «Мастера и Маргариты» А. Ахматова начинает работу над «Поэмой без героя», а Леонов пишет «Пирамиду».

Повторим: в «Мастере и Маргарите» поддержана и развита заявленная Маяковским евангельская тема Христа и голгофы – жизнь и смерть Мастера, обреченного стать жертвой тех, ради кого он пришел в мир – жертвой, позднее оплаканной Антигоной-Ахматовой («Я ль растаю в казенном гимне./ Не дари, не дари, не дари мне / Диадему с мертвого лба. / Скоро мне нужна будет лира, /Но Софокла уже – не Шекспира. /На пороге стоит Судьба» /2/).

А вот в романе Леонова, создававшемся почти до самого конца столетия, дан вариант раскрытия того же контекста и после М. Булгакова сделан новый шаг: перед нами уже Москва предвоенная, и голгофа выпадает на долю ангелу (или инопланетянину), посланному с неба для разведки или ради спасения земли от «самовозгарания человечины», и здесь сила света напрямую сталкивается с земным Хозяином, который пытается ее поставить на службу себе. Добро, вооруженное одной лишь любовью, вновь вступает в «смертельный поединок», но уже с властью нового, совсем иного Повелителя Всего. «Исповедь» Сталина перед молчащим Дымковым творчески сопрягается с главой о Великом Инквизиторе из романа Ф. М. Достоевского. Творчески, ибо повторения здесь нет.

Русская классика XX века на своих «горных вершинах» «сняла» мотив поцелуя Христа Инквизитору. Конечно, и у Достоевского поцелуй не означал примирения и согласия. То был поступок, удостоверяющий действительность божественного, Христова начала в человеке. А если оно действительно, голгофа и костер инквизиции бессильны. Вот почему Инквизитор распахивает перед Пленником двери тюрьмы и его последнее повеление звучит почти как молитва: «ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» /3/ Но Пленник придет.

В классике XX века всех тех, кто укротил и укоротил свободу мечом Кесаря, всех, кто построил свою власть на «чуде, тайне и авторитете» /4/, Христос уже не целует. По-прежнему «за выгою невидим / И от пули невредим» /5/, он впереди. За ним можно последовать. Маяковский предельно или запредельно сближает Христа с лирическим героем. Разумеется, метафорой подчеркивая богочеловеческое начало во всей сотворенной мифологеме: если Бог стал человеком, то человеку открыт путь стремления к совершенству, по слову Христа из Нагорной проповеди: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф, 5:48). Маяковский строчками «Про это» уверяет, что, хотя бы в тридцатом веке, хотя бы средствами «мастерской человечих воскресений» /6/, но земляне обретут Человека. Идущие державным шагом Двенадцать А. Блока стреляют в Христа и все же следуют за ним. Даже против воли. Булгаков в «Мастере и Маргарите» сказал о странной победе Иешуа га Ноцири: Мастер «освобождает» Понтия Пилата, чтобы тот мог по лунной дорожке вечно идти вместе с Иешуа и в споре с ним постигать, действительно ли человек добр по природе и – что то же самое – выяснять, доколе добрым по природе людям будут нужны Рим, прокураторы, крысобои и кресты для распятия. Булгаков и его Мастер верили или хотели верить, что неверие в человека или – иными словами – грех «трусости» удастся преодолеть. Ахматова, по-христиански взявшая на себя чужие грехи, Антигона-Ахматова, оплакавшая погибших и убиенных, уже не всматривается в Будущее.

И вот, наконец, самое решающее и страшное звено в том же контексте: третий Рим XX века, ради спасения человечества, решает поставить на службу себе ангела божьего, разочаровавшись в воландовских возможностях Шатаницкого. Но заметим, даже и в этом случае Сталин, конечно, неосознанно, как бы идет за Христом. Разумеется, еще больше, чем Великий Инквизитор, извращая и подменяя его. Ангел Дымков, преодолев «западню», покидает землю, оставив память о себе лишь в душе Дуни, как и Мастер лишь в проясняющемся временах сознания Ивана Бездомного – благою весть о добром философе. Надежда ниспослана людям. Последняя. Мы все начинаем понимать, что самая последняя... И все же она живет в прозрениях и предведении тех, кто слышит напряженный и всегда незавершенный разговор «горных вершин».

Конечно, за всеми персонажами «Пирамиды» стоит автор. Благодаря ему, наш духовный опыт получил формулу, без которой мы не можем найти решение, а его надо искать, ибо подсказанное Дымкову для нас недостаточно. Дьявольское (с помощью «ангела») вмешательство в человеческую природу ради выравнивания всех в единую «братскую шеренгу» – предотвращено. Но проблемы остались. Апокалипсис возможен. *«Событийная, все нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпизоду человечества: стареют и звезды»* (1,6). Это ведь слова самого Леонова, за рамками текста романа, из его предисловия.

Уместно, в этой связи, вспомнить еще об одном вершинном творении российской литературной классики. Речь идет о повести русскоязычной

ненецкой писательницы Анны Неркаги «Молчаший» – полный текст повести издан через два года после публикации «Пирамиды» – в 1996 г. (фрагмент – «Скопище» – годом раньше «Пирамиды», в 1993 г.). «Молчаший» – уникальное соединение евангелия и апокалипсиса – еще ждет своего исследователя. Мотив «самовозгарания» (подсказанный или не подсказанный Леоновым?) в художественной формуле А. Неркаги обретает новую жизнь, то ли завершая перекличку вершинных произведений и лишая нас последней надежды, то ли, напротив, давая новый импульс мирооправданию.

Скопище (им стало человеческое сообщество), изображенное здесь, – это уже не антиутопия: притчевый язык повести лишь помогает применить апокалипсическое видение к реалиям нашей сегодняшней России, да и не только России, и ужаснуться точности и беспощадности сбывшегося предвидения. Оно заявлено в «Пирамиде». Возможно, ради предотвращения такого конца и прибыл на землю ангел. Но в мире А. Неркаги божьего посланника (или инопланетянина) нет. «Спаситель» – плоть от плоти земли. Животное и человеческое соединилось в нем. Но после каждой очередной голгофы (герой претерпевает от «скопийцев» несколько таких, казалось бы, смертельных голгоф) Молчаший все больше и больше уподобляется Человеку, Христу, в итоге даже обнаруживая способность говорить. Он любовью побеждает животное безумие скопийцев, и они добровольно идут в апокалипсический огонь, зажженный Отцом по призыву Молчашего, и исчезают вместе со своим спасителем в этом огне. Вот эпилог, который после Леонова (да и безотносительно к пророчествам в «Пирамиде») нетрудно предсказывать современным футурологам. Но эпилог этот – одновременно и евангелие (на которое у Неркаги в тексте повести есть прямые ссылки). Огонь, поглощая Скопище, скрывает тайну. Кто знает? – Возможно, тайну грядущего, нового, ипостасного рождения. Если так – узкий промежуток «будет пройден» – без дьявольских вмешательств, без «западни». Наваждение развеется и не заменится новым. Художественная мощь «Молчашего» заставляет вспомнить о «Пирамиде». Но именно итоговый роман Леонова предопределяет неизбежность появления такого шедевра, как апокалипсическая благая весть о Молчашем.

Приведенный пример подтверждает: важно не только решать, важно быть готовым к решению. После «Пирамиды» Леонова – мы готовы. При условии, если будем ее читать точно и в контексте (интертексте, гипертексте) российской и мировой классики. Опыт Данте, опыт Гете, опыт Пушкина, опыт Достоевского, опыт Леонова да вооружит нас духовно.

1. *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т.4. С.177.
2. *Ахматова А.* Собр. соч.: В 6 т. М.,1998. Т. 3. С. 152, 194.
3. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т.14. С.239.
4. Там же. С. 234
5. *Блок А.А.* Полн.собр. соч.: В 20 т. М., 1999. Т.5. С.20.
6. *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: в 13 т. Т.4. С.181.

О КНИГЕ Р. КРУГЛОВА «ГЕРБАРИЙ»

«36 кадров» и 40 стихотворений, если в книге «Гербарий» дилогию («Точка») и трилогию («Триптих») считать за один текст... Что ж? 40 – многозначная, порой сакральная цифра («сорок сороков», «сороковой день», «Сорокоуст» и мн. др.), а 36 в сумме двух цифр дают 9.

Быть может, сам автор и не совершал этих подсчетов. Но две книги, 2012 и 2016 годов, перекликаются друг с другом и могут быть сопоставлены. И там и там переживания, породившие стихи, как будто застыли в одном случае за глянцевою гранью фотографий, а в другом как некий гербарий, которому лишь отчасти помогают рисунки – изображения засушенных цветов и травинок.

36-е стихотворение в первой книге кончается почти воплем: «Теряю / Себя». Оборот – фотография автора, который немножко моложе, чем сейчас. Насколько вырос автор после того, как лирическая хроника в 36 кадров сменилась «Гербарием»? Конечно, молодость – сама про себе великое счастье, даже если она воспринимается трагически и катастрофически («теряю тебя», «теряю себя»). Вот почему тридцать шестой фотографии предшествует признание: «Уместиться в тебе целиком / Не могу, как бы мне ни хотелось... Это так незаслуженно много / Для меня/ И достаточно для / Доказательства Бога».

В «Гербарии» все сложнее. Здесь вместился целый роман разорванный и неразрывный треугольник: он – она – сын. Уже во втором стихотворении – завязка: «Скоро будет ребенок...» И тут же: «Надо мною смыкаются волны земли...» Нет, не то, модное до сих пор уподобление жизни и смерти, а их смертельная схватка – единственная, подаренная нам форма жизни. Это миллион раз уже было сказано, и каждый раз ново. И без такой «новизны» нет поэзии.

А сюжет развивается. Вот сын еще не родился (а может быть, родился уже), но о нем вдруг сказано как о сироте в дни, когда идет настоящая схватка. «...сироте моему не расскажут, что я самозванец./ Те, кто собственный крест, настоящий, несут на войне»... Проигрывает битву, кто примеряет чужой крест, даже ради победы в погоне за «добровольной смертью». Сюжет серьезный.

И так везде в «Гербарии». Не нарциссизм распада, а беспощадное, мучительное слово, обращенное к миру. До примитива беспощадно: голова – шар, «яркий, бесполезный, с гелием внутри... / От проблем ушел и от себя ушел / От тебя, Лиса, и подавно уйду».

Вроде бы легко дышать и катиться дальше современным колобком. Но не для Романа. «Бейся лбом в небеса, трепыхайся, гори...»

Бунт однодневки-бабочки становится «огненной книжечкою между рам». «Гербарий» горит, не сгорая.

Мы научились трагическое оборачивать культом абсурда. А теперь нам пора отучиться от этих стереотипов. И принимать на себя настоящий крест: «Я не могу ходить сквозь стены, / Могу лишь биться головой». И тут же – поправка: «Я на стене окно рисую, Однажды я уйду в него». Все-таки уйду... И дальше предчувствие и признание: «Может быть, после нижней / Будет верхняя бездна?» «Все, что было, все, что будет – / Бесконечно, словно точка. / И не выплакать вовеки, / и ни с кем не разделить»... Подобное «непостоянство» – безнадежно-успокоительный абсурд. А для Романа – мучительный поединок.

А, может быть, герой «Гербария» думает и чувствует иначе? Но тогда не было бы поэзии...

«Горечь – сразу цвести и ветшать». «Как будто последний изъян залужен / Из лужи водой, что стальнее ножа». Напомним формулу, которая открывает всю композицию: «...небо из лужи вычерпать невозможно...» И внутри книги везде в таких случаях у автора «поэтическое противочувствие». И пока оно есть, поединок продолжается. «...асфальта сизого кусок / И от небес на волосок». И от страницы к странице такое напряжение нарастает.

Вот целиком стихотворение «Жив-здоров, но разве в этом дело?» Казалось бы, ясно: «Часа ждет не бледный ангел смерти, / А в гробу напудренный паяц». Но тут же нестерпимый, как пытка, вопрос: «Неужели эти все улики, / Эта подлая игла в яйце – / Чтобы видеть замысел великий / В женщине, в ребенке, в мертвец?» Внимательнее... Что в этом вопросе? Каков ответ? Ведь речь идет и о женщине, и о сыне...

Сюжет все глубже и глубже. Спор с возможным читателем и при этом глубокий контакт с ним: «И внешне я на ветке века / Обычным трепещу листом». Именно внешне. А в существе... Остановимся. Помните у Державина – строки, восхитившие Гоголя: «И смерть, как гостью, ожидает, / Крутя, задумавшись, усы». В «Гербарии» неожиданно та же интонация: «...простая смерть нас всех обнимет, / Встречая, будто старый друг». Далее оглядка на великого лирика ярче и самостоятельнее. Сын растет. И вот: «Он мне хохочет в лицо – я смеюсь / Тоже и, тяжести не замечая, / Юность свою подбрасываю – / Старость и смерть я ловлю и качаю».

А тем временем катастрофичность мира в «Гербарии» уже на пороге: «Ангел трубит, и умершие восстали. / Рушится мир, как старая штукатурка»... Никаких идиллий. «Мы горим автономно и больно. Пусть будет всегда / Этот изнемогающий свет с его счастьем нелепым. / А ребенок глядит мне в глаза своим солнечным небом... / В небе солнце, я знаю. Но в сердце – большая звезда».

У Романа порой даже пейзаж – схватка: «Тьма, холод, степь да степь кругом. / Отапливаю папироской / Мир. И не вижу, как присел, / Застыл пернатый в небе чудном / И смотрит с ласковым прищуром, / Поймав мой огонек в прицел». И как правило везде сопряжение, тождество невообразимо необъятного и малого. А язык, в хорошем смысле, порой вполне современен: «Все остается в вечности. / Не засоряй эфир». «Сопряженье со смертью, / Полнога бытия».

А вот, наконец, приглашение вдуматься в особую глубину вопроса: «Поди присвой июль, закат... / Но и тоска, и воспаренье / Мечты, – все слезет, как загар, / Излечится, как воспаленье. / И ты пройдешь, как сон дурной, / Зверюги и зануды помесь, / Попутно становясь собой, / Каким теперь себя не помнишь...».

«И весь, как сон, прошел твой век». Это опять у Державина. А у Романа – дурной сон о ложном тебе... «излечится, как воспаленье», но подлинным ты – в схватке с миром – станешь «попутно» – таким, каким даже не помнишь себя.

Здесь «Гербарий» достигает кульминации, пока, может быть, недоступной и самому автору. Но цикл завершен. И понятно, почему «из желудя родится дуб, из ракушки возникнет море». Первое – загадочное дважды два. Второе – сказка, благая весть о победе жизни. .

V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Письмо А. В. Никитенко к А. С. Уварову 25 августа 1841

(Архив Пушкинского Дома. Фонд А.В. Никитенко С XX 163)

25 Августа (зачеркнуто в черновике – А.О.) 1841

Алексею Сергеевичу Уварову А.С.У.



«Слово сто́ит дел, когда в нем выражается Истина»
– слова профессора русской словесности. *

Послание это было внушено мне искренним чувством и глубоким убеждением; но это был глас вопиющего в пустыне. Я бросил бисер моего сердца и мысли перед существом, которое попало меня ногами. Молодой человек, кажется даже рассердился на меня.**

* *Примечание, записанное на полях, другими чернилами, той же рукой – А.О.*

***Примечание, спустя 20 лет. – А.О.*

Письмо А. В. Никитенко А. С. Уварову

Труды Ваши увенчались успехом; переход ваш из уединенной отроческой сферы на поприще самобытной юношеской деятельности и развития совершился и первый шаг, который вы сделали на этом пути, снискал вам одобрение будущих ваших наставников и благорасположение товарищей. Прекрасное начало, обещающее прекраснейшие последствия! Мифологический период вашего существования кончился, вы вступаете в область истории; перед вами первая олимпиада ея. Она важнее для вас многих последующих. Здесь должны сложиться основы вашей внутренней конституции; здесь возникнут положительные стремления вашей души, окрепнут и установятся навеки черты вашей нравственной физиономии. Здесь должен создаться в вас будущий человек, весь муж. На противоположном конце вашего поприща, там далеко, далеко, в сумерках могилы придет Слава, чтобы произнести роковой приговор вашему имени, раздастся в недрах собственной вашей души голос суда последнего и нелицеприятного: то, что скажут они тогда, будет только свидетельство того, что вы предназначите теперь. Да, теперь вы будете сочинять программу вашей биографии.

Я не могу в эту важную, торжественную минуту вашей жизни оставлять вас без напутствий и жарких благословений моих, не могу, потому что меня увлекает одно из тех непреодолимых чувствований, коим их чистота и возвышенность дают право полной и безусловной над нами власти. Вы близки моему сердцу, мой юный благородный атлет мысли и чести; я привязан к вам узами долговременного соприкосновения идей и прекрасными надеждами, какие расцветают в ваших дарованиях. Я стоял у колыбели вашей пробуждающейся и зреющей мысли; я с любовью принимал ее первые отзвуки, возвращая их вам согретыми искрою моего духа. В течении столь долгого времени, вы не оскорбили моих усилий холодным невниманием и заботу наставника столь часто тяжелую и неблагоприятную, вы умели превратить для меня в наслаждение. Род предмета, которым мы занимались, открывал мне доступ не к одному вашему уму, но и к воображению, к чувству; я мог наблюдать и изучать вашу природу с разных сторон и в разных направлениях. Так все содействовало к тому, чтобы вы были для меня эфемерным явлением в моем мире и чтобы ваши успехи, ваше благо, ваша слава, сделались для меня навсегда одними из лучших желаний моего сердца.

Примите ж от меня на память несколько истин, внушенных мне наукою жизни и опыта и согретых искреннею, глубокою привязанностью к вам, Алексей Сергеевич.

Оне может быть не будут для вас бесполезны в новом вашем положении. Во всяком случае советы мои пусть послужат вам доказательством, как пламенно желаю я видеть вас столь совершенным, сколько позволят закон человечества и ваши собственные умственные и нравственные средства.

Вы получили от природы много даров: ум проницательный, гибкий, способный охватывать вещи вдруг со многих сторон, не запутываясь в многосложности их отношений, способный знать много и хорошо и что еще важнее, способный пользоваться знанием, ум анализа и света. Время и

занятие предметами, требующими глубокого внимания и сосредоточенности мыслей, дадут ему, не лишая его подвижности и быстроты, несколько, так сказать усидчивости, которая во многих случаях бывает нам также нужна, как полководцу искусство оборонять крепости. Вам дано воображения именно столько сколько надобно, чтобы животворить и озарять сиянием весеннего дня холодные операции ума и не столько, чтобы обманывать вас грезами – это одно из драгоценных ваших свойств. Ко всему этому вы имеете ту прекрасную, возвышенную способность, которая не всем дается, или лучше сказать, дается немногим – способность принимать теплое участие во всех великих интересах человечества. У тех, кому досталась от предков эта способность, око обыкновенно охватывает горизонт широкий. Видите-ли, Любезнейший Алексей Сергеевич, сколько работы задала вам ваша природа, милостивая и в то же время строгая к вам, строгая, потому что подвергает вас огромной ответственности! В вашу рабочую храмину она принесла не песок, не глину – чистый, карратский мрамор; но из мрамора созидают же Алкидов и Аполлонов; стыдно разбить эти драгоценные куски и наделать из них игрушек, или маленьких вертепов.

Не думайте, что природа, щедрая на дары, столь же щедра и на услуги, что она будет трудиться за вас и над их обработкой. Нет! она дает вам прекрасный материал и резец, т.е. способности – ваение – ваш уже творческий подвиг. Она не хотела похитить у человечества лучшей славы – быть виновниками своей славы. Я знаю, и вы сами узнаете, что в числе болезней нашего века есть одна самая неясная и гнилая, хуже физической проказы, – болезнь впрочем поражающая души хилые и немощные – это учение, что будто бы человека всего созидают история, а сам он ничего, или почти ничего не в силах сделать над собою. По мнению господ, одержимых этим жалким недугом, чем кто большими одарен способностями, тем менее нужно его собственное содействие к их усовершенствованию так, что гению напр. принадлежит уже полное и совершенное право и честь быть машиною. Нужно ли опровергать такой вздор? Я посмеялся однажды над ним в моей статье: «маленькие великие люди» – и довольно. В вашем светлом уме, в энергической полноте ваших сил самое лучшее противодействие этой пошлой логике мелкоумия и душевной нищеты, которая лохмотья своего рублища хочет спрятать под складки худосшитого софизма. Нет! Человек зодчий, художник своего внутреннего мира. Мудрым или безумным строением его он созидает вдруг и свою славу или бесчестие и свое благо, или бедствие. И именно это призвание людей, одаренных высшими силами. От других нечего спрашивать такой самосиждительности: они сами глина, предназначенная к тому, чтобы первые лепили из них формы по своим идеям. Трудитесь же, Алексей Сергеевич, трудитесь над собою, чтобы выработать из себя существо стройное, изящное, предмет восторга и любви для других, источник мирного самоуважения и счастья для себя. Не слушайте прошлой и низкой лести, что вы прекрасный молодой человек, что вы далеко пойдете и без больших усилий и проч. и проч.: прекрасный человек только тот, кто больше и лучше других делает. Что касается до вашего положения в свете, то что это значит?

все для будущего камергера и ровно ничего для сына истории. Вспомните вашего отца: двадцати четырех лет, если не ошибаюсь, он был уже действ. стат. советником, носив какую-то звезду и был попечителем СПб. учебного округа; но разве это доставило ему Европейскую славу и разве это передаст имя его потомству, как одного из просвещеннейших государственных мужей, спасающего наше время от нареkania, что оно мелко мыслит? Спросите у него: думал ли он о будущности такого рода? Трудился ли он? Учился ли? Одним словом: работал ли он для создания этого блестящего имени, которое может передать вам с чувством заслуги и скромности, как урок и как желание?

А Природа, кажется; также небыла к нему неблагоклонна? Нет, Алексей Сергеевич, все великое все прекрасное качество имеет, как Геркулесов щит, свою кузницу Вулканову: быть большим, значит больше других терпеть и больше превозмочь. Сыны счастья только оптический обман, которым судьба играет, чтоб обмануть легковерных. Тот, кто больше всех любил, кто больше всех мыслил и кто больше всех сделал, умер в муках на кресте. \, – \, В продолжение четырех лет ваш труд преимущественно будет обращен на усовершенствование ваших умственных сил; вы будете заниматься познаниями, как средством расширить ваш умственный горизонт и в тож время будете гимнастически развивать и изоощрять силы вашего ума, чтобы дать ему ту высокую стройность, гибкость, легкость, грациозную величавость и крепость, какой достигали Греки в своей пластической гимнастике. Старайтесь именно об этой обработке ума: теперь для этого время; теперь вы можете еще принять и закрепить в себе такую или другую позу – члены гибки еще и послушны; после будет поздно.

Познания могут прийти и после, а направление нет. Не пренебрегайте наукою, хотя бы она являлась иногда и в форме немножко непривлекательной; мы еще не дошли до того, чтобы наука и жизнь значили одно.

Но все-таки наука есть великое и святое дело человечества. Одно уже и то много значит, что она собирает воедино стремления, верования, убеждения и надежды людей и таким образом охраняет всеобщий человеческий союз.

Разумеется, вы не должны довольствоваться мыслями других, а должны мыслить сами; привыкайте же мыслить так, чтобы всякая ваша мысль непременно вела к какому-нибудь результату: или к разрешению какой-нибудь задачи, или по крайней мере к выразумению ея. Нет ничего хуже как бесплодные мысли. Один час проведенный вами в размышлении стройном и {результатном} дороже целого месяца прошедшего в суматошных, кончившихся ничем порывах. Советую Вам завести себе дневник, в котором записывайте ваши собственные замечания о предметах, входящих в круг вашей умственной деятельности. О форме этого дневника мы поговорим еще с вами. Это будет вещь преполезная, если только ее хорошо и постоянно вести.

Дух века требует от всех наших исследований результатов положительных; Не верьте однако ж близоруким, которые положительность

эту заключают в тесные границы материальных выгод, в границы комфорта. Они не понимают великих стремлений века. Положительность, которой он требует, состоит в том, чтобы каждой идее нашей дано было место в кругу живых сил, двигателей человеческого ума, воли сердца и общественного блага. Он хочет охватить {всего} человека могучим своим дыханием, а не его тело только. Он хочет покорить ему материальные силы природы для великих последствий нравственного миротворения, а не для удобнейшей доставки Стразбургского пирога или устриц. Следуйте веку; помните, что кроме вещей, есть еще на свете идеи; от идей идите всегда к жизни и от жизни к идеям. Пусть всегда перед глазами вашими будет положительный успех человечества или в общественном устройстве, или в науке, или в искусстве. Не уважайте дыма пустых умозрений, презирайте и грязь, из которой какая-нибудь Библиотека для чтения лепит все человеческие убеждения.

Старайтесь как можно тщательнее изучать механизм и дух человеческих обществ; всматривайтесь в то, что из человека делают убеждения и привыкайте заранее отличать в истории то, что бывает следствием их и что происходит от неизменного закона человеческой природы. Не думайте, что человека вы хорошо узнаете из собственных опытов: это знание мелочное. Надобно видеть его в больших размерах, в размерах исторических. Если собственный опыт научает нас презирать человека, то история учит уважать его и сожалеть о нем.

Воспитывайте себя в духе любви к человечеству и уважения к законам справедливости, хотя бы частные случаи и противоречили иногда этим высоким основаниям. Умы великие и обширные отличаются тем, что они никогда своих личных прискорбий не кладут на весы с общими вопросами и нуждами людей.

Наука управлять умами людей гораздо труднее, чем наука управлять их взаимными отношениями и последняя мелка без пособия первой. Общества много бы выиграли, если бы те, которые ими управляют понимали хорошо, что управлять не значит только повелевать, а убеждать. Старайтесь запастись средствами убеждения. Поверьте, что нравственная сила очень сильна и если вы приобретете доверие к нравственным началам высших намерений, их исполнение втрое по крайней мере облегчится.

Свойство справедливости напр. таково, что она даже у недовольных отнимает энергию действовать против.

Мне кажется, что внутренняя конституция этих начал будет хороша для вас.

{зачеркнуто А.Н.}

Наука управлять умами людей гораздо труднее, чем наука управлять их общественными отношениями и последняя мелка и ненадежна без первой. Тот имеет огромный перевес на своей стороне, кто к силе политической, какую предоставляет ему судьба, присоединяет могущество нравственное: оно покарает не лица, а убеждения, а лица зависят от убеждений.

Две власти управляют миром: власть политическая и власть нравственная. Иногда первая усиливается обойтись без последней и грубо ошибается. Власть нравственная слагается из силы идей и силы чувства. Кто умнее других, тот по закону естественному их глава во всем, что касается внутреннего быта; кто доблестнее, благороднее других, тот будет наконец их глава по избранию их сердца. Не тот ли будет сильнее, кто соберет больше силы в своей руке?

Помните, что нет такого преимущества на свете, которое бы не имело нужды в союзе с правотою намерений! Мелкие умы этого не знают, сильные умы иногда это

забывают, умы великие всегда это чувствуют.

Мне кажется, что внутренняя конституция в духе этих начал будет для вас привычна и потому хороша. Кто проникнут известными основными идеалами, тот в подробностях будет им верен, а потому нам нужны чувства не столько для поступков, сколько для убеждений! Дух учения в строгой формуле.

Для поведения вашего в университете вот главное начало: вы должны быть непременно примером для ваших товарищей во всем, что составляет круг их обязанностей. Это долг ваш и к самому себе и к имени вашего отца. Вас не обманут ничьи ошибки или заблуждения, которые иногда на софистическом языке Эзопа называются позволительными увлечениями юности. Но этого мало. Надобно, чтобы вы увлекали сами других – ко всему великому и прекрасному.

С сладким предчувствием обращаю взор мой на предстоящий вам путь: цветы надежд, коими увенчана ваша юность, дадут богатый плод в свое время.

Идите мужественно к вашей возвышенной цели; дух добра и красоты да почиет на вас, и бог да приосенит своей благодатью дни ваши также, как и благородные усилия вашего ума.

Это усерднейшее, искреннее желание.

Несомненно и глубоко преданный Вам

А.Н.

Валерий Григорьевич Исаченко и А. В. Осипов Разговор о дневниках Никитенко и памятниках

А.В. Валерий Григорьевич, правильно ли я понял, что Вы ратуете за то, чтобы нашему герою-цензору был поставлен в Петербурге памятник.

В.Г. Именно так! И дело не в том, что он цензор, хотя я не вижу в этом негатива, но в том, что у него масса других достоинств. Он был не просто интересной личностью, но личностью, с которой связаны многие ключевые эпизоды истории общественной мысли в николаевское и постниколаевское время. Впрочем, если уж Вы решили использовать старомодное слово ратовать, то я ратую за то, чтобы было больше памятников русским общественным деятелям, литераторам, ученым. За памятник Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину, например...

А.В. Но, по-моему, Михаил Евграфович не обделен памятниками. Например, во весь рост в Лебяжьем. Не говоря уже о бюстах.

В.Г. Но я бы предложил поставить ему памятник и в самом Петербурге. Вообще говоря, в Петербурге есть кому поставить памятник, кроме Остапа Бендера. Например, Алексею Сергеевичу Суворину.

А.В. Разве нет бюста в здании Суворинского театра?

В.Г. Я об этом ничего не знаю. Но Суворин мне интересен. В частности, своим дневником. Что-то есть общее между Никитенко и Сувориным. И между их дневниками.

А.В. Конечно, есть. Это обилие записей, из которых становится понятно, что их авторы свободолюбивы и презирают холопство. Еще, конечно, страдают оттого, что правительство дурное.

Даже в том, что все на меня обрушивается, точно я виноват во всех прегрешениях правительства и общества, во всех наших неурядицах, я вижу признаки не исчезнувшего еще холопства. Мне говорят, что я предсказал, что делается все так, как я предполагал. Да я сорок раз вижу одно и то же и достаточно знаю общество, которое способно сочувствовать, но не способно выразить свое сочувствие или не умеет. Молчать при этом обществе хуже всего. Если б я молчал, было бы еще хуже.

А.С. Суворин. Дневник. 1899. 26 сентября

В.Г. Что ж! Я его понимаю.

А.В. Хорошо, давайте поговорим о некоторых других замечаниях Суворина. Но сначала вернемся к Никитенко.

29 февраля 1856 года

Сегодня Плетнев сказал мне следующую утешительную вещь. На прошедшей неделе государь был на домашнем спектакле у великой княгини Марии Николаевны. Давали, между прочим, пьесу графа Соллогуба «Чиновник». В ней сказано очень много смелых вещей о безнравственности, то есть о воровстве наших властей.

По окончании спектакля государь, встретив Плетнева, сказал ему:

– Не правда ли, пьеса очень хороша?

– Она не только хороша, ваше величество, – отвечал Плетнев, – но составляет эру в нашей литературе. В ней говорится о состоянии наших общественных нравов то, чего прежде нельзя было и подумать, не только сказать во всеуслышание.

– Давно бы пора говорить это, – сказал государь. – Воровство, поверхностность, ложь и неуважение законности – вот наши главные общественные раны.

В.Г. Да, помню эту пьесу. Легкая, с сатирическим уклоном, который несколько смягчается прямолинейной дидактикой главного героя. И с элементами водевиля. Я думаю, что ее можно было бы ставить в наших театрах, как и комедию Капниста «Ябеда», как и Фонвизина, и Грибоедова. Впрочем, на что Вы хотели обратить мое внимание? На мелкий подхалимаж Плетнева?

А.В. Нет, я теперь возвращаюсь к «Дневнику» Суворина.

Вышнеградский выиграл биржевою игрою до 10 милл. руб., играл на имя зятя своего Филипьева. Ему известно было, какая бумага повышается, какая понижается. Себе не враг! Приказывал продавать и покупать. Абаза при нем играл на понижение рубля, а Вышнеградский – на повышение. Абаза сумел его уговорить покупать золото и не покупать рубля. Абаза едет за границу и, говорят, продает свое имение. После того, как Витте Абазу изблещил перед государем, что он играл на бирже, за что он не был назначен председателем д-та экономии, даже членом оногo, тот написал оправдательную записку государю, уверенный, что против него никаких документов нет. Но Витте имел его счета с Заком и копию с них послал ему. Абаза и остановился со своею запиской.

А.С. Суворин. Дневник. 1893. 28 февраля

В.Г. Ну и что, запись, которая характеризует как Вышнеградского, так и нравы того времени.

А.В. Но как я должен это расценивать? Что это? Просто сплетня, обвинение или просто факт? Это было бы ценным замечанием, если бы кто-то смог бы прокомментировать запись Суворина. Можно ли называть то, о чем он пишет, коррупцией? Или злоупотреблением? Вышнеградский был министром финансов и ушел в отставку по болезни в 1892 году. Причем оставив финансовые дела России в хорошем состоянии. Или вообще этой истории не было? Что это?

В.Г. Просто факт, зафиксированный наблюдателем.

А.В. А по-моему, классическая диффамация. И мы привыкли к такому. И не замечаем ее. Такие вещи нужно или доказывать, или не писать. Так же, как и в случае с обвинением Витте. Нужно или строго доказывать, или извиниться за обвинение. Нельзя поступать так, как Суворин. Иначе это не характеристика человека, а просто сплетня. У Суворина много такого. «Кто-то слышал, как некто сказал». Я бы не стал ставить памятник Суворину.

В.Г. А другие считают, что нечего ставить памятник Чичагову. Вот так и живем. И ставим памятники Остапу Бендеру или птичке. Но давайте все-таки вернемся к Никитенко и продолжим цитату, которую Вы оборвали.

На днях был на двух литературных чтениях: у князя Вяземского, где читал свое произведение граф Лев Толстой, и у Тургенева, где читал Островский сперва небольшую пьесу «Семейная картина», а потом драму, тоже заимствованную из русских нравов и быта.

Островский, бесспорно, даровитейший из наших современных писателей, которые строят свои создания на народном, или, лучше сказать, простонародном элементе. Жаль только, что он односторонен – вращается все в сфере нашего купечества. Оттого он повторяется, часто воспроизводит одни и те же характеры, поет с одних и тех же мотивов. Но он знает купеческий быт в совершенстве, и он не дает одних дагерротипных изображений. У него есть комизм, юмор, есть характеры, которые выдвигаются сами собой из массы искусно расположенного материала. Сам Островский совсем не то, что о нем разглашала одна литературная партия. Он держит себя скромно, прилично; вовсе не похож на пьяницу, каким его разглашают, и даже очень приятен в обращении. Читает он свои пьесы превосходно.

По-моему, очень хорошая характеристика. Емкая, краткая. И без всякой диффамации.

А.В. Согласен. Характеристика замечательная. Особенно если обратить внимание на окончание. И Никитенко совсем не похож на дурака, каким его некоторые разглашают. Но таких характеристик у Никитенко немного.

В.Г. Почему же. Например, характеристика Рылеева.

А.В. Я не знаком с характеристикой Рылеева. В дневниках есть упоминание фамилии Рылеева, но только в связи с поступком Ростовцева, который написал накануне заговора письмо государю, передал его и копию письма якобы передал заговорщикам.

21 октября 1826 года

Поступок Ростовцева во всяком случае включает в себе много твердой воли и присутствия духа, чему я сам был свидетелем, но он, мне кажется, слишком хотел показаться благородным, а это в соединении с тем сомнительным положением, в коем он находился, может показаться многим только хитрою стратегемой, посредством которой он хотел в одно время и выпутаться из беды, и явиться человеком доблестным. Весьма естественно, что и государь так думает.

Это мнение могло быть сильно подкреплено еще тем, что Ростовцев объявил заговорщикам о разговоре своем с государем накануне бунта и даже дал им копию с письма своего к нему, что объявили сами заговорщики при допросах. Сей поступок мог быть сделан и с хорошим намерением, то есть чтобы остановить заговорщиков, показав им, что правительству уже известны их замыслы и оно, следовательно, готово принять меры. Но, с

другой стороны, это могло быть и простою несостоятельностью, которая являлась как бы неизбежным последствием первых его связей с князем Оболенским и Рылевым, – то есть он хотел им показать, что он действует не как предатель. Но для сего уже было достаточно того, что он не назвал заговорщиков перед государем, а предоставил им самим объявиться или скрыться. Но в таких обстоятельствах, в каких находился Ростовцев, трудно не сделать ошибки.

Кстати говоря, если вспомнить о дневнике Суворина, то в нём обыгрывается модель этой ситуации.

В день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова я сидел у Ф. М. Достоевского.

Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком у его гостиной, набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно, как будто, носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

– А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы.

О покушении ни он, ни я еще не знали. Но разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем Дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

– Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дацаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились ли к полиции, к городоховому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

– Нет, не пошел бы...

– И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут спрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатанот: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги

получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества и для правительств, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить.

Он долго говорил на эту тему и говорил одушевленно. Тут же он сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...

А.С. Суворин. Дневник. 1887

В.Г. Я не способен решать такие модели. Она мне кажется искусственной, но если нужно что-то сказать, то я, скорее, согласился бы с авторами модели, чем с Ростовцевым. Но это – абстрактно. Что же касается портрета Рылеева, то он есть в автобиографии профессора. Один раз он встретил его в молодые годы достаточно случайно.

В Острогжске ежегодно бывала ярмарка, на которую вместе с другим товаром из Воронежа привозили и книги. Я с одним из приятелей не преминул заглянуть в лавочку, торговавшую соблазнительным для меня товаром. Там, у подлавка, нас уже опередил молодой офицер. Я взглянул на него и пленился тихим сиянием его темных и в то же время ясных глаз и кротким, задумчивым выражением всего лица. Он потребовал «Дух Законов» Монтескье, заплатил деньги и велел принести себе книги на дом. «Я с моим эскадром не в городе квартирую, – заметил он купцу, – мы стоим довольно далеко. Я приехал сюда на короткое время, всего на несколько часов: прошу вас, не замедлите присылкою книг. Я остановился (следовал адрес). Пусть ваш посланный спросит поручика Рылеева». Тогда имя это ничего не сказало мне, но изящный образ молодого офицера живо запечатлелся в моей памяти. Я больше не встречал его в нашем краю. Да он и уехал скоро оттуда, женился и вышел в отставку. Я свиделся с ним опять уже в Петербурге и при совсем другой обстановке.

Второй раз свидание произошло в Петербурге, как раз накануне декабрьских дел, в период, когда Никитенко формально еще был в крепостном состоянии.

Было у меня еще третье письмо, с каким-то поручением от Владимира Ивановича Астафьева к его родственнику по жене, Кондратию Федоровичу Рылееву. Теперь я имею повод думать, что поручение это было вымышлено добрым Владимиром Ивановичем с целью сблизить меня с этим редким по уму и седице человеком. Но тогда я этого не подозревал и явился к Кондратию Федоровичу не как проситель, а как посредник между ним и его острогжским приятелем.

Рылеев в то время управлял канцелярией нашей американской торговой компании и жил в компанейском доме, у Синего моста. Квартира Кондратия Федоровича помещалась в нижнем этаже. Окна ее, со стороны улицы, были защищены выпуклою решеткою. Теперь дом этот перестроен, но он долго был для меня предметом скорбных воспоминаний, и я не мог пройти мимо без сердечного волнения. Было одно окно особенно: оно выходило из кабинета, где я, знакомясь ближе с хозяином, слушал, как он декламировал свою только что оконченную поэму «Войнаровский». Со мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире – Баратынский.

Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно отдать ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня. Но таким я узнал его позже. Теперь же, в мое первое посещение, я, главным образом, испытал на себе чарующее действие его гуманности и доброты и, вызванный на откровенность, поведал ему всю печальную историю моих стремлений и борьбы. Он выслушал ее с большим вниманием и тут же начертал план кампании в мою пользу.

А.В. Красивый портрет. Но в нем нет «политической составляющей».

В.Г. Но симпатия автора к своему персонажу просматривается отчетливо. Это и есть «политическая составляющая».

А.В. Я думаю, что это все-таки скорее воздействие на Никитенко самой поэмы «Войнаровский».

Все это копии с разных Бейроновых вещей, в стихах по новому покрою; всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то новым Катонном.

П. А. Катенин. Письмо Н.А.Бахтину, 26 апреля 1825 г.

Хорошо, давайте посмотрим на характеристику другого известного персонажа, у которой эта составляющая выделена более отчетливо.

19 ноября 1861 года

...Граф лето жил в деревне, ездил по разным губерниям и наблюдал состояние вещей и умов. Он убежден, что года через два – в 1863 году – у нас откроется резня. Дворянство приготовляет адреса государю, прося его о даровании некоторых конституционных льгот или чего-то в этом роде, не настаивая, впрочем, на самой конституции. «Колокол» в восторге от студенческих историй и прямо приглашает студентов не думать о науке, а развивать пропаганду восстания. Надо отдать справедливость Герцену, что он поступает и нечестно и гадко: действует из-за угла, вовсе не понимая России, ее нужд, положения и не думая о последствиях.

В.Г. Да, тогда многие так думали, не только Никитенко. Возьмите, к примеру, письмо Т.Н. Грановского к А.И. Герцену 1851 года:

Книги твои дошли до нас. Я читал их с радостью и с горьким чувством. Какой огромный талант у тебя и какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нас и говорить чужим языком; но, с другой стороны, я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека. Оно, пожалуй, оправдывает Гейнцена и tutti quanti. Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей. Всякому правительству можно стать на твою точку зрения и наказывать революционеров за бесплодные и ни к чему не ведущие волнения.

Все, что ты писал до сих пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталость, отрешенность от живого движения событий. Ты стоишь одинок. Ты, скажу без увеличения, значительный писатель, у тебя есть условия сделаться великим писателем, но то, что было в России живого и симпатичного для всех в твоём таланте, как будто исчезло на чужой почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею.

Или из письма того же Грановского к К.Д. Кавелину (2 октября 1855):

... Пикулин возвратился из-за границы и привез многое и много рассказов о нашем приятеле, у которого погостил 2 недели. Утешительного и хорошего мало. Личность осталась та же, нестареющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить типографию. Сотрудники у него настоящие ослы, не знающие ни России, ни русского языка. Если бы эти жалкие произведения и проникли к нам, то конечно, не вызвали бы ничего кроме смеха и досады.

Вот и скажите, чья деятельность была «ничтожной»? И чье понимание вещей было самым «детским»? Если именем Герцена названы площади, улицы, университеты... И Герцен навсегда останется в истории культуры как автор знаменитой книги «Былое и думы». Так что правильно оценить человека-политика может только история. Тем более что социальные процессы, происходящие в России в то время, очень похожи на инкубационный период болезни.

А.В. Об этом пишет и Никитенко. Продолжим его цитату.

Не есть ли все это процесс перерождения – и это всеобщее шатание умов, и быстрая, тревожная разладица общественных отношений, деморализация, бестолковое увлечение молодых умов, тупое бездействие зрелых и возмужалых – это всеобщее брожение, лихорадка честолюбий без всяких прав на отличие, бред умов такими теориями, которые едва коснулись их мысли, но не выдержали ни анализа, ни испытания. Не есть ли это процесс тяжёлый и тревожный, процесс перерождения народа, который не жил до сих пор жизнью естественного и здорового развития, народа, которого история мучила, а не воспитывала?..

В.Г. Явное созвучие с многочисленными рассуждениями Салтыкова-Щедрина на эту тему.

А.В. Например, это:

М а л ь ч и к в ш т а н а х. Слышал и я об этом и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже об вас жалел. Слушайте, дети! – сказал он нам, – вы должны жалеть Россию не за то только, что половина ее чиновников и все без исключения аптекаря – немцы, но и за то, что она с твердостью выполняет свою историческую миссию. Как древле, выстрадав иго монголов, она избавила от них Европу, так и ныне, вынося иго саранчи, она той же Европе оказывает неоцененнейшую из услуг!

В.Г. И это тоже. Нужно только иметь в виду, что мы имеем здесь дело с шаржированной мыслью.

А.В. Хорошо, продолжим мысль Никитенко.

Тут не должно волноваться ни страхом, ни негодованием, тут надо отбросить обыкновенные предубеждения. Тут должно мужественно мыслить, мужественно хотеть и действовать.

В.Г. Ну, тут не просто резонанс, а я сказал бы «горячий резонанс» с Салтыковым. Тут, пользуясь его терминологией, мысль, доведенная до героизма!

Только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях; только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса. В древности Самсон употреблял ослиную челюсть, чтоб внести смятение и страх в лагерь филистимлян, в наше время место этого невинного орудия занял меч мысли, но желательно было бы, чтоб оружием этим действовали с тем же проворством и силою, с каким действовал Самсон челюстью. И это тем более удобно, что ревнители тьмы уже не скрывают своей игры, не забрасывают грязью подслащенных фраз, но прямо и открыто признают себя именно ревнителями тьмы. Следовательно, героев нет и не может быть, следовательно, руки и умы развязаны, следовательно, мы свободны от всяких обязательств...

М.Е. Салтыков-Щедрин. Невинные рассказы. К читателю

А.В. Мне кажется, что эта «героичность мысли» имеет все-таки несколько разное направление. У сатирика – совершенно отчетливый призыв к борьбе. В поэтической форме он выглядит так:

*В стране, подавленной бесправьем, –
Вам слышно ль? – близок ураган:
То в смертный бой с самодержавьем
Вступает русский великан.
А.Я. Коц. 1902*

У Никитенко это унылый пессимизм. Продолжим ту же выписку:

Но все это невольно надламывает во мне веру в нашу национальную способность самим устраивать свою судьбу. Невольно приходит на ум, что русский народ в самом существе своем носит невозможность самообладания, невозможность нравственной и политической самостоятельности. Не общее ли это на всех славянах проклятие? Спаси Боже!

В.Г. Не знаю, человек пишет для себя. На каждого находят временами пессимизм, если он думает о таких вещах.

А.В. Но Никитенко повторяется и настаивает на «внешней руководящей силе».

15 апреля 1862 года

Свобода и закон – вот что должно бы составлять исключительную основу управления человеческими обществами. Но как в этих обществах всегда будут злоупотребления первой и нарушения второй, то к ним надобно присоединять еще и охранительную силу власти.

У нас особенно трудно устроиться правильному общественному порядку самому, без участия внешней руководящей силы. Патриотизма у нас очень мало, а самолюбие вместе с кровью наполняет все жилы и жилки нашего организма.

В.Г. Ну, первая часть этого пассажа – просто комментарий к оде Пушкина «Вольность».

*Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье...*

Впрочем, у Пушкина есть и про охранительную силу власти. Понимает ли Никитенко трон как «внешнюю руководящую силу», я сказать не могу. Передельвая несколько Суворина, я сказал бы, что два царя есть у России: номинальный царь и общественное мнение. И конфликт между этими царями, этот воспалительный процесс, еще долго будет мучить страну, время от времени давая о себе знать, проявляясь в форме социальных катаклизмов.

А.В. Валерий Григорьевич, хотелось бы поговорить и на архитектурные темы, в частности, о том, где жил наш герой-профессор. Но, наверное, уже после намека на социальные катаклизмы лучше не возвращаться к бытовым темам. Да и читателей мы утомили длинными цитатами.

В.Г. Хорошо, я согласен. Давайте закончим. Хотя, конечно, дневники Никитенко дают богатую пищу для обсуждения.

А.В. Большое спасибо за интервью!

В.Г. Спасибо и Вам за приглашение к разговору.

А. В. Осипов

Инь-ян как перемешивающая машина



А. Л. Неучев

Инь-ян: путь, замес и истина



*Канфар с двумя женскими лицами.
520-490 до РХ. Эрмитаж*

А. В. Осипов. Инь-ян как перемешивающая машина

Введение

В статье делается попытка упростить понятие Дао, придав ему вполне осязаемый, реалистичный смысл. Мы признаем, что при этом теряются многие оттенки, придающие этому термину сакральную, мистическую силу. Тем не менее тот подход, который более естествен в математических науках, нам представляется полезным и в науках социальных. Только не следует ожидать каких-либо «вычислимых» результатов. Речь идет о выборе точки зрения.

Дао для нас – нечто порождающее. Или порождающая функция, или несколько качеств, характеризующих окружающий нас мир, или базисный набор законов природы, – если бы мы могли определить более четко, что именно, то тем более это смогли бы сделать Лао Цзы вместе с Конфуцием. Впрочем, читатель сможет заметить, что для нас эти двое философов различаются между собой не больше, чем автор Одиссеи отличается от автора Илиады. Правда, античные авторы писали «стильно», и, быть может, это вызывает иллюзию одного автора. Об обоих философах написал Сыма Цянь, живший на четыре столетия позже, в своих также стильных «Исторических записках».

Основной текст, который мы обсуждаем, – «Дао дэ дзин», автором которого является Лао Цзы. Вот что пишет Конисси Масугаро (Даниил Петрович Кониси), ссылаясь на Сыму Цянь:

Желая жить вне той страны, беспорядок и нравственное падение которой его возмущали, он (Лао Цзы) хотел уйти через западную границу в страны варваров. Но тут случилось нечто неожиданное для него. Увидев, что этот знаменитый муж удаляется из империи, начальник пограничной стражи Ин-ки сказал ему: «Философ! ужели ты думаешь скрыться? Если так, то прошу – изложи сначала свое учение для нашего наставления».

Читателю остается догадываться, почему граница западная (а какая восточная?), о какой стране варваров идет речь и кто такой начальник пограничной стражи.

Глава I. Рассуждение о Пути и Учении

*Небрежно брошенная фраза,
Стакан вина, письмо отказа,
Совет врача, букет цветов,
И знание тайное основ,
Любовный яд и власти ртуть
Определяют жизни путь.*

Слово «дорога» близко китайцу не менее, чем русскому. Много разнообразных душевных оттенков таит оно в себе и вызывает много ассоциаций, но одна из этих ассоциаций, связка «дорога – путь» (а в русском языке «путь – дорога»), стала не просто ключевой, но символической, обозначающей, знаковой для всей китайской философии.

При этом слово «путь» само образует несколько устойчивых смысловых связок с другими понятиями высокого уровня. Прежде всего, это «путь познания истины», или «путь к мудрости», – трудный путь, по которому идет «благородный человек».

Уже с самого начала знаменитых диалогов Конфуций говорит о пути.

I.1. Философ сказал:

Не приятно ли учиться и постоянно совершенствоваться?

Не приятно ли встретиться с другом, возвратившимся из дальних стран?

Не благородный ли муж тот, кто не гневается, что он не известен другим?

Мы здесь вроде бы встречаемся с отличием от традиции, воспринимающей обучение и научный поиск как трудный путь с каменистыми тропами, по которым следует карабкаться, несмотря на усталость. Тем не менее сам Конфуций как бы и полемизирует со своими словами о приятности самоусовершенствования.

VIII.7. Цзэн-цзы сказал:

Ученый не может не быть широкою натурой, твердым и выносливым, потому что обязанность его тяжела и путь его далек (т.е. путь самоусовершенствования). Гуманизм он считает своей обязанностью. Разве это не тяжелое бремя? Только со смертью оканчивается эта обязанность – разве это не далекий путь?

Другая сентенция имеет императивный характер.

VIII.13. Конфуций сказал:

Искренно веруй и люби учиться, храни до смерти (твои убеждения) и усвоившей свой путь.

Здесь мы сталкиваемся с одной из основных проблем в изучении наследия Конфуция – с проблемой перевода, или, лучше сказать, с проблемой интерпретации. Учтем, что тексты написаны более двух тысяч лет назад, да к тому же еще и используют терминологию, которая подчас даже в современных трактатах вызывает неоднозначное понимание. В частности, что означает «искренно веруй»? Во что? По-видимому, в то, что ты сможешь одолеть тот путь, который тебе предстоит, то есть учение. При этом учишься так, чтобы те навыки, знания, которые ты приобрел, не стерлись с годами («храни до смерти»). Кажется, что здесь мы вновь встречаемся с некоторым отличием от европейской традиции.

Я богословьем овладел, Над философией корпел, Юриспруденцию долбил И медицину изучил. Однако я при этом всем Был и остался дураком.

Гете. Фауст

Однако продолжение этого параграфа переводит нас совсем в другую плоскость.

В государство, находящееся в опасности, не входи; в государстве, объятom мятежом, не живи; появляйся, когда во вселенной царит закон и скрывайся в эпоху беззакония. Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, когда в государстве царит закон; равно стыдно быть богатым и знатным, когда в государстве царит беззаконие.

Непонятно. То ли здесь мы имеем дело с другим параграфом, который случайно не обозначен новой цифрой, то ли не совсем правильно поняли предыдущую фразу. Попробуем вернуться. Если учесть, что основные тезисы Конфуция относятся к выходу из смутного состояния, то есть к тем, кто не хочет строить свой дом на песке, то тезис «искренно веруй» означает: человек, который хочет научиться, должен верить в возможность такого выхода. Иначе его продвижение по пути познания истины достаточно бессмысленно. В этом отношении тезис является парным к тезису V.1, где Конфуций своим примером утверждает такую веру.

Несмотря на то, что многие из правил Конфуция относятся и к процессу овладения конкретными науками, сам он подчеркивает, что речь идет не о философии, юриспруденции или медицине, а о том, что мы сегодня назвали бы социологией или социальной психологией.

XII.22. На вопрос Фань-чи о человеколюбии (гуманности) Философ отвечал:

Гуманность – это любовь к людям. На вопрос: что такое знание?

Философ отвечал: Знание – это знание людей.

И как часто у Конфуция бывает, сначала правило, а затем какое-то частное применение этого правила. Так и в этом отрывке. Но не будем уже на этом останавливаться.

Термин «путь» один из ключевых. Он столь важен, что естественно попытаться проанализировать основные свойства этого понятия. Тем более что они не слишком очевидны. И в этом отношении «Дао дэ цзин» иногда кажется продолжением «Диалогов» Конфуция, а таинственная личность Лао-цзы – его учеником, чуть ли не им самим, – столь естественна связка «путь – Дао». Иногда Дао и переводится как «путь», но все-таки это нечто другое. В таких случаях никакая модель не может быть полной, поскольку если бы такая существовала, то и не нужно было бы писать многие трактаты. Но модели, которые указывают на какие-то характерные свойства понятия, наверно, полезны.

Одной из таких моделей является в математике порождающая функция, которая, многократно действуя на частицы, «пропуская их через себя», создает красивые картинки, называемые фракталами. Сама функция при этом может быть весьма «скромной». Подобные задачи обсуждает философско-физико-математическая наука синергетика.

Другим модельным понятием, находящимся уже гораздо ближе к искусству, является понятие **стиля** как множества **коррелирующих** элементов. Можно представить себе художника, обладающего вкусом, который, увидев какой-либо один элемент готического собора, например витражное стрельчатое окно или заостренную башенку, может восстановить весь облик здания, разумеется, с точностью до некоторого подобия, до **несущественных** элементов. Под **«вкусом»** художника мы и понимаем умение выделять коррелирующие элементы.

Впрочем, я, кажется, поторопился сказать, что, увидев стрельчатое окно, художник может восстановить весь облик здания. Стрельчатое окно – это **характерный** элемент, но не **порождающий**.

В природе мы встречаемся с этим достаточно часто. Казалось бы, незначительная веточка яблони. Но, закопав ее в землю, мы через некоторое время увидим на этом месте выросшую яблоню, причем с такими же плодами. С этой, «природной» точки зрения кора березы не является порождающим элементом. Закопав ее в землю, мы не получим новую березу, но она является характерным элементом, то есть присущим только березе. Другое дело для художника. Для него она является и порождающим элементом.

Есть нечто подобное и в социологии.

По себе можно познать других; по одной семье можно познать остальные; по одной деревне можно познать остальные; по одному царству можно познать другие; по одной стране можно познать всю Поднебесную.

Дао дэ цзин. Книга II. 54. Перевод Ян Хин-Шуна

Аналогичный пассаж есть и у Конфуция:

Философ сказал: Неретивых я не просвещаю, не сгорающим нетерпением получить разъяснения не объясняю и своих уроков не повторяю тем, которые (по одному приподнятому углу не отгадывают 3-х остальных – не выведут соответствующего заключения) на основании одной, сообщенной им о предмете, идеи, не в состоянии обнять остальных его сторон. (VII.8)

Философ сказал: Цы (цзы-гун), ты считаешь меня многоученным и знающим. Тот отвечал: Конечно. А разве нет? Нет, сказал Философ, я одним все связываю. (XV.2)

Причем эта идея гармонии, связанности, стиля повторяется в «Диалогах» несколько раз.

Об этом было бы интересно поговорить, но, вернувшись к понятию «дорога» или «путь», с которого мы начали, хотелось бы обратить внимание еще на одно замечание Конфуция.

VII.21. Философ сказал: Если идут вместе 3 человека, то между ними есть непременно мой учитель; я избираю из них хорошего и слеую за ним, а дурной побуждает меня к исправлению.

Конфуций указывает на то, что связка двух людей является достаточно устойчивой на одном пути. Это может быть диалог двух или полемика. Это могут быть два писателя, как Ильф и Петров, или два философа, как Флоренский и Булгаков на картине Нестерова. Это может быть дуэт в опере. Два мастера, сооружающие печь в доме или производящие ремонт в квартире.

Но если три человека делают одно дело достаточно долго, то один «удерживает» других, является «определяющим звеном». Совместная работа трех соавторов – уже редкость, и в этом случае кто-то один является «идеологом». Если это суд, состоящий из трех человек, то один из них, как правило, и определяет ход судебного процесса. Три консула времен французской революции – типично неустойчивая структура, которая и привела в свое время к выделению одного, а про остальных мы и забыли. Если по дороге долго идут двое взрослых и ребенок, то поучиться можно и у ребенка.

Глава 2. Математическая модель

*Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся!
О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется.
Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать матерью
Поднебесной! Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее Дао.*

*Произвольно давая ей имя, назову ее Великое. Великое – оно в бесконечном
движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела. Не
достигая предела, оно возвращается [к своему истоку].*

*Вот почему велико Дао, велико небо, велика земля, велик также и Государь!
Во вселенной имеются четыре великих, и среди них – Государь.*

Человек следует законам земли. Земля следует законам неба.

Небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе.

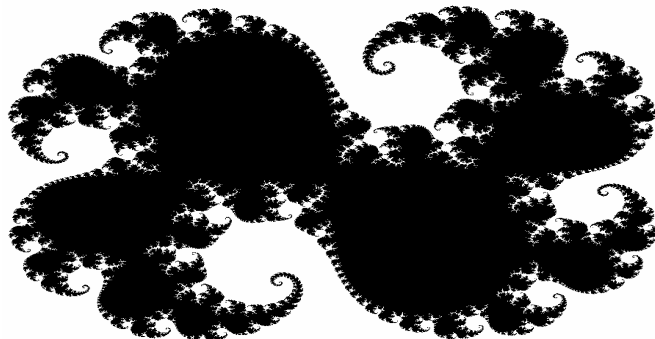
Дао дэ цзин. Книга I. 25. Перевод Ян Хин-Шуна



В слове «путь» чувствуется призыв, указание на наличие цели, на наличие генератора, того, что порождает действие или само является действием.

Когда хозяйка месит тесто или приготавливает гоголь-моголь, ее рука работает как перемешивающая машина. Перемешивание – это то, что отличает классическое хаотическое множество. Попробуем представить себе, что инь-ян указывает нам на действие такого типа. Однако мы будем иметь в виду не знак Тайцзи. (Диаграмма Тайцзигу в окружении восьми триграмм книги Багуа воспроизведена на рисунке 5.46 трактата А. Л. Неучева «Родословная чисел» в 5 выпуске альманаха «Консерватор»). Скорее нас будет интересовать то изображение инь-ян, которое можно найти в статье из Википедии, посвященной Лао Цзы. Здесь уже просматривается динамика. Попробуем воспользоваться этим почти невидимым указанием и продлим динамику. То есть, сжав темное и растянув его, вновь наложим на прежнее темное.

Эта динамика очень похожа на то, что происходит в дифференциальном неоднородном уравнении Ван дер Поля, исследованном английским ученым Джоном Литтлвудом в сороковых годах прошлого века. По существу, это было первое описание хаотического поведения в реальной математической ситуации, определяемой реальными дифференциальными уравнениями. Несколько позже, в 1949 году, Норман Левинсон построил упрощенное, но все еще сложное уравнение, которое моделирует это поведение. В шестидесятых годах Стефан Смейл предложил свою модель – так называемую «подкову Смейла». По существу, ее мы и видим на предложенных картинках.



Несколько иначе развивалась ситуация после появления в 1918 году работы французского математика Гастона Жюлиа, посвященной итерациям рациональных функций. Эта работа имела успех, но, тем не менее, мощностъ этого успеха была не сравнима с тем, что произошло в семидесятих годах и позже. Настоящий бум, вызванный появлением достаточно мощной и удобной вычислительной техники. Математики, физики, инженеры, да и просто любители начали экспериментировать, получать интересные картинки, пытаться их объяснять, строить теории. Появились красивые фракталы, множества Жюлиа и разные бифуркационные диаграммы.

Глядя на бифуркационную диаграмму, разве можно понять, какая функция ее породила! Глядя на раскрашенные множества Жюлиа, разве можно понять, какое отображение явилось «матерью» этих картинок?

Множество Жюлиа похоже на дракона, не правда ли?

Содержание великого дэ подчиняется только Дао. Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начала всех вещей. Каким образом мы познаем начало всех вещей? Только благодаря ему.

Дао дэ цзин. Книга I. 21. Перевод Ян Хин-Шуна

Глава 3. Мораль

...писания могут быть поняты и должны с величайшим напряжением толковаться в четырех смыслах.

Данте. Пир

Согласно Данте и средневековым схоластам высшим смыслом является анагогический, или сакральный. Объяснение сакрального смысла несколько опасно. На то он и сакральный, чтобы обычное, человеческое толкование было бы недостаточным или вовсе чуждо данному тексту. Ниже располагается уровень моральный, или душевный, или тропологический. Но и на этот уровень мы не претендуем, постепенно спускаясь и останавливаясь где-то между аллегорическим и буквальным. Но тут появляется новая проблема. Текст древний и даже сами китайцы воспринимают его по-разному. Кроме того, переводы на русский язык так различаются, что говорить об адекватности, кажется, уже невозможно. Например:

Пять цветов притупляют зрение. Пять звуков притупляют слух. Пять вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота волнуют сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому совершенномудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи. Он отказывается от последнего и ограничивается первым.

Дао дэ цзин. Книга I.12. Перевод Ян Хин Шуна

Пять цветов ослепляют человека. Пять звуков оглушают его. Пять вкусов пресыщают его. Верховая гонка и охота одуряют душу (сердце) человека. Стремление к обладанию редкими драгоценностями влечет человека к преступлению. Отсюда святой муж живет исключительно нравственным, а не внешним. Поэтому он удаляется от того и приближается к этому.

Тао Те Кинг. Книга I.12. Перевод Конисси Масутаро

Впрочем, в данном случае оба перевода оставляют лазейку для согласованного смысла. Но на тропологическом уровне есть своя опасность: кажущаяся необходимость морализации принижает анагогический уровень и деформирует смысл. Покажем это на небольшом фрагменте из комментария Ханьшань Дэцина (патриарха чань-буддизма).

Смысл здесь в том, что сознание человека изначально самопустотно и самопросветлено, а внешние звуки, цвета, еда, предметы изначально не имеют того, к чему можно было бы испытывать желание и стремление. Человек, думая, что к этим внешним вещам нужно стремиться, жаждет и любит их. Поэтому глаз устремляется вовне за цветом, но теряет истинное видение и становится слепым. Ухо устремляется вовне за звуком, но теряет истинный слух и становится глухим. Язык устремляется за вкусом, но теряет истинный вкус, поэтому у него теряется чувство вкуса. Сознание устремляется вовне за обстоятельствами, но теряет истинное спокойствие (самадхи), поэтому становится сумасшедшим.

Нам представляется, что прямолинейная интерпретация более уместна. Флаги государств имеют два-три цвета. Редко когда больше. В этом случае издали флаг просто представляется разноцветно-грязным. Любой пейзаж – морской, или лесной, или даже городской – это оттенки двух-трех цветов. Разукрашена одежда солдат в наполеоновское время. Но это вызвано необходимостью. Им нужно находить своих во время боя. И то не больше трех, максимум четырех цветов.

Заметим, что рассматриваемый тезис (про пять цветов) Лао Цзы – это малое Дао. В отличие от большого Дао, которое порождает все сущее, это Дао является порождающим стиль. Картины китайских художников очень стильные – они редко когда разукрашены, как, например, картины Бориса Кустодиева. Обсуждать, хорош ли тезис, бессмысленно. Это другой стиль.

Аналогично, звуковая гамма китайской традиции использует множество оттенков, тонов, но нет того мелодичного изобилия, присущего русской или западноевропейской культуре. Симфонии – не китайское. Симфонический оркестр (пекинский) появился только в 1977 году.

Что касается вкусовых ощущений, то и здесь мы встречаемся с тем же стилем. Хорошая китайская кухня не предполагает разноразнообразия. Обычно две-три вкусовых компоненты в отличие от, например, американской кухни.

По-видимому, суть абзаца состоит в предложении *«Поэтому совершенно-мудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь достаточной, а не к тому, чтобы иметь в избытке красивые вещи»*. Аналогом этой сентенции является, например, предложение:

*Не следует играть на выигрши; нужно стремиться не проиграть.
Кенко-Хоси. Записки от скуки*

Разберем теперь другой пример.

Дао дэ цзин. Книга I.18:

Когда отходят от Великого Пути, тогда и появляются человеколюбие и справедливость. Когда вокруг много умников, тогда и появляется великое заблуждение. Когда в семье не ладят между собой, тогда и появляются сыновья любовь; почтительность к старшим. Когда в государстве беспорядок и смута, тогда и появляются преданные слуги.

Перевод Александра Кувшинова

Когда устранили великое дао, появились человеколюбие и справедливость. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляются сыновья почтительность и отцовская любовь. Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются и верные слуги.

Перевод Ян Хин Шуна

Когда Великое Дао пришло в умаление, явились «милосердие», «справедливость» и «долг». Когда вышли наружу мудрость и знания, возникла большая ложь, Когда между родственниками воцарились раздоры, Возникли «сыновья почтительность» и «родительская забота», Когда в стране начались беспорядок и смута, Явились «верные подданные»...

Перевод Лисевич И.С.

Когда великое Тао будет покинуто, то появится истинная человечность и справедливость. Когда широко будет распространена мудрость, то появится великая печаль. Когда шесть ближайших родственников находятся в раздоре, то является почитание родителей и любовь к детям. Когда в государстве царит усобица, то являются верные слуги.

Перевод Конисси Масутаро

Комментарии к указанному разделу различаются еще более, чем переводы. Здесь уместно отметить следующее. Философия, как указал Эдмунд Гуссерль, стремится стать строгой наукой. Но как это может быть, если для философии перестало существовать «это я знаю, а это нет». Философия (в широком смысле) толкует все. И это знаменует собой кризисное состояние в науке.

Философ сказал: Я еще застал, как историки оставляли сомнительные места в стороне (для исследования и исправления) и как, имевшие лошадей, одолжали их другим для езды, но теперь этого нет. (Конфуций, Диалоги. XV.25)

Философ сказал: Я не люблю фиолетовый цвет, потому что он затмевает красный; не люблю Чжэн'ский напев (сладоэмоциональный), потому что он нарушает истинную музыку; не люблю говорунов, ибо они губят государство. (Конфуций, Диалоги. XVII.18)

Попробуем и мы внести свою лепту в это кризисное состояние и вернемся на время к Конфуцию. Отметим, что одна из ключевых тем «Диалогов» – свойства человеческого характера. Признаки, определяющие те или иные достоинства, качества. Например:

Цзы-чжан спросил относительно гуманности. Конфуций сказал: Кто в состоянии исполнить 5 (требований), тот будет гуманным повсюду.

Позволю спросить, что это такое? Конфуций сказал: Почтительность, великодушие, искренность, сметливость и доброта. Если человек почитателен, то он не подвергается пренебрежению, если человек великодушен, то он привлекает к себе всех, если он честен, то люди полагаются на него, если он сметлив (умен), то он будет иметь заслуги (успех), если он милостив, то в состоянии будет распоряжаться людьми. (XVII.6)

Фань-чи спросил: Кого можно назвать умным?

Философ ответил: умным можно назвать того, кто прилагает исключительное старание к тому, что свойственно человеку, почитает духов, но удаляется от них.

А человеколюбивым?

А человеколюбивым, сказал Философ, можно назвать того, кто на первом плане ставит преодоление трудного (т.е. победу над собой), а выгоды – на втором. (VI.20)

Но вместе с тем Конфуций подчеркивает, что благородный человек – это не просто некоторая персона (сосуд в храме предков), в которой содержатся все указанные качества.

Здесь возникает ряд проблем, с которыми человечество не слишком хорошо справляется, используя «регулярные науки»: психологию, социологию, философию. Например, какие из этих свойств являются врожденными, а какие вырабатываются воспитанием (в той или иной мере)? Какие из свойств не меняют своей «качественности» при увеличении (например, сметливость), а какие деформируются, приобретают негативные черты при чрезмерности. Нельзя сказать, что таких вопросов слишком много, но они есть. Сложность здесь как в расплывчатости самих понятий, так и в невозможности отчетливо зафиксировать вопрос. Некоторым выходом в этой ситуации представляется использование образной формы при изложении мыслей и утверждений. Например:

Философ сказал: Добродетель не бывает одинокою, у нее непременно есть последователи (соседи). (IV.25)

Это интересное наблюдение. Действительно, если, например, человек вор, то он совсем не обязательно труслив, или глуп, или недобр (по-своему, конечно). Но если человек честен, то он, как правило, и не трус. И не глуп. И искренен. И так далее. То есть добродетели по-своему как бы находятся в родственных отношениях.

Из бесконечного множества разнообразных цветов можно выбрать три (RGB), с помощью которых, смешивая их в нужной пропорции, можно «собрать» любой цвет. Есть ли такой «базисный набор» у человеческих свойств?

«Любезный мой ученик Ю! – говорит философ, – слышал ли ты когда о названиях шести наилучших добродетелей? Также о именах шести слабостей или пороков, помрачающих оные добродетели?» Ученик, встав с места, ответил: нет, еще не слышал.

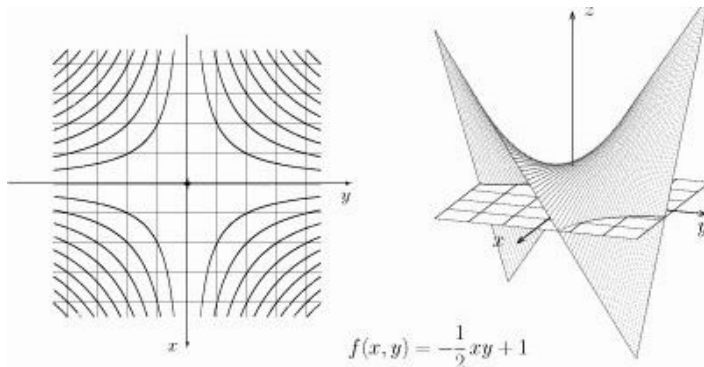
«Итак, постой же, – говорит Конфуций, – я скажу тебе...»

Кодрат Крымский. Изложение сущности конфуцианского учения. Пекин. 1906

«Шесть родственников в раздоре» – шесть добродетелей. Справедливость требует, чтобы все было поровну, а честность хочет сначала провести правильные выборы. Смелость требует гнать всех коррупционеров в шею, а стремление к познанию истины считает, что сначала нужно в спокойной обстановке изучить даосизм. Миролюбие надеется, что все народы станут друзьями, а мужество предлагает готовиться к отражению вражеской агрессии.

Можно объяснить и остальные сентенции указанного абзаца (I.18), но Лао Цзы сказал: *«Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо наполнить».*

Поэтому мы здесь остановимся.



Глава 4. Седло неустойчивости

На рисунке представлен пример поверхности, имеющей седловой характер, и слева – линии уровня этой поверхности. Сама седловая точка вполне неустойчива: если вы положите шарик в эту точку, то он скатится вниз в одну или в другую сторону. Впрочем, если вы поднимаетесь по ребру этой поверхности вверх, то неустойчивость возрастает – удержать шарик на поверхности будет все труднее. Седло и так неустойчиво, но чтобы подчеркнуть это и указать на характеристическое свойство, которое нас будет в основном интересовать, мы будем дублировать этот факт и использовать термин «седло неустойчивости».

Теперь вернемся к «подкове Смейла». Динамика, описанная во второй главе, такова, что каждая точка, остающаяся в «темном» множестве, неустойчива. Точнее, имеет седловой характер. Это означает, что если вы случайно оказались вблизи точки, то через некоторое время вы отдалитесь от нее. Вместе с тем, сама картинка в целом устойчива, как говорят, структурно, то есть если ее немного деформировать, то общий характер поведения не изменится.

Седло неустойчивости является характерным элементом нашего бытия, быть может, даже порождающим. Приведем несколько примеров.

Пример 1. To be or not to be. 1 вариант. *Что выше: Сносить в душе с терпением удары Пращей и стрел судьбы жестокой или, Вооружившись против моря бедствий, Борьбой покончить с ними? Умереть, уснуть – Не более; и знать, что этим сном покончишь С сердечной мукою и с тысячью терзаний...* Здесь мы имеем дело с седлом самого общего характера. Вспоминается *дар напрасный, дар случайный...*

Пример 2. To be or not to be. 2 вариант. Правитель плох. Почему? Да вот так, видение было такое. Что такое хороший правитель, даже теоретически не слишком понятно. Ну а практически выясняется, что правитель вчера замечательный сегодня очень плохой. А другой наоборот. Примеры: Петр Великий и Николай I. Впрочем, и другие. Гамлет – характерный случай. Терпеть – невозможно. Вступать в прямой конфликт – кончится потерей власти, смутой в государстве и приходом иностранного правителя как в России в смутное время. Типичное седло.

Пример 3. Принцип Ле Шателье – Брауна (Википедия): *Если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия (температура, давление, концентрация, внешнее электромагнитное поле), то в системе усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия.*

Для сложной органической системы принцип Брауна остается справедливым. Например, организм здорового человека ведет себя так. Для неустойчивого равновесия, каким является седло, более естественным представляется совет Кенко-Хоси.

Принцип Кенко-Хоси (принцип Ле Шателье – Брауна для седла). *Если социальная система, рассматриваемая в седловом равновесии, находится под внешним воздействием, то волевые усилия следует направить прежде всего на то, чтобы удержать систему в равновесии.*

Пример 4. Альтернатива Китая. Многие страны после революций, войн и просто катаклизмов попадают в седловую ситуацию: либо скатываться в положение стран третьего мира, в значительной степени теряя свою независимость, либо переходить на волевое, достаточно жесткое управление. Для Китая жесткость альтернативы подогревалась памятью о страшных последствиях опиумных войн.

Более ста лет, истекших со времени опиумных войн, Китай подвергался агрессии и унижениям. И только после того как китайский народ воспринял марксизм и твердо вступил на путь, ведущий от новой демократии к социализму, китайская революция увенчалась победой.

Дэн Сяопин. О строительстве социализма с китайской спецификой. 1984

Пример 5. Ледоход. Еврейский вопрос имеет седловой характер. С одной стороны изоляция, цензы, ограничения, с другой еще хуже – ассимиляция, потеря национальной идентичности. Некоторое время назад казалось, что выход – в идее построения национального государства.

С лицом хмурым и злым он доказывал, что история не знает примеров, когда государства создавались бы по заказу...

– История не знает примеров! – саркастически воскликнула Соня. – Какой ужас! История не знает, а мы покажем эти примеры. Вы – рабы, рабы всего, вы рабы в истории. Вы ее рабы, а мы ее повелители. Мы сделаем то, что до нас не делал никто. Мы и истории укажем новые пути!..

Д. Айзман. Ледоход. 1904

Пример 6. Диполь и сложная молекула. Диполь – небольшой кирпичик мироздания. Лейбниц-Вольтер, Данте-Макиавелли, Гоголь-Белинский – эти противостояния как своеобразные генераторы не только полемического задора, но и чего-то большего. Атом есть диполь. Два атома могут вращаться друг вокруг друга. Но взаимное устойчивое расположение нескольких атомов уже сложнее.

Представим себе узкую палку. Человек может удерживать ее в равновесии на кончике пальца, если он при этом совершает рукой небольшие колебания в соответствии с наклоном палки. Атомы удерживают друг друга, колеблясь. Уберите колебания, и молекула распадется. Неустойчивость порождает устойчивость.

Пример 7. Мифы и история. Каждый эпизод нашей истории – миф. Его можно развенчать при желании. Как можно развенчать поступки людей. Проявил мужество на войне – а, просто водки выпил. Решил задачу – а, ерунда, просто повезло. Гений, создал прекрасную музыку – да какой же он гений, это же наш Вася, он в соседнем подъезде живет. Каждый миф римской истории, будь то гуси, спасшие Рим, или поступок Гая Муция Сцеволы – это лишь неустойчивые мифы. Но в целом создающие устойчивую картину. Впрочем, если очень стараться, то можно разрушить и ее.

Пример 8. Двусмысленность как упражнение для толкования. Основные античные китайские тексты своеобразны. Мало того, что сами основные понятия, относящиеся к категории нравственности, являются принципиально «плохоопределяемыми», «дышащими», раздваивающимися, как, например, в случае с глаголом «веселиться». Но еще на это накладываются и проблема перевода, и мистичность самих текстов. Иногда представляется, что двусмысленность допускается намеренно. Последователям предлагается упражняться в толковании тех или иных мест. Например, в разделе I.18 «Дао дэ цзин» (о котором мы говорили в главе «Мораль») говорится о том, что *«появляются человеколюбие и справедливость»*. Это может означать, что ранее не было нужды выделять эти свойства. Как в случае с Адамом и Евой до грехопадения. Они были естественны, как воздух, как земля, как жизнь. Мы ведь не говорим: «появился воздух». Мы об этом скажем только в той ситуации, когда знаем, что бывает, когда воздуха мало.

С другой стороны это же может означать, что в смутное время, когда ориентиры теряются, когда непонятно, что такое хорошо и что такое плохо, все-таки человеколюбие и справедливость остаются теми качествами, на которые люди надеются.

Впрочем, *«знающий не говорит, говорящий не знает»* – сказал Лао Цзы. Поэтому мы сами с сомнением относимся к нашей интерпретации. Но, быть может, позже извлечем из нее какую-нибудь пользу. А пока закончим эту главу в надежде, что стал понятен «хаотический сюжет»: наша жизнь состоит из седел неустойчивости, но в целом она устойчива (во всяком случае, мы на это надеемся).

Глава 5. Малое Дао

Пример малого Дао мы приводили во втором выпуске альманаха «Консерватор» (стр. 106), когда писали о некоторых статьях Свода законов, порождающих соответствующую реакцию общества. Это типично, когда в роли Дао выступают те или иные законы, постановления правительства или налоговые несоответствия. Классический пример: туристам в Египте бросается в глаза, что многие из частных домов даже в столице имеют вид недостроенных, хотя в них уже давно и комфортно живут люди. Экскурсоводы объясняют, что это связано с тем, что если строительство не закончено, то за дом не нужно платить налог. Вот это обстоятельство и порождает не слишком приятный архитектурный вид поселков Египта.

Малым Дао может быть заноза в ноге, которая порождает воспалительный процесс, или черный квадрат Малевича. Это может быть тот, кто положит душу свою за други своя. А может быть тот, кто спасется сам, и тысячи вокруг него спасутся.

Гуляя по Петербургу можно увидеть множество молодых симпатичных лиц. Больше чем в любом европейском городе. Зато в малых городах России, а тем более в деревнях, молодых лиц гораздо меньше. В качестве малого Дао здесь выступают правила поступления в ВУЗы во времена ЕГЭ. Молодежь, окончившая школу, приезжает в столичные города учиться.

Но Дао может «вкладываться» одно в другое как матрешка. Следующее Дао – концентрация ВУЗов в больших городах. Такого количества университетов, как в Москве и Петербурге, нет нигде в мире. Но в то же время и на Западе и на Востоке есть много авторитетных университетов, которые располагаются в небольших городах. На это Дао есть свое Дао и т.д.

Понятие малого Дао имеет непосредственное отношение к социологии и заслуживает отдельного рассмотрения.

Заключение

«Дао дэ дзин» трудное произведение. Читателю, желающему проделать длинный путь через джунгли туманных многозначительностей и двусмысленностей можно лишь посоветовать пробираться своей колесей. Предложенная нами интерпретация не претендует на то, чтобы быть адекватным отражением вложенных в это произведение мыслей и идей. Нам представляется, что само произведение является особым Дао, порождающим своеобразный стиль китайской культуры. Не все, конечно, так считают.

Таков характер китайского народа со всех сторон. Его отличительной чертой является то, что ему чуждо все духовное: свободная нравственность, моральность, чувство, глубокая религиозность и истинное искусство. Император всегда обращается к народу с величием, отеческой добротой и нежностью, но народ всегда проявляет лишь наихудшее

самомнение и считает себя созданным лишь для того, чтобы влачить колесницу мощи императорского величия; отягощающее его бремя представляется ему его неизбежной участью, и ему не кажется ужасным продавать себя в рабство и жить в неволе. Самоубийство как средство мщения, подкидывание детей как обычное и повседневное явление свидетельствуют о недостаточно развитом уважении к самому себе и к людям. И если не существует различий, обуславливаемых происхождением, и всякий может достигнуть высших должностей, то именно в этом равенстве сказывается не признание глубокого значения человеческого достоинства, достигаемое путем борьбы, а низкое самомнение, еще не дошедшее до установления различий.

Г. Гегель. *Философия истории*

На этот пассаж несколько иронично отреагировал Гёте:

– В библиотеке великого герцога, – между прочим, сказал Гете, – находится глобус, изготовленный неким испанцем в царствование Карла Пятого. На него нанесен ряд весьма примечательных надписей, к примеру: «Китайцы – народ, у которого много общих черт с немцами». В былые времена, – продолжал Гете, – африканские пустыни обозначались на ландкартах изображениями диких зверей.

И. Эккерман. *Разговоры с Гёте*

О китайской философии можно говорить долго, но Лао Цзы сказал: «Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру». Поэтому мы заканчиваем этот небольшой обзор, посвященный хаотическому сюжету, порожденному символом инь-ян.

Разве что небольшое добавление. Возвращаясь к введению, заметим, что Запад и Восток воспринимаются в Китае, да и не только в Китае, аллегорически. На Востоке солнце восходит. Это рассвет, утренняя заря. На Западе заходит – вечерняя заря.

Человек отправляется в западную страну и его встречает начальник стражи. Этот начальник стражи присутствует и в европейской традиции, и в греческой. Он есть и у более молодых современников Лао-Цзы – у Пиндара, Эсхила, Еврипида. Зовут его Харон.

А. Л. Неучев

Инь-ян: путь, замес и истина

*Когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимания печать,
Чтоб истину открыто возглашать? Волною моря пена рождена,
И пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина.
Джелаледдин Руми*

Рассуждение о Млечном Пути

Млечный путь можно назвать путем изобилия.

Некогда на евразийской территории жили племена Ариев и их главным богатством были коровы и главным продуктом питания молоко. Башкиры изготавливают из молока «корот» – твердый продукт, который годами не теряет своих питательных свойств. Путешественники и воины имели обыкновение брать его с собой в путь. Молоко по-башкирски (и по-татарски) – сет.

Исида (Исег), Хатхор (египетская богиня веселья и счастливой судьбы) и Ио (возлюбленная Зевса, мать Эпафа, первого царя Египта в греческой мифологии) принимают образ коровы.

У египтян богиня неба Нут также изображается в виде коровы. Она несет на себе лады всех богов. Она рождает золотого теленка – солнце. За день он вырастает до быка. Потом этот бык оплодотворяет Нут и у нее снова рождается теленок-солнце. Отсюда выражение: бык своей матери.

Реминисценциями этого эпизода являются: история рождения Минотавра на Крите, история похищения Зевсом-быком Агеноры (она же Европа) и рождение Миноса, Сарпедона и Радаманта.

Крылатый бык сопоставлен и евангелисту Луке. Этот же бык изображен, например, на иконе «Неопалимая купина».

Не имея возможности время от времени всматриваться в Млечный путь, человечество потеряет и путь спасения.

Рассуждение о Пути и Спасении

Во времена Тимура жили так называемые «хуруфиты», создавшие учение, называемое «хуруфизмом». По их представлениям путь спасения состоял из трех частей, трех этапов:

Первый – прорицание, предвозвещение или исповедание. (См. Псалом 103 в старом изд.) Этот этап завершил Мухаммат (Магомет).

Второй этап – божественное покровительство. Называется он Валайат. Это слово имеет прямую связь с названием реки «Волга». И с образом серого волка в сказке об Иване-царевиче. Этот волк и осуществляет божественное покровительство.

Божественное покровительство пресуществляет в себе лидер. В буддизме, например, это Боддхисаттвы (Сатья – истина, санскрит). В исламе это шиитские имамы. Им присущ «нетварный свет», нетварная божественная световая субстанция, позволяющая им видеть путь (путь познания, путь спасения). В суфизме это шейхи. Все эти люди обладают одним характерным свойством.

Третий этап – боговоплощение. Он представлен Христом. Однако в Старом Царстве в Египте боговоплощением был царь.

Божественное покровительство пресуществляют в себе художник и искусство. Слово «художник» происходит от термина хуруфитов, слова «худа» со значением «плоть». Художественный образ олицетворяет, несет в себе представление об абстракции, дает представление об инварианте, о неизменной закономерности. Поэтому искусство и происходит от слова «поиск». Впрочем, есть и другой вариант толкования – от слова «искушение». Он тоже имеет право на жизнь. Таким образом, одна из ролей, которые играет искусство, состоит в том, чтобы освещать путь, другая – в том, чтобы, искушая, уводить с пути. То есть искусство с корнем «поиск» освещает путь, искусство с корнем «искушение» уводит с него. Выбор делает сам человек.

Представление о выборе, которое делает человек, отрефлектировано искусством, например, в картине Лионара «Шоколадница», находящейся в Дрезденской галерее.

Рассуждение о Морском Пути

Аллегория мореплавания как пути возникла, по-видимому, давно, но впервые у суфистов она приобрела отчетливые очертания. Например, мы можем найти ее на картине Жана Лиотара, изображающей суфия в синем халате, стоящего рядом с суфийскими символами на берегу моря. Корабль суфизма – созвездие Арго, расчлененное в 1922 году Международным астрономическим союзом на набор созвездий с другими именами.

В одно множество с образом корабля входят: сундук, в который были заточены Персей и Даная, бочка сказки о царе Салтане, корзинка царя Саргона I, корзинка младенца Моисея, преодоление евреями моря, соединившее целый народ со знанием неизреченной истины как залогом господства над миром.

Аналог суфия, изображенного Лиотаром, – князь Гвидон в сказке о царе Салтане. Корзинки младенцев Саргона I и Муссы, в которые их помещают матери, – аллегии соединения их пути с промыслительным началом, с исходной функцией началообразования. Представление о ней оформлено, в частности, в группе звезд созвездия Орион, Сириусе (звезде Исиды) и Альдебаране.

В русской речи существует выражение: «Ведуны обилие держат».

Рассуждение о Инь-ян

Инь и Ян мне больше нравятся как замес, зачин, закваска. Вижу в этом предсказуемую устойчивость по природе, не по Ляпунову.

Дао, дхарма, пустота, Океан, первозданный свет – всё отображения представлений об одном. Представление о Дао полно отображено всем ландшафтом и людьми на обложке выпуска 5 альманаха Консерватор. Путь там конкретно – река. Река же и Океан. И у Гомера на щите Ахилла, и у египтян прежде него. И на Руси путь – прежде всего река. Не дорога.

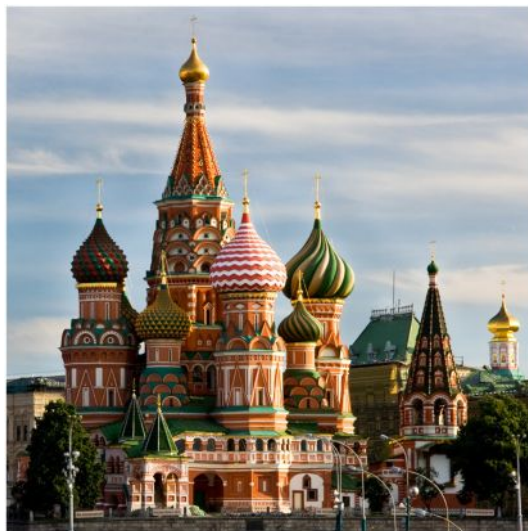
Образы, связанные с Тайцзи - конёк крыши и наследник престола. То и другое – место перехода. Как и звёзды пояса Ориона, общие для его двух трапеций.

Летела Пава, села на пале, рассыпала перья по всему полю. Тоже отображение представлений о порождающей функции. О концепции. О замесе содержания будущего.

Про минимум – важное наблюдение. Даже чтобы шарик здоровья в этой точке удерживать, нужны осмысленные усилия.

Игумен Вениамин
РУССКАЯ ИДЕЯ ИЛИ РУССКИЙ ВОПРОС?

Перепечатка из журнала «МѢра №3 1995»



По определению В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева, "русская идея" – это замысел Божий о России. Существует библейское понятие богоизбранности (относительно израильского народа), и теоретически нельзя отвергать возможность избрания Богом какого-то народа для той или иной роли в истории. Отрицать это – значило бы превышать свои полномочия и ограничивать Божественную свободу. Но мы не можем знать этого замысла во всей полноте – это знает только Бог – и поэтому разумнее всего предполагать, что он, в конечном итоге, не отличается от аналогичных замыслов о других народах, ибо "Бог хочет, чтобы все люди спаслись" (1 Тим. 2, 4).

Сокровенным смыслом "русской идеи", да и просто говоря, "русскости" является так-же представление о каких-то особенных отношениях русских людей с Богом. Что, несмотря на все внешние неудачи и даже грехи, мы "свои" у Бога, Который нас, в конечном счете, простит и спасет. Евангельские образы бедного Лазаря и благоразумного разбойника глубоко запали в душу русского человека, который стал откладывать настоящее покаяние к концу своей жизни. На Руси, как известно, бедность не рассматривалась как порок, и даже наоборот, более сочеталась с евангельским идеалом, чем богатство. Христианский парадоксализм, накладывающийся на фольклорный поведенческий стереотип Иванушки-дурачка, наследующего полцарства, находил свое выражение и в многочисленных юродивых. Интересно заметить, что русские летописи содержат подробные описания поражений русских в войнах и краткие неакцентированные упоминания о победах, что говорит об отсутствии тяги к языческому триумфализму. Все "внешнее" стало казаться вообще не столь важным по сравнению с "внутренней" правдой. Такое мировосприятие формировало представление о Руси как Святой. "Православие" (истинная вера) утверждало такое самосознание как аутентичное.

После падения Иерусалима и Второго Рима – Константинополя представления о святом Граде" и "Святой Земле" исторически переносятся соответственно на Москву и на Русь. Огромные размеры страны расширили сознание русских, неся с собой и опасность лжеуниверсализма, когда вместо Царства получалась Империя. Достоевский в своей знаменитой "Пушкинской речи" говорит об особом универсализме русского человека, называя его "всечеловеком". Такая самооценка звучит очень претенциозно, и в незрелом сознании ответственность, предполагаемая ею, легко переходит в чувство избранности. Много раз говорилось о некотором, конечно, не полном, параллелизме между русской и еврейской историями: великие мессианские залогов в начале, драматические отпадения и возвращения к Богу, разрушение храма (в России Иерусалимскому храму как бы соответствует храм Христа Спасителя), 70-лстний вавилонский плен (в России – коммунистический), период рассеяния (в России – нынешняя открытость границ и выезд части интеллектуально дееспособного населения), общий кризис самосознания, вызванный исторической неудачей. Таким образом, эти народы осознают свои исторические пути как "священные истории".

Конечно, русский народ исторически более молодой; Россия, включая в себя многие народы, находится между Востоком и Западом, что ставит

большую проблему перед самосознанием нации. Как писал Бердяев, "русский человек пал жертвой своих пространств". Необъятные, необозримые просторы страны приводили к утрате ощущения любых ограничений. Конечно, как понимал и Бердяев, много писавший о противоречивости национального характера русских, не все сводится к геополитике, и мучительный вопрос остается: как произошло, что вместо "Святой Руси" образовалось первое в мире атеистическое государство и рассадник коммунизма?

Произошла чудовищная подмена. Царству Божию стало соответствовать в новой антирелигии "светлое будущее", богоизбранному народу – пролетариат, священству – партия, Соборам – партийные съезды, первородному греху – постоянное чувство долга и вины перед системой, как бы свыше выдающей пайки "не по заслугам"; соборность, воспетая А. С. Хомяковым, окончательно вырождается в принудительный безличностный коллективизм, развивается своеобразный аскетизм (нехорошо быть богатым), появляются новые "мощи" (на Красной площади), а вместо алтарей и икон – "красные уголки" и портреты новых "жрецов" по всей стране; "Святая Русь" трансформируется в новое неповторимое качество – "первое в мире социалистическое государство", выполняющее мессианскую роль провозвестника "новой жизни". Весь мир манихейски делится на две части: по ту и по эту сторону "железного занавеса". Христианский антиномизм и разведение в разные стороны понятий формы и содержания (сатана может явиться в облике "ангела света") сменились "коммунистической диалектикой", позволяющей "доказывать" все, что угодно (что черное – это белое и наоборот, причем по многу раз, в зависимости от "исторических обстоятельств"). Это позволило создать новую инквизицию и "выявлять" в любом месте любое количество врагов (бесов), в том числе, и потенциальных. Вместо чудес ожидается актуализация обещанного царства "здесь и сейчас". Христианский универсализм заменяется интернационализмом. А вместо Бога появляется "историческая неизбежность коммунизма". Православие как истинное христианство было заменено "единственно верным учением" марксизма-ленинизма.

Очевидно, что это была "религиозная" программа спасения. Но "Третий Рим" почему-то стал быстро трансформироваться во вторую Вавилонскую башню, на этот раз не из камней, а из новых социальных теорий, на ином, так сказать, метафизическом уровне. Началась грандиозная реализация "проекта Великого Инквизитора "из Достоевского", вскоре обернувшаяся всеобщим концлагерем. Коммунизм явился дьявольской имитацией христианства. Виновата ли само православие в такой подмене? Виноват ли "ангел света", что сатана может явиться под его видом? Но если об "ангеле света" как таковом мы знаем очень мало, то о национально-исторической религиозности – гораздо больше и, к сожалению, здесь можно разглядеть нечто, способствовавшее этой грандиозной фальсификации. Прежде всего, это установка на массовое, недифференцированное сознание. Этому способствовала и ставшая его отличительной чертой знаменитая "соборность": православию и есть наш русский социализм (Достоевский).

В хомяковской "соборности" ничего плохого, конечно, нет, но она все-таки предполагает некое духовно-мистическое единство развитых личностей, без которых она оборачивается первобытным коммунизмом, что и произошло. Большинство русских людей не заметили дьявольской подмены, слова-то остались те же, христианские, о братстве, справедливости, равенстве. Духовного зрения явно не хватило, снова сказалось и традиционное отсутствие критического мышления. Само понятие Православия в сознании народа было равносильно истине в конечной инстанции, истине в готовом виде и что самое страшное – истине официальной. А развитая внешняя явленность, эстетическая насыщенность православия (вспомним знаменитый "выбор веры" из Повести временных лет) легко переходила в элементарное обрядоверие, ритуальный мистицизм. "Умозрение в красках" (Е. И. Трубецкой) не смогло заменить богословия в мыслях, которого явно не доставало..

Обрядоверию всегда противостояло мистическо-харизматическое направление, претендующее на непосредственное общение с Божеством. Но внутри официальной церковности ему не находилось места, и его лидеры уходили в секты, где и терялись в хлыстовской стихии.

Противоположным полюсом обрядоверию мог бы явиться философский трансцендентализм, но поскольку схоластики (т. е. школы мышления) не было, то этим зримым полюсом стало монашество как истинное христианство. Эти два полюса (бытовое православие и монастыри) не так уж противостояли друг другу, сливаясь в том же обряде, дающем до сих пор монастырскую структуру. Православие, как известно, носит в целом монашеский характер. Вся Россия – большой монастырь, писал Гоголь. Здесь сказалось и влияние восточной духовности в форме манихейского иранского дуализма, при этом не столько философско-онтологического, сколько – психологического. Это приводило к неразличению никаких цветов, кроме черного и белого, что, в свою очередь, очень устраивает инфантильное, не желающее разбираться в сложностях жизни, мышление. Таким образом, "середина", а значит, земная жизнь рассматривалась лишь как средство для подготовки к какой-то иной жизни, которая терялась в мареве богослужения.

Самым сложным был и остается вопрос о взаимосвязи этих двух реальностей: Божественной и человеческой. При одностороннем взгляде, разделении только на черное и белое система, выражаясь техническим языком, становится крайне неустойчивой, и от "если Бога нет, то все позволено" к "если Бог есть, то все позволено" переход может быть очень быстрым, как и от обрядоверия к атеизму. Если для первого высказывания важно отсутствие "Страшного суда", то для второго – ощущение эфемерности земной жизни, лишенной даже относительной самооценности. Ясно, что само понятие "Бог" (есть Он или – нет) при этом трактуется очень упрощенно, как объект, обладающий определенными свойствами. "Апофатическое богословие" остается лишь красивым выражением, а вкус к истине, правде как сути религии не развивается, и подлинного расширения знания не происходит. Даже наоборот, идеология делает его нетерпимым, зауженным.

Реальной противоположностью обрядоверию официальной религиозности

стал в действительности атеизм практический, на уровне бытовой психологии, и теоретический – в образованных кругах. И никакая эзотерическая философия имен и символов, никакой запоздалый неоплатонизм Флоренского, никакое философско-религиозное возрождение не смогли предотвратить случившегося. Атеизм показался чуть ли не откровением для знаменитого русского "онтологического интуитивизма", обернувшегося инфантилизмом, уповающим на психологическую очевидность, непосредственность восприятия. Атеизм, с богословской точки зрения, и является гипертрофированным апофатизмом, качнувшимся как маятник от излишней явленности обряда – в отрицание любой неявленности, то есть Бога. Не пройдя школы критического мышления, русское сознание бросилось к очередной "жар-птице" как к "единому на потребу" Сказалась и жажда чуда.

Сейчас, как может быть никогда в истории, русское самосознание переживает острый кризис. Формула "Православие, самодержавие, народность", пройдя коммунистическое преломление (справедливость, социализм, советский народ как новая историческая общность) рушится теперь уже действительно "до основания". Синкретизм религиозности, национальности и государственности болезненно изживает себя. Как культурный феномен эта триада вполне могла бы существовать, но ведь русское идеологизированное сознание не удовлетворяется "срединностью" культуры.

В наши дни, как и вообще в периоды кризисов, вскрываются те болезни, которые привели Россию к катастрофе 1917 года: антиперсоналистический коллективизм (неощущение того, что человек сотворен по образу и подобию Божию), подмена православия лишь одним его аспектом – внешней стилистикой византийского богослужения, желание искать легкие ответы на трудные вопросы. Оказалось, что можно верить в православие и в русский народ и не верить в Бога (как это было с Шатовым в "Бесах" Достоевского). Даже сегодня можно наблюдать, как вчерашние коммунисты-атеисты вдруг становятся "православными", понимая под православием прежде всего патриотизм, идеологию национального единения. У православных же коммунисты также вызывают меньшее отталкивание, чем, например, западные христиане-"еретики". Проще верить в родину, народ, чем в Бога.

Понятно, что в условиях рассыпания государственности действует инстинкт самосохранения нации. Но очень важно, чтобы этот инстинкт проявлялся не столько на психо-физическом уровне, сколько на духовном: Правда Божия превыше всего, хотя она подчас не выражается в столь явном виде, как лозунги новых "патриотов". Отсюда, конечно, не следует, что православие не имеет культурно-исторического значения для России, но это его значение можно трезво оценить только в свете веры Христовой.

Новая демократическая реальность оказалась совершенно непривычной русскому сознанию, хотя для демократии и существует богословское соответствие в виде той же "соборности", как такого благодатного единства (собрания), которое не подавляет личность. Но хомяковская "соборность", к великому сожалению, так и осталась на архаическом уровне синкретически-мистического онтологизма, нечувствительного к социальной реальности. А демократия – это прежде всего функциональное понятие – это то, что работает.

До сих пор считается, что политической проекцией православия является монархия во главе с "отцом отечества". При этом забывают, что монархия как раз более присуща язычеству с его представлением о Боге как об "объекте", которому должен соответствовать единый объект" на земле – монарх. Забывают, что монархия – типично языческое государственное устройство. Желание израильского народа иметь царя рассматривается в Библии именно как отпадение в язычество (1 Царств, 8).

Основная ошибка славянофилов в том, что они мыслили в категориях родо-племенного семейственного сознания, уповая не на "скучный закон", а на "любовь". И действительно, что может быть лучше, когда все отношения построены на совести и на любви, как в хорошей дружной семье. У этого проекта, как и у всех других утопических проектов, есть один существенный недостаток: он нереализуем на социальном плане. Идеалы, конечно, нужны, как путеводные звезды, но есть вполне определенная граница между утопией и реальностью, и существуют вещи, о которых можно только молиться.

Западники мыслили не только в категориях "должного", как славянофилы, но и в категориях "возможного", и думали, что будет с "семьей", если отношения в ней испортятся и "любовь" уступит место "закону": каким образом могут быть соблюдены элементарные права членов семьи, если "отец семейства" разбушует?

Благодушная неадекватная наивность славянофилов, не видевших принципиальной границы между "должным" и "возможным", не имела иммунитета против будущего терроризма большевиков, теоретически "оправдавших" его с помощью ставшего к концу XIX в. атеистическим западничества. Здесь опять очень "помогло" черно-белое идеологическое мышление. "Ради пользы дела все дозволено", – вот наукообразная подоплека происшедшего. Крайности выродившихся славянофильства и западничества породили удивительное сочетание архаизма и модернизма в русской революции. В конечном итоге, все это обернулось угрюмым централизованным феодализмом. Причудливым образом снова выросла сакрализованная политическая "египетская пирамида" – монархия во главе с главным "мистом" – генсеком (хранителем секретов).

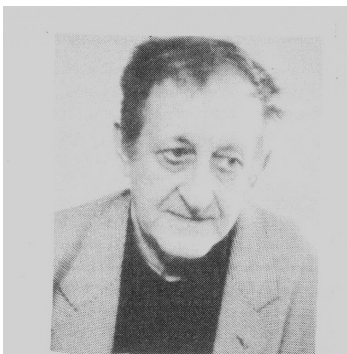
Большой загадкой остается падение коммунизма. Ясно, что это произошло не в результате какого-либо давления извне или изнутри, или того, что кто-то в правящей элите что-то вдруг "понял", абсурда всегда было более, чем достаточно, и не в итоге проигранной гонки вооружений (чувство реальности давно было утрачено, тем более, что безбедное существование, как минимум, на десяток лет было обеспечено, а о большем уже не задумывались); и не в результате давления "снизу" или со стороны диссидентского движения: в сакрализованной иерархической системе любые изменения возможны только по инициативе "сверху". Может быть, наиболее вероятной причиной, с рационалистической (прозаической) точки зрения, явилось желание парт-кратии "отмыть" капиталы и пожить не на пайках (даже очень хороших), а более свободно. И все же крах системы был неожиданным, она как бы "посыпалась" при всей своей военной мощи и всепроникающей внутренней полиции, еще вчера, казалось, способной сломить любое число "неудовольных". Очевидно, постепенно накопились такие изменения в сознании людей (хотя

большая их часть продолжала безмолвствовать), что дальнейшее существование системы стало невозможным. И вторая Вавилонская башня (символ гордыни людей, желающих устроиться без Бога) разрушилась, как и первая – по воле Божией.

Бессилие системы особенно наглядно проявилось в августе 1991 года, когда армия не смогла подавить демократического противостояния. Тогда впервые, может быть, за многие века повеяло свободой. Приоткрылись те источники жизни, которые даются только свободой. Но этого хватило лишь на неделю. Эйфории после победы оказалось недостаточно для реальных преобразований. Нужны были постоянные усилия, в том числе и со стороны избирателей, по развитию правовых, законных начал в государстве, но все свелось опять к старой схеме, к номенклатурно-кабинетным играм. Народ слишком быстро "устал от политики". Сказалось отсутствие традиций политической жизни, желание отдать власть кому-то наверху, непонимание того, что "хорошим" может быть только правительство, находящееся под постоянным контролем "снизу". Наступило очередное "смутное время". Почти бесконтрольное растаскивание собственности, вдруг оказавшейся ничьей, назвали "приватизацией". Злоупотребления списали на неизбежный "период первоначального накопления капитала" – "Если есть теория, то все дозволено"? Страна все чаще напоминает "зону", вдруг оставшуюся без охранников, где начались "разборки" между заключенными. По принципу "перевертышей", характерному для русской истории, в октябре 1993 года обитатели "Белого дома" оказались уже не "демократами", а "красно-коричневыми", но победа обернулась общим поражением, это уже не была победа демократии, как в августе 1991 года.

Старый спор между славянофилами и западниками не закончен. Вопросания и утверждения Чаадаева и Хомякова ждут ответа. Продолжается противостояние между "патриотами" и "демократами". Демократия часто понимается как вседозволенность, анархия, и действительно кому-то удобно воровать при этом. Настоящего вкуса к демократии, правам, свободам, закону оказалось очень мало. Мало кто готов повторить известные слова Вольтера: "Я не согласен с вашими убеждениями, но отдам жизнь за ваше право их высказать". Несмотря на возросшую преступность, в духовном смысле стало намного свободнее. Практически петь цензуры. Но это ли победа "общечеловеческих ценностей"? Отчасти, конечно, да, но национальный дух, не прошедший школы возрастания и самодисциплины, по-прежнему неустойчив, слишком "душевен", опять шарахается из одной крайности в другую. Будем надеяться, что знаменитая русская открытость поможет действительной "перестройке" сознания, выработке его новой идентичности.

Православию, если оно хочет стать духовной доминантой в России, предстоит осознать свою историческую ответственность за то, что произошло со страной, невозможность простой реставрации, возвращения назад, ему предстоит развить социальную доктрину, осмыслить всю полноту современной жизни, научиться жить в обществе уже необратимого мировоззренческого разнообразия, и что самое важное – вновь и вновь ощущать потрясающую новизну христианства, сияющую сквозь века истории.

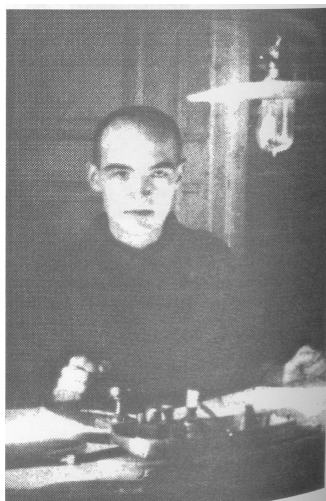


Ковтун Евгений Федорович родился в 1928 г. Окончил кафедру истории искусства ЛГУ и аспирантуру. Работает в Русском музее ст. н. сотрудником. Занимается русским авангардом. Под его редакцией вышел ряд книг, в частности: «Авангард, остановленный на бегу», «Книги русских футуристов», «Велимир Хлебников и художники».

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ

От веры к атеизму

Материалы к биографии
художника



Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать и, следовательно, невозможно самое понятие культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму.

П. А. Флоренский

Почти все крупные мастера русского авангарда оказались причастны к философско-духовным исканиям начала века.

Главная книга Кандинского "О духовном в искусстве" (1912) основана на фундаменте теософских идей.

Образы В. Чекрыгина родились на почве религиозной философии Н. Ф. Федорова.

Творчество Елены Гуро пронизано идеями буддизма, которые она пыталась соединить с христианской традицией. Образ Бедного Рыцаря, героя ее главного произведения, приносящего себя в жертву людям, уподоблен Христу. Предсмертная запись в дневнике (1913) не оставляет сомнений в том, что Гуро стремилась уйти от мистических учений Востока и вернуться в лоно христианства: "Все отдаю Тебе в (чистые), теплые, верные руки, Христос".¹

Возврат к религиозным истокам часто был мучителен, путь извилист и нередко заводил в тупик.

Среди ранних работ Малевича есть малоизвестный исследователям триптих 1907 года – эскизы для фресковой живописи – исполненный темперой. Центральный картон – это портрет молодого Малевича в окружении склоненных перед ним фигур с нимбами. За этим самообожествлением, подменой Бога сверхчеловеком-творцом стояло определенное отношение к миру как к неудачному, несовершенному творению, которое следует переделать. Малевич не отрицал Бога, но боролся с ним как библейский Иаков.

Малевич не был одинок в этой позиции. В 1906 году в Москве состоялась выставка "Общества имени Леонардо да Винчи". В предисловии к каталогу выставки поэт Виктор Гофман писал: "Но искусство не только равно миру – оно прекраснее мира. Мир не удался, и сам Бог в образе дьявола свистит провалу своего мироздания. Искусством мы исправляем мир, создаем другой – совершенный. В этом – наше высшее богоборчество".²

Под этими словами мог бы подписаться и Малевич. Все его творчество, особенно супрематический и постсупрематический периоды, он мыслил как "поправку" к библейским дням творения. В 1922 году Малевич издал в Витебске книгу "Бог не скинул. Искусство. Церковь. Фабрика", в которой он раскрыл эти "поправки", нарисовав свою версию сотворения мира.

Как известно, в созданном им мире Бог установил одно ограничение, один запрет для Адама и Евы – относительно яблока с древа познания добра и зла. Но Он не хотел принудительного послушания и сохранил для первых людей возможность выбора, свободу действия, свободу воли. Вот здесь-то Малевич

и усмотрел ошибку мироздания. "Если бы Бог построил в совершенстве систему, – замечает он, – не согрешил бы Адам". "Вся ошибка в том, – продолжает художник, – что в системе был установлен предел. Система, не имеющая предела, не имеет дефектов".³ И Малевич дает ее определение: "Совершенство системы означается тем, что всякая единица, получая свободное движение, не испытывая давления, все-таки не может выйти за пределы системы".⁴

Вот такую систему, своего рода "супрематическую вселенную", и строил Малевич на протяжении всей жизни.

Нет сомнения в том, что крестьянские циклы Малевича, и ранний, дореволюционный, и поздний, опираются на традицию русской иконы, но есть в этих явлениях существенное различие. Иконописец воссоздает не лицо, а лик – просветленное, сущностное изображение лица человека, так сказать, надличное или сверхличное изображение лица. Онтологическая свобода, свойственная человеку, сохранила ему в иконе лик и индивидуальность. У Малевича слишком мало лица, чтобы создать лик, и слишком много лика, чтобы получилось лицо. В созданном им строго детерминированном мире не может быть грехопадения, так как ни один элемент, в том числе и человек, не может выйти за пределы системы, но нет и свободы воли, без чего нет личности, индивидуальности. Нет Ада, но и Рай не получился. *За совершенство, в фундаменте которого не заложена идея свободы, приходится расплачиваться.* Я уже говорил, что Малевич, подобно Иакову, боролся с Богом, но Бог его победил. Поправка к дням творения оказалась неудачной.

Чувствовал ли это Малевич? Не только чувствовал, но в его творчестве заметны определенные сдвиги. Он сдает позиции богоборчества. С 1920-х годов, нарастая к концу жизни, в работах художника возникают и развиваются элементы христианской символики, прежде всего изображение креста. Он продолжает писать крестьян с белыми лицами, но иногда совершает над ними своего рода обряд крещения, ставя кресты, причем православные, на лбу, на руках и ногах – как это происходит при настоящем крещении.

Богоборческой позицией отмечено и все творчество В. Хлебникова, поэта, во многом близкого Филонову. В апреле 1922 года поэт написал несколько строк, совершенно загадочных па первый взгляд: "Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это вера 4-х измерений, изваяние из сыра работы Митурича". Отгадку подсказал М. П. Митурич. Оказывается, 3 апреля Митуричи праздновали "бюджетляскую Пасху", на которую был приглашен поэт. "Изваяние из сыра" – это Пасха. Сохранилась и деревянная форма – пасочница, на трех сторонах которой Митурич вырезал символы буддизма, христианства, мусульманства, а на четвертой – двойки и тройки среди ветвей, символ бюджетлянской "веры четырех измерений", поставив ее в один ряд с мировыми религиями.

Двумя годами раньше было написано стихотворение "Единая книга", остро выразившее богоборческую позицию поэта:

"Я видел, что черные Веды,
 Коран и Евангелие
 И в шелковых досках
 Книги монголов
 Из праха степей,
 Из кизяка благовонного,
 Как это делают
 Калмычки зарей,
 Сложили костер
 И сами легли на него –
 Белые вдовы в облаке дыма скрывались,
 Чтобы ускорить приход
 Книги единой [...]
 А на обложке – надпись творца,
 Имя мое, письма голубые".^{<6>}

Мировые религии добровольно сжигают себя, чтобы ускорить приход "книги единой". Хлебниковед В. Н. Григорьев приводит важные отрывочные записи поэта, подтверждающие атеистический оттенок его богоборчества: "Мир есть естественный ряд чисел и его тень. Мера победившая веру". "Вера в сверхмеру – Бога сменится верой как сверхмерой. Мы богомеры".⁷



П. Н. Филонов. Тайная Вечеря. 1920-е гг.

Хлебников приходит к выводу, который есть человекобожие. "Собрание свойств, – отмечает он, – приписывавшихся раньше божествам, достигается человечеством изучением самого себя, а такое изучение и есть ничто иное, как человечество, верующее в человечество".⁸

Совсем иную позицию занимал тогда П. Филонов. Его манифест 1914 года начинался словами:

"Цель наша – работать картины и рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и рисунке – это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу".⁹ Нет сомнений в том, что Филонов в те годы был верующим человеком. Так было и сразу же после революции. П. Мансуров рассказывал, что он бывал дома у Матюшина, когда тот, Филонов и Малевич вели разговоры на мистические темы. Когда приходил материалист Татлин, они меняли тему разговора.

В юные годы Филонову приходилось работать в иконописных мастерских, он знал досконально иконописную технику, сам писал иконы. Сейчас известна лишь одна икона, написанная Филоновым. Ее обнаружил в Париже Дж. Болт в семье Екатерины Николаевны, сестры Филонова. Это Св. Екатерина; можно догадаться, что она была написана для старшей сестры.¹⁰ Нам сейчас трудно судить о степени религиозности семьи Филонова, но вспоминаю, что у младшей сестры его, Евдокии Николаевны Глебовой, в комнате висела икона, и это после десятилетий религиозного террора.

В 1911 году Филонов побывал на Старом Афоне, совершил путешествие в Палестину, получив паспорт паломника. Известен ряд работ, исполненных во время этого путешествия: "Палубные пассажиры", "Торговка на берегу", "Перс", "Паломники".

Глубокий интерес и внутренняя потребность привели Филонова к созданию произведений на темы Ветхого Завета и особенно Евангелия. Первые из них появились в 1912 – 1913 году – после паломничества по Святым местам: "Авраам и странники", "Адам и Ева", "Пасха", "Поклонение волхвов", "Бегство в Египет". Одну из самых духовно-глубоких работ – "Святое семейство" – он написал в 1914 году, вслед за нею возникли акварели "Св. Георгий Победоносец", сравнимый по тонкости акварельного мастерства с врубелевскими работами, и "Мать" с благословляющей фигурой святителя на заднем плане.

К числу замечательных работ евангельского цикла нужно отнести "Поклонение волхвов" (1913), написанное темперой. Филонов только в общих чертах следует евангельскому тексту: "Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели Младенца с Мариною, Матерью Его, и падши, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и мирру". (Матф., 2: 9–11). Нет у Филонова ни дома, ни традиционных яслей: крупным планом он рисует молящуюся Марию с младенцем на коленях, слева верхом на конях приближаются волхвы. Насыщенная глубоким цветом живопись, исполненная свободным широким мазком, лишь местами обнаруживает воздействие аналитического метода.

Тексты Филонова позволяют понять, как много значила для него русская икона. Как вершины мирового творчества он называет в манифесте 1914 года национальные ценности: "дивные храмы, искусство кустарей и иконы".

Нет у Филонова прямых иконных "цитат", как у К. Петрова-Водкина или у Л. Чуятова, однако вся ранняя живопись художника насыщена иконными ассоциациями – в композиционных ритмах, в жестах персонажей, в организации и гармонизации цвета. Таков "Георгий Победоносец" 1915 года. Образ человека в лучших работах Филонова как бы "пропущен" сквозь иконную одухотворенность. "Художники русского модернизма глубоко осознавали семивековое иконописное наследие, и их понимание роли художника в обществе и природы его творчества были отчасти продолжением этого культурного опыта".¹¹

Сама концепция человека – чистого, цельного, благородного – своими корнями связана у Филонова с традицией древнерусской живописи. Человек – центр мироздания, образ и подобие Божие – такое ощущение вызывают "Святое семейство" или "Мать". Иконной истовостью отмечено лицо "Победителя города", и даже в позднем "Колхознике" (1931) улавливается внутренняя связь с той же традицией. Как и иконописцы, Филонов часто стремится писать не лицо, а лик человека.

Все 1910-е годы Филонов работает над циклом картин и рисунков, связанным внутренним единством, – это "Ввод в мировой расцвет". Центральным холстом цикла было "Святое семейство" – вершина филоновского творчества в предреволюционный период. Он писал эту картину на даче в Шувалово, и А. Крученых, навещавший Филонова, оставил важные заметки о процессе работы художника:

"Помню, летом 1914 г. я как-то зашел к нему на "дачу" – большой чердак. Там среди пауков он жил и работал.

Окном служила дачная дверь. На мольберте стояло большое полотно – почти законченная картина: "Семейство плотника". Старик с крайне напряженным взглядом, с резкими морщинами, и милостивая, яйцо-видноголовая молодая женщина с ребенком на руках. [...] Писал все это Филонов в натуральную величину, но без натуры.

Больше всего заинтересовал меня на первом плане крупный петух больше натуральной величины, горевший всеми цветами зеленоватой радуги. Я загляделся.

Зайдя на другой день к Филонову и взглянув на эту картину, я был поражен: зеленый петух исчез, а вместо него – весь синий, но такой же красочный и торжественный, выписанный до последнего перышка. Я был поражен.

Захожу для через три – петух однообразно медно-красный. Он уже тусклее и грязнее. Я обомлел.

– Что Вы делаете?– обращаюсь к Филонову.– Ведь первый петух составил бы гордость и славу другого художника, например, Сомова. Зачем Вы погубили двух петухов? Можно было писать их каждый раз на новых холстах, тогда сохранились бы замечательные произведения.

Филонов, помолчав, ответил: – Да... каждая моя картина кладбище, где погибает много картин. Да и холста не хватает.

Я был убит".¹²

В образе Марии отчетливо выступают черты молодой Ольги Константиновны Громозовой, будущей жены М. Матюшина.

Филонов познакомился с нею на последней выставке "Союза молодежи" в 1913 году, где отдельная комната была отведена посмертной экспозиции Елены Гуро. Ольга Константиновна рассказывала автору этих строк, что она, стоя на стуле, пыталась дотянуться до гвоздя, как вдруг чья-то рука перехватила картину и повесила ее. Это был Филонов, отличавшийся высоким ростом. Мансуров писал: "Филонов был к ней тоже идеально равнодушен. И на многих его композициях женщины с лицами и особенно глазами Ольги Константиновны".¹³

"Святое семейство" – воплощенная гармония людей, животных и растений, выраженная художником в своем "мировом расцвете" как цель, к которой должны стремиться люди. Филонов создает свою социально-художественную утопию о братской и справедливой жизни людей на земле.

Этот "расцвет" он мыслит как предстоящий, хотя образы его картин и акварелей часто несут черты архаики.

Благородная голова чуткого коня равноправно присутствует в картине Филонова как знак глубокого сочувствия художника животному миру, как символ братского единения всего живого. То же отношение, что и у Елены Гуро, писавшей: "Вот у возовой лошади добрые умные глаза и ноздри милые, а никто не замечает ее милости и красоты – на нее всю жизнь ее просмотрят нелюбящими глазами".¹⁴ Но вот Филонов и Гуро заметили. То же трогательное отношение к коню было и у Велимира Хлебникова:

*Но так приятно целовать
Копыто у коня:
Они на нас так не похожи,
Они и строже и умней,
И белоснежный холод кожи,
И поступь твердая камней.*¹⁵

За двести лет до Филонова и Хлебникова Гулливер, покидая страну разумных и благородных коней, говорит: "Я вторично простился с моим хозяином; но когда я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыто, он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам".¹⁶

Когда произошел перелом, трудно сказать, но уже с начала двадцатых годов в мировоззренческой позиции Филонова возникают атеистические мотивы, которые достигают апогея к концу десятилетия. Гуманистическая утопия "Ввод в Мировой расцвет" разбита, и художник больше к ней не возвращается. Жизнь, по-видимому, не давала импульсов для ее продолжения. Революция совершилась, но мечта о счастливом будущем человечества, которого ждет "Мировой расцвет", ничуть не приблизилась к осуществлению.

Великие умы России по-разному отнеслись к революции 1917 года. Одни из них, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и очень многие другие из этого ряда изначально поняли катастрофичность события, предвидя результат и конец его. Другие приветствовали переворот, поверили в его гуманистические цели. К ним можно отнести К. С. Малевича, В. Е. Татлина, П. Н. Филонова, В. В. Маяковского, В. В. Хлебникова.

Отрезвление наступало их в разное время и по-разному. Малевич все понял уже в 1927 году, после разгрома ленинградского ГИНХУКа. Во время пребывания в Берлине, где состоялась его выставка, он оставил завещание по поводу своих теоретических рукописей: "В случае смерти моей или тюремного безвинного заключения, и в случае, если владелец сих рукописей пожелает их издать, то для этого их нужно изучить и тогда перевести на иной язык, ибо находясь в свое время под революционным влиянием, могут быть сильные противоречия с той формой защиты искусства, которая есть у меня

сейчас, то есть 1927 года. Эти положения считаю настоящими. К. Малевич. 1927. Май 30." Поздние работы художника свидетельствуют, что он, по видимому, отбросил и свое бывшее богоборчество.

Для Филонова такого отрезвления не наступило. Теперь он не пойдет паломником в Иерусалим, художник стал атеистом, причем, как и во всем, неистовым.

Эта установка вскоре сказалась и в работах художника. Возвышенную "Пасху" 1912–13 года сменили шаржированные "бытовые" ангелы возле русской печки ("Без названия", сер. 1920-х гг.). На смену "Святому семейству" пришла пародийно-кошунственная "Тайная вечеря" двадцатых годов, изображенная как попойка.

В 1930-е годы "Св. семейство" уже не святое семейство, а "Крестьянская семья"; так названа эта картина в каталоге несостоявшейся персональной выставки. В 1938 году Серебрякова пересмотрела весь свой дневник, вычеркивая "несуразное". Она больше всех работ ценила "Святое семейство", относилась к ней почти молитвенно. Теперь она вычеркивает везде "Святое семейство", заменяя названием "Крестьянская семья".

Каким образом, отбросив религиозно-философский взгляд на мир, с такой глубиной сказавшийся в "Святом семействе", Филонов впал в агитпроповский элементарный бытовой атеизм?

Чтобы понять такой крутой поворот от веры к атеизму, нужно представлять, как действовали большевики, с которыми связал свою судьбу Филонов, в отношении церкви. Они вели жестокую борьбу с религией и церковью. В. Ленин выступил с программой грабежа церкви и уничтожения духовенства. Он писал: "Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу **расстрелять**, тем лучше..."¹⁸

Дзержинский разработал тактику антицерковной борьбы, в которой главным орудием была ВЧК: "Мое мнение. Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим образом не возрождать ее в обновленной форме. Поэтому церковную политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо другой. Официальные или полуофициальные сношения партии с попами недопустимы. Наша ставка на коммунизм, а не на религию. Лавировать может только ВЧК для единственной цели – разложения попов." (Из письма Ф. Дзержинского Лацису. 1921)."

В 1932 году партия решила окончательно уничтожить религию, была объявлена пятилетка безбожника с тем, чтобы к 1937 году в России было забыто само имя Бога. В этой дьявольской работе партия отводила немалую роль искусству. "Революционный художник должен быть безбожником".²⁰ "Художники на фронт безбожия!" – статьи подобного рода заполнили прессу.²¹

Но нельзя думать, что Филонов стал атеистом, поддавшись такой

пропаганде. Он презирал продажную и приспособленческую критику. Филонов уверовал в освободительную и очистительную миссию пролетариата, вера в пролетариат стала для него своего рода религиозным культом. И этот культ исключал всякий иной, был несовместим с ним. Пролетариат, его классовые задачи стали для Филонова критерием истины, жизненности и даже художественного творчества. Уже в 1923 году он писал: "Пролетариат имеет неоспоримое научное право, не только право силы, на диктатуру в искусстве. Коллектив профессоров, мастеров, критиков и педагогов искусства право на диктатуру не должен иметь уже потому, что это именно они и закабалили всегда творческий интеллект."²²

Взросший на многовековой почве христианства, Филонов теперь заявляет: "В русском и в мировом искусстве, во всех его взаимоотношениях по теории и по идеологии дело поставлено так же, как взаимоотношения в вопросах религии, церкви, верующих и бога во всех его ритуалах, и все эти взаимоотношения надо истребить со всеми пророками, попами, предвещателями и колдунами по искусству".²³ Теперь он говорит о "пролетаризации искусства" и о том как надо "действовать искусством, как действующей силой в классовой борьбе, и введению его, как действующей силы в широкие массы сначала в советском, а затем в мировом масштабе".²⁴

Но пролетариат и его вожди были враждебны искусству Филонова, считая его контрреволюционным. Им требовалось искусство, которое в общедоступных формах восхваляло бы идеологию большевизма. Аналитический метод Филонова для этого не годился.

Когда школой Филонова занялся НКВД, когда был произведен обыск у В. В. Купцова, преданного ученика мастера, то и это событие не отрезвило Филонова: "Я сказал Купцову, что прежде всего он не должен волноваться или оскорбляться этим событием: обыск делают свои ребята и делают его с хорошей целью – сейчас не "царские времена", когда обыск делали гады. Подозревать кого-либо надо подождать – обыск мог быть сделан по разным причинам, но конечно та сволочь, которая сейчас командует на фронте Изо и ведет с нами борьбу "за власть в Изо", способна на любую подлость. Честной борьбы, как боремся мы, они вести не могут: буржуазия борется исключительно подлыми "запрещенными" приемами, и поэтому я сам должен ждать того же, что было с Купцовым. Нам бояться нечего. Настолько велика цель нашей борьбы, настолько она пролетарски классовая, а и связи с этим такова должна быть паша "природа" борцов и выдержка в борьбе, что мы "должны быть неустрашимыми" и пойдем до конца. Не мы, так другие доведут наше дело! Наше дело – Дело пролетариата как класса".²⁵

Упрямое желание доказать, что аналитический метод, и только он – пролетарское искусство – приводило к обеднению общечеловеческой основы творчества. Филонов не виртуоз-маэстро, он труженик и работник, подобно пролетариату. Но создавал он Ценности не пролетарские, а общечеловеческие, имеющие значение для всех категорий общества. Эта борьба за "пролетарское" искусство, ненужные догматические доказательства и аргументы отнимали много сил, выхолащивали творчество, направляли его в

определенное русло. Былая философичность сменилась своеобразной графической публицистичностью. Можно назвать, к примеру, такие рисунки как "Колониальная политика", "Механик", "Волисполком" и др. Проблемы и сюжеты мельчают в сравнении с глобальными темами ранних работ.

Первые опасения относительно такой эволюции Филонова высказал еще М. Матюшин в 1923 году. Он заметил, как социологические построения его теоретических текстов отрицательно влияют на творческую практику художника: "В его декларацию проросли его картины и утянули из них его творчество, столь необходимое *им самим*, как брюква, прорастая, дает цвет, а сама истощается и вянет, так и его творчество переходит в пышный бурьян литературы с тяжелым багажом иностранных слов и старых логических построений. Сильный как художник, он и тут силен, но не свойственная ему среда научного слова и слога создает невозможные ни для мышления, ни для чтения условия".²⁶

До революции Филонов жил как подвижник. И после революции, которую он принимал безоговорочно, вел полунищенское существование. Теперь же, в тридцатые годы, Филонова посадили на голодный паек, лишив заказов, и без того редких и творчески неинтересных. В дневнике периодически появляются такие записи: "Нет того дня, чтобы я не ждал какого-либо заработка, – заработка нет. По искусству мне заработать невозможно"²⁷ (2 августа 1936). Иногда работу брал на свое имя пасынок Филонова Петр Серебряков. Так было с заказными портретами Тельмана, Сталина, Ворошилова для клуба моряков: "За несколько дней до 1-го мая написал с фото портрет т. Тельмана за 300 р. Договор на него Петя написал на свое имя"²⁸ (Май 1935).

От учеников, желавших получить работу, требовали отречения от Филонова. Так было со скульптором И. Суворовым, которому предложили заказ. Но его спросили: "Вы, кажется, работали с Филоновым, а затем порвали с ним?" Суворов ответил, что действительно работает и сейчас в установке на ту школу. Тогда ему предложили: "Ну так напишите свое отречение от Филонова."²⁹ (17 февраля 1933). Суворов отказался. Работу не дали.

Атмосфера взаимной подозрительности, слежки, доносов на долгие годы воцарилась в художественной жизни страны. В безысходности и отчаянии Н. Тырса³⁰ писал художникам П. Кондратьеву³¹ и Л. Юдину³² о том, как Союз "мог бы осуществить ряд мер, облегчающих нашу работу ... Например, тщательное персональное знакомство со стороны соответствующих политбюро и НКВД с каждым квалифицированным художником из Союза советских художников и тогда – доверие или недоверие. В первом случае право работать без оглядки, когда и где хочешь, во втором (недоверие) – следи. Позволяй работать и следи – подозрительный у тебя в руках".³³ Тырса думал, что установление политической благонадежности откроет путь к свободе творчества. Но в это время политически неблагонадежными были не только люди, но и художественные формы.

Часто работу помогал доставать Н. Н. Глебов-Путиловский,³⁴ муж сестры художника, в то время директор Антирелигиозного музея и Дома безбожника. Филонов любил Глебова-Путиловского, ценил его дружбу, написал его

акварельный портрет, один из лучших у художника, и подарил Глебовым. Глебов-Путиловский был одним из самых верных защитников художника, писал о нем в газетах. Одна из лучших его рецензий о творчестве Филонова – "Масляная выставка" – опубликована в "Красной газете".³⁵

Конечно, все работы, заказанные Глебовым, были атеистического характера. "Несколько ночей подряд мы работали с Петей. Он делал ряд работ для антирелигиозного музея, а я помогал ему руками, советами и руганью. Сегодня ночь напролет мы работали с ним по малярной линии (с 11 вечера до 9½ утра), заканчивая оформление Безбожной выставки в Краснопутиловской церкви".³⁶ В другой раз Глебов-Путиловский предложил Филонову нарисовать огромную карту Северного полушария под маятником Фуко в Исаакиевском соборе. Конечно, заказ был оформлен на имя П. Серебрякова, Филонов работал, скрывая фамилию: "Мне трудно было в течение почти ¼ года работы в музее умалчивать о своей фамилии".³⁷ "Все это время, начиная с 7-го апреля, мы с Петей каждую ночь работаем в Соборе над диском Фуко. За этот срок мне пришлось работать 6 ночей в одиночку. Эти ночи я считаю лучшими из всех бесчисленных ночей, проведенных мною за работой. Обстановка необычайно величественна и сурова. За моей спиной трое мошей: какой-то совершенно обнаженный митрополит с громадными складками морщинистой кожи на прежде гигантском жирном животе, сползшими на левую сторону (кажется Антоний или Феодосий Черниговский), и двое сибиряков инородцев: мужчина высокого роста и маленькая женщина. Они оба в одеждах и сапогах из звериных шкур мехом вверх".³⁸

Участником коллектива МАИ Филонов "достался" уже атеистом и в этом духе воспитывал своих учеников, среди них была художница Львова, верующий человек. Она приносила Филонову показывать свои работы. Художник записал в дневнике: "Это простая малограмотная женщина. Сегодня в разговоре выяснилось, что она глубоко верующий человек. Я сказал ей, что не буду с нею больше работать – нам с религиозными людьми не по пути. Она в отчаянии стала защищать свою веру тем, что «многие хорошие художники тоже верили», «во многих книгах говорится, что Бог есть»".

Мне стало жаль ее как человека и как мастера – она может изменить свой образ мыслей коли потретса возле нас. Оттолкнешь ее – христианство еще крепче в ней засядет".³⁹ Следующий конфликт со Львовой был еще жестче и оскорбительней для художницы. Львова принесла показать Филонову портрет Сталина маслом. Так как Львова "повторила свои ошибки, я несколько раз должен был назвать эту хорошую, добрую, упорную и крайне неразвитую женщину идиотом, халтурщиком и сказал, что "вышибу ее вон из моей комнаты". Задуман портрет плоско, как "массовая картиночка", рисунок сбит, вместо мужественного, твердого лица Сталина, которое может быть и прекрасным и грозным – она дала молодого незначительного человека [...] Еще раз, как всегда в разговорах с нею, я сказал, что именно ей при ее громадных данных по Изо, при ее пошлой "среднячком устаночке" надо как можно строже рисовать и упорно писать, все время рисуя кистью, и читать, и изучать, и стараться понять, выкидывая вон «весь навоз из Вашей

головой», что значат большевики – освободители, творцы, лучшие люди нашей планеты, и их, наверное, великий вождь, он же и вождь нищих, и рабочих, и лучших умов всего мира.

Прошлый раз, когда я отбирал у нее на квартире ее вещи в Горком на квалификацию, я уходя сказал, показывая на две иконы в углу: «На что Вы держите, на позор себе, эту сволочь!» [...]

– Я должен изгонять из многих, с кем имею дело, очень многое, начиная с религии, бунтарства, анархизма и т. п.⁴⁰

Т. Н. Глебова в своих воспоминаниях точно сформулировала новый взгляд Филонова на человека: "Работая в изобразительном искусстве аналитическим методом, человек развивает свой интеллект, говорил Павел Николаевич. Интеллект – высшее свойство человека; когда человек умирает – интеллект распадается. Павел Николаевич отрицал существование Души и Духа и, конечно, Бога".⁴¹ Позиция руководителя воздействовала на учеников. В 1930 году коллектив МАИ опубликовал в газете "Смена" заметку: "В ответ на "крестовый поход" против СССР коллектив Мастеров аналитического искусства призывает художников всех направлений к созданию антирелигиозных вещей высшего профессионального качества и вызывает на то же [...] всех близких пролетариату художников. Веками искусство было мощным оружием церкви и, тем самым, средством классового порабощения. Долг близкого пролетариату художника бороться за разоблачение и уничтожение религии и церкви".⁴²

Дискуссии на религиозные темы вел с Филоновым только его ученик Иосиф Шванг. Т. Н. Глебова вспоминает: "Очень симпатичный и тихий человек был ученик по фамилии Шванг. Он стоял в стороне от всех других учеников, любил беседовать наедине с Филоновым на философские темы. Работа его на выставке в Доме Печати была, пожалуй, самая лучшая, она имела отпечаток духовной чистоты, была более самостоятельна, свежа и чиста по цвету. На ней был изображен фруктовый сад и человек с разведенными в сторону руками, так что злобствующие завистники шептали, что это распятие".⁴³

Вопреки утверждениям Филонова о своем атеизме, Шванг понимал, что творчество его сложнее, загадочнее и глубже элементарного позитивизма, пытался вызвать художника на разговор, но безуспешно. Филонов записал об одной из таких бесед со Швангом: "На мои слова – если дальше идти по той дороге, на которую он стал, – непременно будешь в контакте с белогвардейцами и последняя гадина будет водить его за нос, – он ответил следующее: «Вовсе не обязательно, что мистик непременно – белогвардеец. Ваши работы потому так и дороги мне, что я вижу в них мистический момент, а Вы вовсе не белогвардеец». На это я возразил: такой сволочи в моих работах нет и не будет – мы выводим мистику и мистиков из искусства, где они так сильны, в особенности в педагогике, что до сих пор водят партию за нос".⁴⁴ Т. Н. Глебова, попавшая под влияние филоновского атеизма, спустя много лет писала: "Я не думаю, что Павел Николаевич был совершенно лишен мистических способностей, как это бывает с тупыми, не умными

материалистами. Мне кажется, он вызывал в себе искусственно безбожнические настроения, по своему поведению в жизни будучи совершенно противоположным им. Он делал это, увлеченный революцией, идеализируя пролетариат и наделяя его теми нравственными свойствами, какими обладал сам, совершенно так же, как наделял учеников, слабо ему подражавших, своими дарованиями. Но сила его убеждения была велика. Я испытала его влияние и только в блокаду, перед лицом смерти, пришла к мировоззрению, единственно достойному человека".⁴⁵



Е. Н. Глебова, Отто и Н. Н. Глебов-Путиловский в Кремле. Начало 1930 гг. Вдали – Храм Христа Спасителя

Как же можно оценить филоновский атеизм? Приобрел ли что-то художник, став атеистом, или потерял? Несомненно, потерял. Сузилась концепция человека как существа духовного. В ранних холстах Филонова образ человека вписывается как равный во вселенную, в большой и сложный мир человеческих, природных, космических отношений и связей. Он центр вселенной, он ее вершина и главная ценность. В поздних работах исчез широкий взгляд на природу человека, соединяющую начала телесные, душевные и духовные. Образ человека нередко суживается до социологического, а в таких картинах как "Живая голова" даже до биологического, физиологического явления. "Головы" и "Лики" тридцатых годов пронзительно экспрессивны, но лишены прежней духовности. Они разительно отличаются от персонажей "Святого семейства", "Коровниц" или "Поклонения волхвов", в них испарилась богочеловеческая основа образа,

возвышенный духовный стержень, "земля" осталась, а "небо" исчезло. Такая позиция кладет печать и на облик персонажей, порождая "монструозность" человеческих лиц.

Джон Болт в статье "Анатомия фантазии"⁴⁶ объясняет происхождение "монстров" в работах Филонова увлечением примитивом, архаикой, Кунсткамерой. Он, конечно, хорошо знал этот материал, опирался на него, особенно на русский народный примитив. Но почему-то "монстров" нет в его ранних картинах, когда он был паломником, писал евангельские циклы. Они появились, когда художник оказался во власти атеизма, когда распалась прежняя концепция человека как существа не только психического и физиологического, но и духовного.

Мифологичность раннего творчества сменилась социологичностью поздних работ. На смену вечному приходит временное. Вместо образа иногда возникает ребус, разгадка которого лежит в плоскости социологии и социальной психологии.

В лучших работах Филонова глубочайший анализ всегда приводил к высокому синтезу. Эти два процесса – анализ и синтез – развивались параллельно. Анализ не был самоцелью; его итогом и назначением был синтез, то есть образ, который покоится на мощном фундаменте небывалой аналитической работы. В некоторых поздних произведениях анализ победил синтез: он, как всегда, был глубок и основателен, но не сопровождался синтезирующей деятельностью, которая только и приводит к образу, наполненному выразительной силой и неисчерпаемым смыслом.

Неверие, поразившее художника, исказило и убавило дарованную ему громадную творческую силу.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Elena Curo: Selected Prose and Poetry*. Stockholm. 1988. С.66.
2. Общество имени Леонардо да Винчи. Каталог выставки молодых художников. М., 1906. С.7. В выставке участвовали В. И. Денисов, Н. Н. Крымов, Д. И. Митрохин, Р. Р. Фальк и др.
3. *К. С. Малевич*. Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика. Витебск, 1922. С.8.
4. Там же. С.4.
5. *Велимир Хлебников*. Собрание произведений. Т.У. Л., 1933. С.14.
6. Азы из узы // Велимир Хлебников. Творения. М., 1986. С.466.
7. *В. П. Григорьев*. Грамматика идиостиля. М., 1983. С. 130.
8. *Велимир Хлебников*. Собрание произведений. Т.У. С.242.
9. Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков "Сделанные картины". СПб., 1914.
10. Икона воспроизведена в цвете в каталоге выставки. "Филонов и его школа". Дюссельдорф, 1990. С.123.
- 11 *Ш. Дуглас*. Лебеди иных миров. Казимир Малевич и истоки русского абстракционизма. // Советское искусствознание 27. М., 1991. С.394.

12 *А. Е. Крученых*. Наш выход. К истории русского футуризма. Воспоминания. Материалы. 1932 // Музей В. В. Маяковского, К-84.

13. *П. А. Мансуров*. Письмо Е. Ф. Ковтуну от 16 сентября 1970. Хранится у адресата.

14. Бедный рыцарь. // *Elena Curo: Selected Prose and Poetry*. С. 144.

15: *Велимир Хлебников*. Творения. М., 1986. С.464–465.

16. *Д. Свифт*. Путешествия Лемюэля Гулливера. М., 1991. С.303.

17. Факсимильное воспроизведение рукописи // Ка\$1гшг Маклисп. Виргета115ти\$ – Т)к §е§еПпсЫозе \УеН. Кб1п. 1962. С.38.

18. *Дмитрий Волгонов*. "С беспощадной решительностью". // Известия 1992, 22 апреля.

19. "Никто пуги пройденного у нас не отберет..." Документы собрал Вячеслав Звягин. // Моск. новости, 1991, 10 ноября.

20. См. "Искусство в массы", 1929, № 3-4.

21. Смена. 1930, 14 мая.

22. Основа преподавания изобразительного искусства по принципу чистого анализа как высшая школа творчества, система "Мировой расцвет" (1923). Цитируется по автографу (частное собр. Спб). С небольшими разночтениями этот текст опубликован в книге Н. Мислер и Дж. Болта "Филонов. Аналитическое искусство" (М., 1990).

23. *П. Филонов*. "Я буду говорить"... (1922–1924). Доклад цитируется по рукописи (частн. собр. в СПб.).

24. Там же.

25. *П. Н. Филонов*. Дневник. Архив ГРМ, ф. 156, ед. хр. 31, запись 17, 18, 19 октября 1934.

26 *М. В. Матюшин*. Дневник. РО ИРЛИ, ф. 656.

27. *П. Н. Филонов*. Дневник. Ф. 156, ед. хр. 32, л. 47 (запись 2 августа 1936).

28. Там же. Л. 32 сбор, (май 1935).

29. *П.Н. Филонов*. Дневник. Ед. хр. 30, л. 71 (запись 17 февраля 1933)

30. *Тырса Николай Андреевич* (1887–1942) – живописец, график, художник книги.

31. *Кондратьев Павел Михайлович* (1902–1985) – живописец, график. Ученик П. Н. Филонова.

32. *Юдин Лев Александрович* (1902–1941) – живописец, график. Ученик К. С. Малевича.

33. Архив ГРМ, ф. 146, ед. хр. 5, л. 1.

34. *Глебов-Путиловский Николай Николаевич* (1883–1948). С восьми лет он начал работать на заводе, восемнадцати лет вступил в Сормове в РСДРП, был арестован. В нижегородской тюрьме сидел в одной камере с Я. М. Свердловым. Партийная кличка его была "Степан Голубь". В 1905 году Глебова избрали в Петербургский Совет рабочих депутатов, членом Исполкома.

"13 января 1906 года вместе с другими депутатами Исполкома был арестован. Через неделю, когда его доставили из "Крестов" на допрос в охранное отделение, ему удалось бежать" (Е. Глебова. Воспоминания о брате.

Нева, 1986, № 10, с. 154). В эмиграции он жил двенадцать лет, работал, учился на вечерних курсах в Сорбонне, затем продолжал занятия в библиотеке Плеханова в Женеве. Участвуя в студенческом движении во Франции, умудрился попасть в тюрьму. В 1917 году вернулся в Петроград, работал на Путиловском заводе, избирался членом Ленинградского Совета. Попав в лагерь, этот твердый большевик продолжает верить в правильный ход партийной машины, у которой бывают лишь случайные сбои. 12 сентября 1940 года он пишет сестре "Ведь ни в какой мере нельзя допустить, что здесь – в страданиях невинного человека – повинен именно социализм или наша партия, или наше рабоче-крестьянское правительство. Здесь злая ошибка отдельных злых толкователей (искривление!) и наши принципы нисколько не поколеблены". (РО ГРМ, ф. 156, ед. хр. 194, л. 14 об.– 15).

35 Красная газета. Вечерний вып. 1922, 15 августа.

36. *П.Н. Филонов*. Дневник. Ед. хр. 31 (запись 3 января 1934).

37. Там же. Запись 28 июня 1934.

38 Там же. Запись 21 мая 1934.

39. Там же. Запись 22 сентября 1933.

40. Там же. Ед. хр. 32. Запись 13 или 14 февраля 1936.

41. *Т.Н. Глебова*. Воспоминания о Павле Николаевиче Филонове. 1967. Части, архив. СПб.

42. Художники на фронт безбожия! // Смена, 1930, 14 мая.

43. *Т. Н. Глебова*. Воспоминания о Павле Николаевиче Филонове.

44. *П.Н. Филонов*. Дневник. Ф. 156, ед. хр. 30, л. 39 об. (запись 6 июня 1932).

45. *Т. Н. Глебова*. Воспоминания о Павле Николаевиче Филонове.

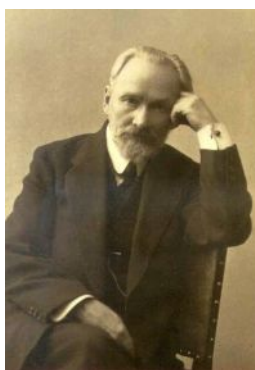
46. *Болт Дж*. Анатомия фантазии. // Филонов и его школа. Дюссельдорф. 1990.

VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ

ИВАНОВ-РАЗУМНИК



В. Розанов



I.

Русская литература имеет своих героев, имеет великих людей, но имеет и своих Терситов; есть великий Пантеон, но есть и "задний двор" литературы. Почему бы не иметь ей и своего юродивого? – С давних пор эту роль в русской литературе с успехом играет В. Розанов.

Время юродивых прошло, тип их изменился, само слово получило новый оттенок, заволокло дымкой презрения, насмешки, сожаления. А между тем, "Христа ради юродивый" – это глубоко трогательный и интересный тип, наш, русский тип XIV – XVIII века. И даже в XIX веке Л. Толстой и Гл. Успенский зарисовали современные им народные типы – Гриши и Парамона юродивого. "Юродство" это иногда бывало действительно нравственным или душевным уродством, но чаще оно соединялось с глубокой душевной чуткостью и красотой; часто было оно также тяжелым крестом, обетом, искусом; часто было при этом единственной возможностью высказывания правды сильным мира сего. И если иногда "юродство" было связано с известной долей "скудоумия" в некоторой области, – то в других случаях великие силы ума прятались за искусы и обет вечного юродства. Примерами полна вся история России средних веков.

Времена изменились – и юродство в наше время совсем уже иное. Теперь вы чаще встретите другое юродство – юродство нравственной и умственной распушенности, юродство истинно-русского хамства. Задерживающие центры слабы – и такой юродивый, иногда совсем нервнობольной, может скрываться теперь и под рясою монаха, и под званием члена парламента. Примеры этого каждый вспомнит легко – не перевелись еще на Руси такого рода юродивые. Теперь им незачем ходить босыми по снегу, носить пудовые вериги: – Парамоны юродивые уступают место юродивым себе-на-уме. Иной раз, говоря я, это люди совершенно больные, только по ошибке не отданные под надзор врача; иной раз опять-таки – это люди себе-на-уме, ловко прикрывающиеся юродством для достижения своих вполне определенных практических целей, для совершения своих темных дел и делишек. И в том, и в другом случае от этого юродства-модерн идет волна истинно-русского хамства: этих юродивых поистине можно было бы назвать не во Христе, а "во Хаме юродивыми".

Кто же В. Розанов? "Во Христе юродивый"? "Во Хаме юродивый"? Ни тот, ни другой – или, если угодно, серединка на половинку. В. Розанов – сам по себе; юродство его (особенно за последнее время) часто бывает себе-на-уме, часто заливается оно волной истинно-русского хамства; но многое здесь является только тяжелым, хотя и мало сознаваемым, крестом этого оригинальнейшего из современных русских писателей. Сперва видишь только отталкивающие черты "во Хаме юродивого", и лишь постепенно приучаешь себя обращать фокус внимания не на эту грязную внешнюю оболочку, а на главное, на внутреннее, на существенное. Но и мимо этого внешнего нельзя пройти, не охарактеризовав его несколькими резкими словами.

Страшная распушенность – литературная, писательская – вот характернейшая черта В. Розанова, черта, одинаково обрисовывающая и внешнюю, и внутреннюю сторону его писаний. Разнообразнейшие мысли, и мысли – мы увидим – иной раз глубокие и замечательные, вихрем вращаются в его голове. Но он часто не дает себе труда привести их в ясность для самого себя. Внешняя форма его произведений, особенно его книг последних лет, – это нечто невероятное: поистине, это "стриженная лапша", как метко выражается сам В. Розанов в предисловии к одной из своих книг ("Природа и история"). Полностью перепечатана чужая статья: за ней – полемический ответ самого В. Розанова; примечания к этой статье редактора того журнала, где статья эта впервые печаталась; под этими примечаниями – еще этаж возражающих примечаний В. Розанова, а иной раз – и еще один подвальный этаж примечаний (см., напр., "В мире неясного и не решенного", изд. 2-е, стр. 113). Затем – ряд писем неизвестных лиц к В. Розанову, с подробностями интимного свойства, ни для кого решительно неинтересными, вроде того, что некий почтенный старец (его имя, отчество, фамилию и даже адрес В. Розанов приводит, конечно, полностью) на Ионические острова не попал, а из Одессы попал в Ниццу, потом был в Париже, а Страстную и Святую провел уже в Киеве; что у этого почтенного старца есть третий сын, Дмитрий, и что третья дочь его, Маша, выходит замуж, и он ей готовит приданое (ibid, стр. 192 – 196)... Жаль, конечно, что неизвестный миру почтенный старец не попал на Ионические острова, и хорошо, что дочь его выходит замуж; но кто же, кроме юродивого русской литературы, будет извещать об этом своих читателей?

Вот типичный внешний облик книг В. Розанова; достаточно перелистать хотя бы одну из этих книг, названную выше, чтобы подивиться полнейшей писательской распушенности В. Розанова. Тут, конечно, есть доля себе-науме, доля хитренького юродства: ведь оригинально оно выходит; ведь никто так за панибрата с читателями не обращается. Есть и другая причина, более серьезная – о ней ниже. Но прежде всего и больше всего здесь, повторяю, полнейшая и намеренная распушенность, появление в обществе с заспанным лицом и в расстегнутом халате. Когда-то, давно-давно, в начале семидесятых годов, Михайловский иронически называл "человеком в халате" М. Погодина и смеялся, что в одной из своих будущих книг Погодин непременно напечатает счета от своей прачки. Действительно, Погодин всех смешил своей литературной неряшливостью, тоже печатал письма, возражения, примечания (см., напр., его курьезную "Простую речь о мудреных вещах"): но по сравнению с В. Розановым это был просто строгий и сдержанный классик! И хотя Михайловский так-таки и не дождался опубликования счетов прачки М. Погодина (впрочем, это отчасти сделал Барсуков в двадцатитрехтомной и неоконченной биографии Погодина), однако он дожил до появления книг В. Розанова с известиями о почтенном старце, готовящем приданое для дочери Маши. В свое время Михайловский очень порадовался этому обстоятельству – что Маша замуж выходит – на страницах "Русского

Богатства"... И если неряшливого М. Погодина он называл человеком в халате, то распушенный В. Розанов вполне заслуживает названия человека в одном нижнем белье. И к тому же – слишком часто белье это на нем бывает грязное...

Распушенность во внешней форме книг – и такая же распушенность в их внутреннем содержании. С примерами этого еще часто будем мы встречаться ниже. Что теперь, сейчас, сию минуту придет в голову В. Розанову, то он немедленно же и выкладывает перед читателями, не проверив, не обдумав, не переработав. От этого – в писаниях его мы найдем такое количество невероятнейшего вздора, какое решительно является достигнутым мировым рекордом. В каждой его книге, в каждой статье, на каждой странице... Примеров так много, такое богатство выбора, что не знаешь, на чем и остановиться. Ну вот, хотя бы, например, в юбилейной статье о Белинском ("Новое Время", 28 мая 1911 г.), в которой "пять, шесть найдется мыслей здравых" на кучу вздора и мякины. В. Розанов уверенно заявляет, что-де Белинский так любил ферулу, порядок, авторитет, что никогда не жаловался на притеснения цензуры, никогда они его не стесняли, не ограничивали... У маленького гимназистика, чуть-чуть знакомого с Белинским, глаза на лоб вылезут от этого потрясающего вздора: гимназистик знает, какими кровавыми слезами плакал Белинский всю свою журнальную жизнь, вися на дыбе николаевской цензуры. А вот В. Розанов печатает, ничто же сумняся, этот вздор и преподносит его взрослым читателям "большой газеты".

Это только небольшой, крохотный пример; вспомните, что В. Розанов несколько раз в неделю помещает статьи в "Новом Времени", что в каждой, непременно в каждой из таких статей вы найдете какую-нибудь подобную нелепость – и вам станет понятно, почему В. Розанов мог побить мировой рекорд количеством вздора, неизбежно вкрапленного в его статьи. Это его органический дефект, это все та же писательская распушенность, печатание всего, что только в голову придет. В вопросах социальных, в области естествознания, в истории литературы и во многих других областях – В. Розанов полнейший невежда: по собственному своему признанию – он ленив, читать не любит, учиться ему поздно; но посмотрите, с каким апломбом выкладывает он многообразный свой вздор перед своими почтенными читателями... Часто он с одинаковым апломбом говорит сегодня – одно, завтра – диаметрально противоположное, на столбцах "Нового Времени", как В. Розанов – одно, и в тот же день, на страницах "Русского Слова", как В. Варварин – совсем другое; и это не потому, чтобы он за этот один день или в тот же день убедился в противоположном, а просто потому, что – "покупатель выпьет", как "с убеждением" говорит в сценке Горбунова эксперт о каком-то дряннейшем вине. Читатель – все прочтет. Тут полное неуважение не к одному читателю, тут такое же, еще более острое неуважение к самому себе, тут полнейшая литературная распушенность, невежество с юродством пополам.

И чем дальше идет В. Розанов по своему писательскому пути, тем он становится развязнее и распушеннее – особенно с тех пор, как он стал

"влиятельным сотрудником" и публицистом большой и распространенной в известных кругах газеты ("Новое Время"). Кстати сказать, он пишет – под раскрытым псевдонимом "В. Варварин" – и в другой газете, тоже очень распространенной в совершенно других кругах ("Русское Слово"); в этой второй газете он ведет себя приличнее – сдерживается; но зато сплошь да рядом, как я уже указал, говорит в ней как-раз противоположное тому, что в то же самое время пишет в первой газете. В первой – он консервативен, благонамерен, услужлив, почтителен к начальству; во второй – либерален, вольнодумен, порою дерзок: в первой перед читателями – хамски-угодническое, во второй – благородно-либеральное лицо двуликого Януса. Надо прибавить правда, что истинное лицо его – первое, а второе – если не маска, то, во всяком случае, явная гримировка: но как бы то ни было – может-ли писательская распушенность, литературное юродство итти дальше? И можно ли без резкого негодования говорить об этой "публицистической" стороне деятельности этого юродивого русской литературы?

Но и вообще вся публицистика его на оба фронта – одно сплошное недоразумение. "Я стар, чтоб волноваться волнениями общества. Притом – люблю нумизматику, т.-е. науку, изумительно успокоительно действующую на нервы. И сам в картинах никаких не изменюсь", – это В. Розанов писал в апреле 1905 года, при первых вспышках русской революции, хотя и прибавлял: "я, несмотря на весь свой консерватизм, люблю даже революцию – т. е. читать о ней (!). Все-таки картина". В октябре 1905 года – какое время! – его приглашают пойти на митинг, но он отвечает: "до митингов... мне дела нет. Я человек старый и ленивый. Да и до политики не много дела: жил и живу в своем углу"... И это – присяжный публицист двух газет! На митинг все-таки он пошел, утешаясь: "эх, не будь я Обломов, непременно стал бы Мирабо".. А в другой раз признался: "правда, я даже не вышел на улицу. Но это уж мое несчастье. Это недостатки моей личности"... Конечно. Но зачем же тогда и пытаться быть публицистом? Зачем писать о политике, о государстве, о праве такому человеку, который с ужимкой юродивого признается: "я человек **ancien régime**, и мне на законы всегда было "наплевать", как Коробочке, Собакевичу и прочим"... Зачем либерально дерзить перед начальством такому человеку, который под видом шутки говорит о себе глубокую правду: "я, по **ancien régime**, каждого полицейского почитаю своим начальством, а в конке – даже и кондуктора конки"... Ведь это же Передонов, тот самый Передонов, о котором В. Розанов сердито писал, что-де это клевета, небывальщина, что-де "я сам" был учителем провинциальной гимназии, а Передонова никогда не видал... Помните героиню басни Крылова, которая, "в зеркале увидя образ свой", стала негодовать, и возмущаться: "что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа!.." Ах, многое знакомое нам по предыдущим строкам есть в Передонове: и истинно-русское хамство, и хитренькое себе-на-уме, и невежество, и бессознательное юродство, и даже трепет перед каждым городовым. Но что это было бы, если-б Передонов стал заниматься на два фронта публицистикой?

Когда все это "ставят на вид" В. Розанову, когда ловят его на противоречиях, на невежестве, на двуличии – он начинает продолжительно и неистово браниться и гордо заявляет, что небесные светила свершают путь свой по кривым линиям, а по прямой летают только вороны". Бранится он грубо, площадно: брань его – своего рода *unicum* в русской литературе. "Вот дурак!.. Проклятые содомляне!.. Что за подлая мысль!.. О, дубинное рассуждение!.. Болваны!" – все это и еще многое, более лапидарное, вы найдете на десятке страниц одной из последних книг В. Розанова ("Люди лунного света"). Но ему мало площадной брани по адресу противников; полемику он понимает, как обливание грязью с головы до ног. И грязь эта настолько специфически-пахучая, что всякий противник немедленно же и с отвращением покидает поле битвы, предоставляя В. Розанову наслаждаться сознанием победы. Лучший пример – полемика В. Розанова в 1911 году с г. Пешехоновым ("Новое Время" – "Русские Ведомости"), когда наш юродивый облил своего противника, кроме брани, еще и обвинением, что-де он был во время русской революции подкуплен японскими деньгами... Грязь эта, конечно, запачкала только самого В. Розанова; но какова же должна быть распущенность литератора, который может позволить себе, хотя бы в пылу полемики, подобную позорную выходку!

Вот почему на публицистику В. Розанова предпочитают не обращать внимания. Достоевский рассказал как-то басню о льве и свинье – и басня эта всегда неволью приходит на ум, когда сталкиваешься с перлами "полемики" В. Розанова. Разсердилась свинья на льва и вызнала его на поединок; пришел лев на поле битвы, и свинья тоже пришла – только вывалялась предварительно в выгребной яме. Лев повел носом, сморщился и поскорее убежал, а свинья осталась торжествовать победу... "Не дай Бог никого сравню с мне обидеть", – но как же иначе охарактеризовать неприличнейшую полемику этого юродивого русской литературы? На его несчастье – к выгребной яме ему недалеко ходить: под боком у него такая признанная еще со времен Салтыкова выгребная яма, как "Новое Время"... Что-ж удивительного, что от полемики с В. Розановым отказываются не то что львы, но даже и гг. Пешехоновы, Струве и другие скромные писатели нашего времени?

Добрые друзья и соседи В. Розанова по выгребной яме иной раз именуют его на столбах той же газеты: "почтенный В. В. Розанов", "благородный В. В. Розанов"... Благородный Розанов! – вот яркий пример *contradictionis in adjecto*! И недаром в предисловии к своей книге "Когда начальство ушло" В. Розанов слишком обобщенно говорит; "мы все неблагородны". Он прав, но субъективно, ибо поистине он в этой области и в этих своих поступках – единственный в своем роде "во Хаме юродивый" русской литературы... И если бы В. Розанов был только таким во Хаме юродивым, только невежественным публицистом и разнузданным полемистом, только безудержно распущенным писателем – то стоило бы разве о нем говорить? Есть, стало быть, в этом писателе что-то настолько ценное, что заставляет многих читателей надевать калоши, пачкаться о выгребную яму и переходить всю ту полосу грязи, которая окружает собою литературную деятельность

В. Розанова, начиная с "Русского Вестника", проходя через "Гражданин" и кончая "Новым Временем".

Перефразируя слова самого В. Розанова (см. его "Литературные очерки", стр. 217 – 218), можно сказать, что "имя Розанова и его книги окружены в массе читающей публики зоною непреодолимого предубеждения". Иные, приведенные в негодование публицистикой этого "во Хаме юродивого", так и остаются навсегда по-сю-сторону "зоны предубеждения". Но эту "зону" необходимо переступить, чтобы увидеть и почувствовать то глубоко ценное и оригинальное, что дает русской литературе этот современный юродивый.

II.

Первая книга В. Розанова – "О понимании" – появилась уже четверть века тому назад (1886 г.). Книга эта – тяжелый философский кирпич, не имеющий никакой философской цены. Это сухой, элементарный и порою наивный "опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как чистого знания". На протяжении почти тысячи страниц В. Розанов сосал свой собственный палец, часто уподобляясь незабвенному Кифе Мокиевичу. "Есть несуществование или его нет? – задавался вопросом В. Розанов, и впоследствии вспоминал: – "помню, над этим вопросом я с ума сошел; это был истинно воспитательный для меня вопрос"... "Несуществования нет, есть только существование, ибо если бы несуществование было, то уже тем одним, что оно есть, оно заключало бы существование, и следовательно, было бы существованием" ("Природа и история", стр. II). И так далее, в том же роде, на десятках и сотнях страниц.

И в позднейших своих "философских" статьях, соединенных в сборнике "Природа и история", В. Розанов продолжал идти по стопам Кифы Мокиевича. Ведь что, собственно говоря, составляло глубочайшее основание философских недоумений Кифы Мокиевича? – Полное неумение понять ретроспективность принципа целесообразности, почему все и казалось Кифе Мокиевичу непонятным, странным, таинственным, чудесным... Кифа Мокиевич изумлялся и не понимал – почему бы слону не родиться в яйце? "Как, право, того... совсем не поймешь природы, как побольше в нее углубишься!.." Но если бы слон рождался в яйце, то скорлупа была бы, пожалуй, такая толстая, что и ядром не разбить; а потому – сколь чудесно устроен мир, как велика божественная предусмотрительность! В. Розанов рассуждает буквально так же; что я не шаржирую – в этом каждого убедят две-три цитаты, взятые наугад из "философских" статей В. Розанова. Например:

"Бром отлагался в метках морских водорослей гораздо ранее, чем появились нервные расстройства у человека; он отлагался ранее не только времени, когда настал наш нервный век, но и времени, когда человек научился считать века и, быть может, даже прежде, чем он появился на земле. И вот, раньше, чем появился второй член некоторой специфической системы взаимодействия, которою медик пользуется у постели больного ("бром при нервных расстройствах"), уже первый член ее существовал с

свою удивительную особенность, имеющую отношение к тому, чего не появилось пока, не появилось нигде на земле, нигде вовсе в природе. Разве это – не чудо? не чудо в полном и святом смысле?..." ("Природа и история", стр. 117).

Или еще, в том же роде:

"Разве эта группа Минеральных вод не есть чудо природы? Согрешил я – и, припадая к матери-земле, к этим серным ключам, бегущим из Горячей горы (в Пятигорске) – исцеляюсь. Какая связь, какое соотношение? Что за дело сере до характерной болезни, которую она исцеляет, что за дело этой характерной болезни – до серы? Но они сцепляются в узел какого-то соотношения. Чудо, Бог, вера – все тут"..." (Литературные очерки", стр. 479).

Мне думается, что этих примеров достаточно – они очень характерны для современного Кифы Мокиевича. Каким образом бром может влиять на организм человека, раз бром существовал задолго до появления человека на земле? Каким образом, может "быть" небытие, существовать несуществование? – "Как, право, того... совсем не поймешь природы, как побольше в нее углубишься"! Этим духом проникнуты все "философские" статьи В. Розанова, мимо которых лучше всего пройти, чтобы не терять даром времени. Область теоретической философии была совершенно недоступной В. Розанову, несмотря на объемистый его кирпич "О понимании": и он хорошо сделал, что покинул – хотя и не по доброй воле – эту область для других областей. "Если бы какое-нибудь внимание к этой книге ("О понимании") показало мне, что есть возможность в России трудиться и жить для философии – вероятно, я никогда не стал бы публицистом" – заявляет В. Розанов, плохо понимая сам себя. В области теории познания он был горе-философом, в области социальной и политической он стал горе-публицистом: ни здесь, ни там ему не было суждено найти самого себя.

Впервые нашел он себя в ценном комментарии к "Легенде о Великом Инквизиторе – Ф. М. Достоевского" (1893 г.): книга эта недаром выдержала за пятнадцать лет три издания и стала настольной для всякого серьезного читателя произведений Достоевского. Предисловия к каждому из этих трех изданий показывают, как В. Розанов изменял свои взгляды (в направлении от официальной церковности чуть ли не к "богоборчеству") на многие вопросы, так гениально-резко поставленные Достоевским: но ценность "комментария" В. Розанова – не в этом, а в группировке и сравнительном сопоставлении образов, мнений, фраз из романов величайшего русского "романиста". К концу книги приложены два этюда о Гоголе – остроумно-парадоксальные и соблазнившие впоследствии своей главной мыслью В. Брюсова (см. его очерк "Испепеленный", 1910 г.).

Но и эта работа не характерна для В. Розанова: в области истории литературы и критики он случайный деятель – хотя бы по одному тому, что сведения его в этой области крайне не велики, а критического дара не имеется. В. Розанов мог написать книгу о Достоевском, которого он знает и любит, мог взвиться фонтаном блестящих парадоксов о Гоголе, но все это более или менее случайно. Его тянуло к другим вопросам, к другим темам – религиозным, церковным, семейным; метафизика христианства, метафизика

любви – вот что по существу его интересовало, вот с чего началось ценное в его публицистике. А он, вместо этого, реакционерствовал в "Русском Вестнике", писал тягучие, скучные и невежественные статьи о шестидесятих годах и тому подобных мало ему известных вопросах.

Даже в области интересовавших его церковных вопросов и религиозных проблем он начал свою публицистическую деятельность позорнейшим образом. Он позволил себе напечатать непристойное открытое письмо к Л. Толстому, письмо грубое, более того – наглое, с ругательствами, с обращением на "ты"... Типичный провинциальный Передонов, становясь "признанным публицистом" реакционного лагеря, наглед с каждой статьей; он становился не менее типичным представителем выродившегося quasi-славянофильства, с его гонением на свободу духа, на свободу мысли. Известны поистине гнусные статьи В. Розанова на эти темы, вызвавшие резкий и беспощадный удар Вл. Соловьева – статью его "Порфирий Головлев о свободе совести" (вошла в собрание сочинений Вл. Соловьева). Статья была по большому месту: действительно, много черточек салтыковского Иудушки было и осталось в В. Розанове: елейные словечки, злоба, уменьшительные имена, юродивость, присюсюкивание, умиленность. Недаром до сих пор В. Розанов остается на газетных столбцах близким соседом г. Меньшикова, такого признанного (с легкой руки Михайловского) нововременского Иудушки. Найдется там и третий сподвижник, – tres faciunt collegium.

Не стоит раскапывать всю эту кучу реакционных писаний В. Розанова, хотя, быть может, и следовало бы сделать это – в назидание и поучение потомству и в наказание В. Розанову. Впрочем, он сам уже "слегка извинился перед читателями, полу-оправдывая себя "за мерзость содеянную". Собирая часть своих журнальных статей для сборника "Природа и история" (1900 г.), он в предисловии сообщал читателям: "я много и сильно увлекался в своей литературной деятельности. В особенности прежде, в консервативный период моего развития, я имел свободу печатать решительно все, что – порой минутно и пламенно – увлекало мое воображение и мысль". И еще: "просматривая листики свои, я думал над многими: Боже, я мог это написать, я мог этому верить! И разочарование "за жар души, растроченный в пустыне", есть непременно удел старого или стареющего писателя. Много этих разочарований и в моем сердце. К счастью, они не очаровали, кажется, и моего издателя. Sit iis terra levis... " Да будет так; умолчим же и мы об этой массе весьма и весьма мало очаровательных писаний В. Розанова.

Все, что автор и издатель сочли заслуживающим внимания, было издано в 1899 – 1900 г.г. в четырех сборниках: "Природа и история", "Религия и культура", "Литературные очерки", "Сумерки просвещения". О первом сборнике – "философских" статьях – я уже упоминал; это серая, скучнейшая книга, почти сплошь написанная шершавым, суконным языком. В последних трех сборниках гораздо больше интересного; к тому же в них впервые начинают проявляться у В. Розанова свой слог, свой стиль, свой язык. Но, конечно, по-прежнему много в этих книгах всякого юродства, смехотворного вздора. То он начинает защищать Молчалина, как "государственного

работника"; то, с этой же точки зрения, восхищается "Акакием Акакиевичем", чиновничеством; то петушком забегает перед начальством. "Гумбольдт, если б ему случилось быть наказанным, должен почтительно просидеть свой день на гауптвахте... В грубо-общей сфере своей государство всегда право, всегда свято – и его гауптвахта столь же непререкаема для обывателя, как для самого государства должны быть непререкаемы, не касаемы, обожаемы красоты Героя Нашего Времени или выводы Космоса. Два мира, две совершенно различные области; и между ними, т. е. между кратким и приказывающим чиновничеством и между сложным и эластичным обывателем, возможна, при понимании, не только гармония, но и любовь"... ("Литературные очерки", стр. 206 – 207). Разве это не прелестно? Это не помешало В. Розанову впоследствии, "когда начальство ушло", обрушить на чиновничество и громы, и молнии. Страницею выше в той же книге вы найдете еще более увеселяющее рассуждение на ту тему, что в долинах, под открытым небом, человеку свойственно чувство открытости, ясности, честности: "я не вор", "мы не ворует", "нельзя воровать – под всевидящим, все освещающим оком солнца"; а в горах Кавказа, где небо задвинуто, загромождено горами, этого чувства нет, и вот почему горец всегда вооружен, всегда при шашке и кинжале: "это – условие и психика самой природы"... (ibid., стр.204). И в таком роде – на каждой странице... О, бессмертный Кифа Мокиевич! Почему же всегда вооружены жители равнинных американских степей, и почему свойство "открытости, ясности, честности" свойственно жителям гористой Швейцарии?

Эти сборники статей В. Розанова соединили в себе очень многое из написанного им в девятидесятых годах. Но именно к концу этого десятилетия впервые нашел В. Розанов самого себя; он был приведен жизнью к постановке "семейного вопроса", отсюда к вопросу о браке, о внебрачии, отсюда к вопросу об отношении ко всему этому русской церкви, отсюда к церкви вообще, и, наконец, вообще к христианству. На все эти темы им написано громадное количество статей; они собраны в книгах: "В мире неясного и нерешенного" (1901 г.), "Семейный вопрос в России" (1903 г., два тома), "Около церковных стен" (1906 г., два тома), "Темный лик" и "Люди лунного света" (1911 г.). В этих книгах собрано все ценное, что дает В. Розанову право на свое, особое место в русской литературе, что заставляет принять его юродивость и видеть в нем не только во Хаме, но и во Христе юродивого. Книги и статьи эти, написанные оригинальным, незабываемым, ярким, "розановским" языком, полные блестящих догадок и парадоксов, чуть ли не гениальных интуиций, неожиданных и верных сопоставлений, внезапных вспышек света над темными областями – книги эти, несмотря на груды засоряющего их мусора, являются одним из наиболее крупных явлений русской литературы минувшего десятилетия.

А что книги эти засорены грудями мусора, что они пересыпаны массой обычного юродиво-розановского вздора – это уже само собой разумеется, это можно уже ожидать а priori. Не стоило бы больше и останавливаться на этом вздоре, если бы он не был глубоко-досадной помехой для восприятия

читателями важных и ценных идей этого юридивого русской литературы. Развивает, например, В. Розанов ценные мысли о "святой плоти" – но тут же не может удержаться, чтобы не пофилософствовать на манер Кифы Мокиевича: "кожа, кожа человека!.. Сколько раз о ней я думал! – Это нервная сыпь; полечим нервы – и сыпь исчезнет, – говорил раз доктор, когда я растерянно, изумленно его слушал, и прописывал от мелких волдырьков на теле cali bromati – внутрь!.. Нервная сыпь! Значит, кожа человека не есть футляр кожаный на нем".... Вот ведь открыл Америку! И войдите же в положение читателя, который, наткнувшись на бесконечный ряд таких пассажей, просмотрит пожалуй, то ценное, что за ними таится... Не угодно ли страницами слушать рассуждения Кифы Мокиевича на подобную тему о коже, что-де кожа – важный орган тела, а потому и болеет серьезно, раком, в то время, как "глупые части, как желудок, кишки... вообще ничтожно болят".... Или авторские сожаления – почему это в банях нет лампад и образов?.. "Мерцающие лучи лампады, льющиеся кругом, наполняющие помещение бани, обливая всю полноту тела, рождали бы таинственным своим действием религиозную невинность тела". Или рецепты автора – как совершать супружеские соединения, как вести себя до оных, во время оных и после оных. Серьезнейшая и глубокая тема о "святой плоти" покрывается досадной паутиной всех этих вздоров, ненужностей и юродств. Вы обращаетесь к другой теме – "русской церкви", вы увлечены мастерской разработкой этой темы, но не можете же вы не реагировать на нелепейшие утверждения вроде того, что "весь русский народ закричал бы не надо при виде первого же насилия, первой грубости ино-крещеному, ино-верному", что в России религиозные гонители "всего боятся, робки в слове и действиях".... Бумага все стерпит, но читатели? Новая тема – русская революция, и мы сразу натываемся на комичнейшие рассуждения нашего философа: "мне кажется, мы к правительству должны стать несколько добренькими, и тогда и оно почувствует себя к нам тоже добреньким. А то мы все крысимся, и от этого оно тоже все крысится. Вы меня не любите и я вас не люблю. Это решительно скверно".... Можно ли строго винить читателя, если он, после подобных страниц, махнет рукой, скажет – "юрдивый!" и закроет книжку В. Розанова?

И все-таки такой читатель, хотя и заслуживает снисхождения, но будет, несомненно, не прав, будет похож на того крыловского героя, который, разрывая кучу сора, не сумел оценить найденного в ней жемчужного зерна. Бог с ними, со всеми этими вздорами и ненужностями, без которых В. Розанов был бы не В. Розанов; к этой обильной инкрустации юродств и нелепостей, в конце-концов, не то что привыкаешь, с ней не то что примиряешься, а просто не на нее обращаешь фокус своего внимания, и только добродушно смеешься, встречая мимоходом на страницах книг В. Розанова то почтенного старца, на попавшего на Ионические острова, то дочь его Машу, выходящую замуж, то самого автора во образе Кифы Мокиевича, разгуливающего в одном нижнем белье перед всей читающей публикой. Иной раз белье это – мы видели – бывает грязное, иной раз наш

юродивый пачкает себя доносом, клеветой, неприличием: добродушный смех уступает тогда место резкому негодованию. Вот почему и на этих страницах пришлось резко отзываться о многих поступках этого юродивого русской литературы: он – слишком крупная литературная величина, чтобы можно было с равнодушным презрением проходить мимо всех его непристойностей. Мало ли какие непристойности позволяют себе "тоже литераторы", сотрудники каких-нибудь погромно-черносотенных листков, но ведь их "литературой" никто не занимается, за исключением разве в некоторых случаях судебных властей. Это не литература. Но В. Розанов – крупная величина в нашей литературе минувшего десятилетия: мимо него не пройдешь с молчаливым презрением. Надо резко бичевать его писательскую распущенность, его недостойные выходки: но чем резче клеймишь облик во Хаме юродивого, с тем большим вниманием надо всматриваться в "жемчужные зерна" писательской деятельности этого юродивого русской литературы.

III.

Из-за леса юродивостей и всяческого вздора В. Розанов мало-помалу подходил к двум глубоким и важным вопросам, тонко связанным для него в одно неразрывное целое: эти вопросы – религия и пол в их взаимной связи.

Есть писатели, которые входят в "универсальное", в "космическое" всем своим существом; одним из таких в русской литературе является М. Пришвин¹⁾. Есть другие писатели, которые могут войти в космическое только в одной какой-нибудь точке, и только с этой точки обнять одним чувством и одним взглядом великое Все: к числу таких писателей принадлежит В. Розанов. В. Розанов может войти в космическое только в одной точке – точке "пола". Душа и пол для него идентичны, тождественны; и именно исходя из "пола" входит В. Розанов в Душу Мира, подходит к Великому Пану, Великому Целому. Пол для В. Розанова – это все, то Pan, всеобщий синтез. "Я почему же плачу над темой, рискуя всем, – как не потому, что вижу в ней всемирный синтез: ни другого глагола, ни иной квалификации не хочу", – воскликнул как-то по этому поводу сам В. Розанов.

"Плачу над темой, рискуя всем": прав был В. Розанов, произнося эти слова. Темы, возбужденные им еще в конце девяностых годов, показались массе читателей просто "неприличными", каким-то воскрешением древнего культа фаллоса. Эта простота трактовки предмета, придание ему величайшего мирового значения, разговор о нем без фиговых листьев – в наше-то время, время величайшего разврата в мещанской культуре, но разврата скрытого, спрятанного, таящегося! Поистине В. Розанов "рисковал всем" – рисковал всей своей писательской репутацией. Не бывать бы здесь счастьем, да несчастье помогло: у В. Розанова была уже в то время такая определенная репутация юродивого, что на новое, казалось бы, юродство публике можно было просто махнуть рукой. И под этим флагом юродства В. Розанов целое десятилетие провозил груз глубоко серьезных и важных вопросов о мировом значении "пола". Немногие понимали В. Розанова в то время, но уже многие

теперь начинают прислушиваться к его мыслям, отделяя их от избыточной шелухи неизбежного юродства. Проблема "святой плоти", над которой так бесплодно бился Д. Мережковский, нашла себе в В. Розанове глубокого и истинного истолкователя и выразителя.

"Святая плоть" – самый термин этот привел В. Розанова к "теитизированию пола". Святая плоть, святой "пол": все свято в том физиологическом акте, результатом которого является единственно святое на земле – дитя. Половое притяжение "это есть религиозное, теистическое притяжение и изумительное владычество молитвы над грехом, чистоты над смрадом"... Где пол, там и Бог, но и наоборот – "нет чувства, пола – нет чувства Бога!".

Пол теитизируется; в результате получается религиозная ячейка – семья, "эфирнейший цветок бытия"... "Нет высшей красоты религии, нежели религия семьи. Но тогда и семья, т. е. в кровности своей, в плотскости своей, в своей очевидной телесной зависимости и связности, не есть ли также, обоюдно и взамен, религия? Т.-е., если столь очевидно религия льется из плотских отношений, то и обратно – нет ли религиозности в самых плотских отношениях? в их фактуре? Все это безмолвно и для всех неощутимо выражено в самом институте "брака": он и есть теитизация пола... Пол теитизируется: это дает эфирнейший цветок бытия – семью: но и теизм непременно и сейчас же сексуализируется"... Пример сексуализации теизма и теитизации sexus'a В. Розанов видит, между прочим, в еврейском обрезании.

Как бы ни относиться ко всему этому, ясно, во всяком случае, одно: здесь мы имеем перед собою глубочайшее утверждение святости пола, "святой плоти": здесь мы имеем в поле – "всемирный синтез", сведение всего в одну общую космическую точку. Конечно, во всякой мономании есть свои курьезы, и когда В. Розанов объясняет, например, через "пол" социальность – как проявление неуловимой "essentiae sodomicae" ("Люди лунного света", стр. 109) – это не помогает доказательности его теорий. Но иначе и быть не может, раз "пол" есть точка касания В. Розанова с космическим, раз он есть "всемирный синтез", всяческая во всем. Когда В. Розанову возражают, говоря, что в родовом акте терпит якобы ущерб личность человека, поглощаемая стихийными началами природы, то В. Розанов с убеждением восклицает в ответ: "как прекрасно! Так же, как обоняние цветка, как вкушение от виноградной лозы, как любование на звездное небо, – но только глубже и внутреннее. Все, все, что сказал Лермонтов в стихотворении: "Когда волнуется желтеющая нива", все это действие на душу целостной природы повторяется, но глубже, в действии на человека родового акта и его сопутствующих обстоятельств, любви и семьи. Да и понятно, ибо акт этот есть узел природы"...

Повторяю: все, что угодно, можно говорить об этой "теитизации пола" В. Розановым, о его космическом становлении "святой плоти", но нельзя не признать одного – что все это является яркой религией жизни, религией радости и святости всего земного. Не удивительно потому, что от всех этих вопросов и проблем о "поле", В. Розанов постоянно и неизбежно переходил к

вопросам и проблемам о христианстве, которое – правильно, нет ли – многие еще со времен императорского Рима именовали "религией смерти".

В. Розанов искони был верующим православным, верным сыном православной церкви. Но стоило ему чуть-чуть подойти к вопросам жизни – хотя бы только к одной их узкой точке, – чтобы сразу почувствовать, что "неладно что-то в датском королевстве", и притом не только в одном православии, а во всем историческом христианстве. Как истинно верующий, он не мог не задаться вопросом – что "браки" и "семьи" для церкви, мерзки или святы? Как относится вообще христианство к точке "пола" в человеке?

Не будем следить, как мало-помалу и с фатальной последовательностью и неизбежностью приходил В. Розанов к все более и более определенным и резким ответам на эти вопросы; это длинная, хотя и интересная история, зафиксированная в двух громадных книгах В. Розанова – "Семейный вопрос в России" и "Около церковных стен". Здесь нам достаточно будет узнать – к чему же, в конце-концов В. Розанов пришел, как примирил он с христианством свою религию пола? Это мы найдем в двух резюмирующих, подводящих итог и ставящих точки на *i* книгах В. Розанова – "Темный лик" и "Люди лунного света".

Итог следующий: В. Розанов ушел из христианства, отождествив историческое христианство с самодержавием черного монашества. Значение такого христианства он не преуменьшает – скорее преувеличивает. "Как ни странно сказать, но европейское общество, в глубокой супранатуральности своей, в глубоком спиритуализме, в глубоком идеализме, в грезах, мечтах – до Вертера и Левина – создано иночеством... Аромат европейской цивилизации, совершенно даже светский, даже атеистический и анти-христианский, – все равно, весь и всякий вышел из кельи инока"... В чем же заключается этот аромат монашества? – спрашивает В. Розанов, и отвечает: – в идеале бессеменности, в идеале уничтожения пола...

В самом Евангелии, в самом его начале стоит бессеменное зачатие, без которого Евангелие, в глазах верующего христианина, теряет всякий смысл, всякую святость. Святая плоть и бессеменная святость – может ли быть большее противоречие, большее несогласие, большая взаимная враждебность понятий? И если святая плоть прославляется религией жизни, то не ведет ли к религии смерти "бессеменность" и все связанное с нею? А с нею связано, по мнению В. Розанова, действительно все. "Бессеменное зачатие, поставленное, как "А", в Евангелии, уже содержит его "?" – конец, катастрофу, падающие звезды и серный огонь с неба, и восстание мертвецов, сих "граждан" нового века, и страшный суд. Чем началось, тем и кончится... Наоборот, святое рождение воскрешает древние, до-христианские Небеса: "мертвым" совершенно незачем исходить из могил, потому что земля не пустыня, на могилах выросли новые цветы"... Бог не может быть и там, и тут, на этих двух полюсах мира и жизни; Он или с мертвыми, или с живыми, и истинная религия, почитающая Его, есть или религия жизни, или религия смерти. Или – или; одно или другое из этих двух неизбежно идет против Бога. Которое же из двух?

Выбор для В. Розанова не труден. Истинной религией жизни (а для него это тождественно с религией пола) является юдаизм; древний еврейский Бог, с Его заповедью "плодитесь и множьтесь", с Его религией крови, плоти, ароматов – есть истинный великий Бог. Придя к такому убеждению, В. Розанова написал ряд блестящих, в некоторых местах гениальных статей об юдаизме; с совершенной новой точки зрения прочел и перечел он Библию, бросил на многое новый свет, поставив в центре юдаизма своеобразный договор "пола" между Богом и человеком. По пути, конечно, разбросано много догадок, необоснованных предположений, парадоксов; пусть специалисты решают, насколько верно, например, объяснение "назорейства" как освященного и интенсивного полового общения, а вавилонского "астартизма", как своеобразного монашества. В общем же, в целом – статьи В. Розанова об юдаизме представляются гениальным проникновением в дух религии древнего еврейства, в ее "главную жилу". И еврейский Бог, Бог чадородия и плодородия, представляется ему истинным Богом жизни, радости земной, благословения всех земных плодов, всех земных радостей, всей земной полноты бытия.

Но вот явился на земле "Иисус сладчайший" – и все плоды мира сего прогоркли (прочтите глубокую статью В. Розанова "О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира"). Земная жизнь, радость, счастье, – все то, что благословлял ветхозаветный Бог, – стало теперь отринуто, презрено, проклято монашеским христианством. "Веселый христианин – это такое же *contradictio in adjecto*, как круглый квадрат", – это, конечно, плоды духа монашеского. А монашество, черное христианство – доказывает В. Розанов – и есть христианство истинное, правильно истолкованное. Все попытки соединить христианство со "святой плотью" (например, попытки Д. Мережковского) справедливо кажутся В. Розанову наивными, жалкими, обреченными на неудачу. "Плоть" – это проклятие, крест христианина; радости и упования его – в другой области, в другом мире; свята не "плоть", а "бессеменность", и идеал истинного христианства, черного христианства – "царство бессеменных святых". Жизненное – проклято христианством, безжизненное – окружено ореолом святости. У древних египтян обожествлялись кошки, быки, ибисы, – обожествлялось живое в них, божественна была жизнь; в христианстве святые мощи, прославлены и обожествлены смертные останки. "Безжизненные останки – они святые, – восклицает В. Розанов: – так вот что значит (христианская) святость – умереть!.. Похороны – св. мощи в музыке, начало мощей святость и святое воспевание смерти! Под таким углом зрения христианство есть мистическая песнь переходу из земного жития, всегда и непременно грешного, в "вечную жизнь" – там. Хорошая религия? Конечно, – но не отрицайте же, что это есть величайший пессимизм и глубочайшее отрицание земли и земного, стихий планетных, лунных, солнечных, но в основе всего – родительских, рождающих..." ("Темный лик", стр. 87).

Все это несомненно так. Но если эта так, то каким же образом и религию жизни, и религию смерти можно соединять с именем одного и того же Бога? Бог чадородия и жизни, Бог бессеменности и смерти – не враги ли друг другу на небе и на земле? И если один из них есть истинный Бог, то другой неизбежно есть Его истинный Враг: вот к чему пришел В. Розанов в своих

последних книгах. Он боялся подойти к этому выводу, и поистине изумительно, что он, робкий Передонов, решился дойти до конца по этому пути. Уже давно мерещились ему подобные выводы, приходили в голову аналогичные мысли, но он осторожно обходил их, или прикрывался хитренькой юродивостью, восклицая: "бедный я человек – и сирота в фактах, и убог мыслью" ("Литературные очерки", стр. 179 – 184). Но в пылу битвы иной раз и трус становится храбрецом; а В. Розанов давно уже вошел в колено все более и более резкой борьбы с черным монашеством, с его умерщвлением и уничтожением всего живого, земного: "не прав ли я, – восклицает В. Розанов, говоря о монашестве, – давно начав крик: смотрите, это идут погубители человечества, злодеи в образе ангелов, пантеры в образе овец!" ("Люди лунного света", стр. 143).

Но ведь для В. Розанова – я на это уже указывал – вся истинная сущность христианства сосредоточена именно в черном понимании христианства монашеством; а если так, то что же такое исповедуемая христианством религия? "Христианство рассекло чудесный фокус всей живой физической природы. Только это одно – и можно закрыть все книги и не читать больше, как можно было бы и всем писателям бросить перо, и сосредоточиться только на этом одном вопросе: мы исповедуем религию, рассекающую узел бытия, – с Богом мы? Или *против* Бога?". (ibid., стр. 118). Двух ответов на этот вопрос для В. Розанова быть не может.

Христианство – анти-божественно: вот главный, основной вывод В. Розанова. Но христианство черное, монашеское христианство, верно выражает собою Христа. Отождествив таким образом историческое христианство с обликом Христа, В. Розанов, всюду говоря о первом, говорит этими же словами и о втором. Он негодующе полемизирует с монашеством, с его старопечатными книгами, с его проповедью аскезы, самоограничения, сдавливания. "Неужели оно (духовенство и монашество) решится отрицать или скрывать, что действительно во всех книгах, какие оно дало народу, не содержится ни одного слова, где было бы сказано, что жизнь хороша сама по себе, и что ее нужно удерживать, ею дорожить просто потому, что она есть и как есть; что радость человеческая хороша и достойна, счастье достойно же, и к нему надо стремиться... Ни одного такого слова в целой библиотеке!..." (ibid., стран. 147). Ничего веселого и счастливого их "устав" им не позволяет. Веселое и счастливое – отрицание смерти, забвение гроба. Семья, искусства – украшение жизни. Но и гроб иногда украшается позументами, серебряными ручками. Вот хорошие ландшафты около монастырей и суть такие серебряные ручки около гроба" (ibid., стр. 264). Гроб, смерть – идеал и сущность христианства, верно выражающего собою Христа. И если христианство это – божественно, то весь мир, все трепетание жизни – демоничны и прокляты. "Церковь всегда считала Христа – Богом, и eo ipso [тем самым] принуждается считать весь мир, бытие наше, самое рождение, не говоря о науках и искусствах – демоническими, во зле лежащими..." (ibid., стр. 268). Но ведь и наоборот – если мир божественен, если жизнь и цветение ее благословенны, то христианство идет против Бога, и Христос пришел не исполнить, а нарушить Божий завет человеку. "От того великого Солнца,

духовного Солнца, которое возшло над человечеством 2.000 лет назад – несутся снопы света... Только это черный свет и около Черного Солнца. Не взглянешь на Него – ничего не поймешь; а взглянешь – поверишь, что Солнце в самом деле черно: и все сразу поймешь, до ниточки, до последнего слова. Этому Черному Солнцу, великой мировой Смерти, метафизике Смерти и поклоняются монахи, по самым одеждам своим именуемые черноризцами..." (ibid., стр. VIII и 205). И если истинный Бог есть мировая Жизнь, то не Врагом ли Бога является мировая Смерть, Черное Солнце? И так как В. Розанов твердо и глубоко верит в сверх-естественность явления и личности Христа, то не удивительны его восклицания и вопросы:

"Иисус человеком не был!

Но был ли Он Мессия?

И кто же Он, наконец?" ("Русская церковь", стр. 37).

Ответ не трудно угадать. Д. Мережковский, в книге "Не мир, но меч", передает об одном своем разговоре с В. Розановым, когда последний, на категорический вопрос собеседника – "кто же был Христос?" – ответил шепотком, мелко крестясь и нагибаясь к уху Д. Мережковского: "как же вы не понимаете? Христос – ведь это Денница, прости Господи мои прегрешения!"...

Какой вывод! И какой путь совершил этот когда-то фанатик православия, апологет выродившегося славянофильства! И какой это теперь тяжелый противник для всех своих бывших единомышленников и союзников! Д. Мережковский, наоборот, вполне убежден в свою очередь, что в В. Розанове мы имеем одно из несомненнейших воплощений Чорта, и готов видеть демонизм во всех писаниях юродивого русской литературы... Да, вот подите же: пусть юродивый, но какую труднейшую задачу поставил он перед каждым искренним христианином! Мистика христианину легко справиться с рационалистом-атеистом – настолько же легко, насколько легко и атеисту без труда одолеть мистика: они бьют друг друга, находясь в разных плоскостях, разных измерений – оттого так и легка кажущаяся победа. Один отрицает все "сверхъестественное", другой презирает все позитивное; один не верит, другой верит. Какие логические аргументы могли когда бы то ни было победить веру или неверие? Но вот мистик-христианин встречается лицом к лицу с В. Розановым, – а встречаются они действительно лицом к лицу, ибо одинакова их мистическая вера, одинаково их презрение к позитивизму, оба они принимают чудо и "сверхъестественные силы" в истории. Христос, Евангелие – для В. Розанова явления безусловно не-человеческие, сверхъестественные; он до такой степени верит в это, что ничтоже сумняся принимает даже явно нелепые и давно уже отброшенные серьезным экзегетами аргументы. Так, например, "сверхъестественность" Евангелия он подтверждает между прочим фактом исполнения предсказаний Евангелия о разрушении Иерусалима; тот общеизвестный факт, что первые дошедшие до нас списки Евангелия были составлены уже через несколько веков после разрушения Иерусалима в 70 году – это "предсказание post factum" не смущает В. Розанова. Зачем ему факты? У него есть твердая вера, что Евангелие – "сверхъестественно", что личность Христа – не-человеческая. Но дальше – всякому утверждению христианина В. Розанов противопоставляет

свое отрицание. Да, Евангелие "сверхъестественно", но оно не "благая весть", а "злая весть" для человечества; да, личность Христа сверхчеловечна, но не божественна, а анти-божественна.

И так далее, и так далее. Аргументов и доказательств у него непочатый край, и каждое из них отвечает "нет" на утверждения исторического христианства. Вот почему нет более тяжелого противника для наших монахов, и без того не слишком сильных в диалектике, чем верующий, елейный, лампадный В. Розанов. Прав был Д. Мережковский, когда много лет тому назад сказал, что церковь и не подозревает, какого врага будет она со временем иметь в этом юридическом русском литературном времени исполнились...

Мы можем только со стороны смотреть на эту поучительную борьбу; но все же она представляет для нас выдающийся интерес. Не говорим уже о громадной роли исторического христианства, как бы к нему ни относиться; самый убежденный атеист должен признать большую силу того, с чем он борется. Но здесь нам все это интересно с другой стороны – со стороны борьбы В. Розанова с тем, в чем он, справедливо или несправедливо, видит религию смерти, борьбы за то, в чем он видит религию жизни. Был ли Христос Богом или Денницей – это пусть решают между собой В. Розанов и Д. Мережковский; наша тема скромнее – мы только намечаем ту религию жизни, исповедником которой, с своеобразной точки зрения, является В. Розанов.

IV.

Культурный, но безнадежно-мертвый апологет "святой плоти", Д. Мережковский; во многом представитель истинно-русского хамства и юродивости, но воистину живой проповедник "святой плоти", В. Розанов. Какая разница! В одном – ледяная игра разума; в другом – точно бунтующий гейзер горячего чувства; проповедь одного – красивая, блестящая – оставляет холодным; вспышки чувства другого – поневоле заражают, убеждают. И это именно потому, что один – вечно скучающий, безжизненный, тоскливый апостол Смерти, в то время как второй – вечно радостный проповедник силы и красоты Жизни. "Вечная веселость души, за которую благодарю Бога и которая во мне наступила после решения видеть Бога во всяческом и во всем", – так характеризует себя сам В. Розанов. Бог его – "всяческая во всем", Бог его – вся жизнь во всех ее бесконечных сцеплениях и проявлениях.

Когда В. Розанов по-своему и "до ниточки" понял Черное Солнце, когда он осудил все, так или иначе обесценивающее и сжимающее жизнь, – только тогда понял он всю ценность, все значение здешней, земной, человеческой жизни, жизни под Светлым Солнцем, жизни во-всю, всеми сторонами человеческого существа. Земная радостная жизнь каждого отдельного человека – вот что для В. Розанова ценнее всего: и это всегда сопровождалось у него чувством любви к конкретному. Еще в период своих "философских статей" он восхищался "индивидуализмом всех феноменов бытия человеческого, текущим из того, что здесь центр и движитель явлений есть не предмет, то-есть существо общее, но лицо, то-есть существо абсолютно обособленное, своеобразное, своеобразное, единичное в высочайшей степени"... И впоследствии этой же любовью к конкретному объяснялись

многие иначе необъяснимые юродства В. Розанова, когда он интимно сообщал читателям, что третья дочь не попавшего на Ионические острова почтенного старца, Маша, выходит замуж, что молодая племянница другого его знакомого утонула, а старший племянник, чудный юноша христианского воспитания и образа мыслей, умер от горя по матери, у которой доктор констатировали рак желудка. Конечно, сообщать обо всем этом своим читателям – юродство; но ведь и юродство имеет свои причины, и причины эти здесь – именно характерная для В. Розанова любовь к конкретному. "Да простит читатель, – замечает наш юродивый, – что я оставляю подробности вне темы... У меня – знойная привязанность не к одному делу, а и к поэзии вокруг дела, не к кафедре, а к дому; и неубранные завесы домашней жизни просто я не в силах отделить от строк, иногда немногих, важных для темы. Ибо ведь эти племянницы и племянники в несчастьи – они люди, и нам следует, хоть и не зная их, сказать: со святыми упокой"... Пусть это – юродство, но оно очень многое объясняет нам в В. Розанове.

Это чувство любви к индивидуальному, любви к вот этому отдельному земному человеку позволило В. Розанову связать религию с полом, стать проповедником религии жизни, религии земли. Христианство – черное, монашеское – принесло с собою идею о лучшей жизни "там" и о необходимости только влачить свои дни "здесь", в земной юдоли плача и слез: нет ничего для В. Розанова ненавистнее этой идеи! Для него "жизнь в Боге и для Бога" есть именно жизнь здесь, на земле, жизнь насыщенная, полная, богатая всеми переживаниями. "Все – в Господе: это же есть мысль всех православных людей, даже всех религиозных людей. Но в других религиях, не патологических, нормальных, это привело бы и приводило к расцвету, к плодородию, жизни вечной и радостной здесь, на земле; а в религии, все перенесшей "туда", всякую радость, сияние и цвет вынесшей за порог гроба, в это ужасное, всепожирающее "загробное существование", которое, как вампир, сосет живую жизнь, – в этой религии "загробных утешений" само собою идеалисты веры рвутся туда"... ("Темный лик", стр. 188).

Как это характерно, как понятно! Вспомним только, с какой жадностью хватается Д. Мережковский за "загробные утешения", за идею загробного существования: он мертв здесь и хочет надеяться хоть на жизнь там; может ли он понять, что человек сам не хочет никакого "туда" и вполне удовлетворяется своим земным "здесь"! "Я был, я емь – мне вечности не надо!". И особенно не надо В. Розанову той вечности, которую предлагает ему черное христианство. Картина всеобщего воскресения, когда – по словам компетентных людей – всякий будет открыт перед всяким до дна, до конца, с обнажением всех самых тайных закоулков души, – картина эта не может нравиться В. Розанову... Да и к чему же ему воскресение и жизнь "там", раз земная жизнь кажется ему пределом блага, красоты, добра! "Не имею интереса к воскресению, – категорически заявляет В. Розанов. – Говорят: мы воскреснем, со стыдом, с "обнажением"... Ну, что же... Зажмем глаза, не будем смотреть. Не осудим друг друга. Не заставит же Бог плевать нас друг на друга, не устроит такой всемирной плевательницы... Нет, это так глупо, что, конечно, этого не будет. Просто, я думаю, умрем... Так думаю, может

быть скверно, но так думаю"... И еще из той же статьи: "если бы я был великим иереем, я сотворил бы религию здесь и здешнего, и уверен, тогда бы нас гораздо лучше судили и там; если вообще есть там, что, впрочем, и неинтересно, раз уже все положено здесь". ("Вечная память"; статья в "Новом Времени", 4 янв. 1908 года).

Эта религия здесь и здешнего – давно уже сотворена человечеством. Ее таинства – таинства природы; ее обряды – социальный, общественный, семейный быт; ее проявления – шепот любви молодости, спокойная смерть старика, радости и горести жизни, борьба, наслаждение, гибель – вся, вся человеческая жизнь, под благословляющей рукой Великого Пана. И, с незапамятных времен, этой древнейшей в мире имманентной и индивидуалистической религией живут – бессознательно и сознательно – и человеческие массы, и отдельные люди. Иные понимают эту религию жизни слишком плоско, вульгаризируют ее до уровня общедоступного эпикуреизма; другие, не умея смотреть и жить широко, во все стороны бытия, умеют углублять русло религии жизни, доходить до dna отдельных ее сторон и вопросов. Таков и В. Розанов. Не в его силах охватить жизнь со всех ее сторон – и он уединился, по собственному его выражению "чудовищно уединился" в своем углу, сузил свою жизнь и свою личность; но ему дано было углубить религию жизни в одной ее стороне – проблеме пола, той стороне, которая до него была совершенно не разработана, именно в ее связи с религией. И, несмотря на бездну юродивостей, В. Розанов своей "теитизацией пола" внес глубокое слово в вечную религию жизни.

И какова сила этой религии: хотя он "чудовищно уединился", хотя весь ушел в индивидуальное, в личное, – но стоит ему только начать углублять свою тему, как тотчас же доходит он от индивидуального к социальному и космическому. Его касания в проблеме пола к космическому были уже отмечены выше; стоит отметить и то, как от проблемы пола В. Розанов возвышается до социальности. Это он совершает в области все того же вопроса о "воскресении мертвых"... "Мертвым совершенно незачем исходить из могил, потому что земля не пустынна, на могилах выросли новые цветы, с памятью первых, с благоговением к первым, даже в сущности повторяющие в себе тех первых. Смерть есть не смерть окончательная, а только способ обновления: ведь в детях в точности я живу, в них живет моя кровь и тело, и, следовательно, буквально я не умираю вовсе, а умирает только мое сегодняшнее имя. Тело же и кровь продолжают жить, и в их детях – снова, и затем опять в детях – вечно!" ("Люди лунного света", стр. 68). И еще раз о том же: "лично я не в силах охватить науку и войну, культуру и религию, хоть живи вечно, хоть будь семи пядей во лбу. Но я размножился – и в детях, внуках, в сотом поколении я тысячею рук работаю в человечестве, я обоняю все запахи мира, делаю все профессии, я раб и царь, гений и безумец. Какое богатство сравнительно с каким бы то ни было личным существованием! Да и вообще неужели виноградная лоза беднее виноградной ягодки?" (ibid., стр. 147). Здесь можно видеть, как своеобразный пафос размножения приводит мистика-автора чуть ли не к позитивной теории прогресса. Конечно, здесь он сугубо неправ, он противоречит здесь самому себе, точно забывая, что весь аромат сосредоточен именно в виноградной ягоде, а не виноградной лозе, что

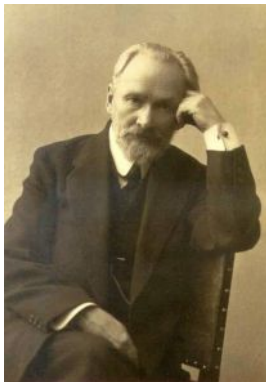
сам же он всюду и везде ставит на первое место индивидуальное; но что нам до того? Прав он или неправ, но и к космическому и к социальному имеет он касания, исходя из основной своей точки зрения на мир – проблемы пола. Религиозно обосновывая пол, он не только является сильнейшим апологетом "святой плоти", но и более того – красноречивейшим проповедником и исповедником великой религии жизни.

Мы теперь знаем, что именно можно найти ценного, терпеливо пройдя через задний двор писаний В. Розанова, в *orega omnia quae supersunt* этого юродивого русской литературы. Мы не согласны с ним почти ни в чем, пока дело касается аргументов и мотивировок; но мы с ним совпадаем в очень и очень многом, лишь только дело доходит до итогов и выводов. Ценна и глубоко-знаменательна борьба В. Розанова с черным христианством; ценна и замечательна его апология "пола", "святой плоти". Но, борясь за "пол", борясь против черного христианства, В. Розанов, в сущности, боролся и борется за жизнь, против всех рамок, ее сдвливающих, против всех начал, ее убивающих. И какими бы путями он ни приходил к этой религии жизни, но раз он пришел к ней – мы неизбежно должны принять его выводы, хотя бы и отвергая аргументы. Религия жизни имеет в В. Розанове одного из самых замечательных проповедников во всей современной русской литературе. И пусть проповедь эта пронизана юродством – юродство мы отвергнем, а всю сущность ее примем. Да к тому же, сказать правду, без юродства нет и В. Розанова; без юродства проповедь его была бы лишена всякой остроты, яркости, силы... Вот уж поистине – "сила моя в слабости моей"... Без юродства пропал бы весь аромат удивительного слога В. Розанова, слога, пропитанного кавычками и курсивом, грубоватыми словечками, подчеркнуто-простодушным тоном. Вот кто из наших писателей не то что "говорит, как пишет", а буквально "пишет, как говорит"... Эта аффектированная небрежность – великое искусство письма; и пронизанное юродствами письмо В. Розанова – редкий пример художественной публицистики. Вот кто поистине чеканит слова, как монеты, на каждом выбивая свое лицо.

Все это вместе взятое заставляет сожалеть, что пока еще сравнительно немногие читатели и критики решаются взять на себя неизбежный труд отделения жемчужных зерен от сора в *orega omnia* этого юродивого русской литературы. Зачем подражать герою крыловской басни? Нет, находя в сорной куче жемчужные зерна, надо прямо и открыто признавать, что это действительно драгоценные камни, а не "вещь пустая"... Борьба за жизнь, остроумные догадки, прославление жизни, гениальные интуиции, религия жизни – все это те драгоценные камни в творчестве В. Розанова, которые сохранятся на вечные времена в истории русской литературы, в то время как всю сорную кучу его вздора и юродств беспощадно развевет – говоря восточным стилем – ветер забвения в пустыне молчания...

1) В статье Иванова-Разумника "Великий Пан".

В. В. Розанов



Василий Васильевич Розанов (1856 - 1919) - русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из самых противоречивых русских философов XX века.

И шутя и серьезно (о Мережковском)



Есть же такие счастливые имена, нося которые просто нельзя не стать литератором: "Иванов-Разумник!.." В именах есть свой фетишизм: называясь я "Тургеневым" - непременно бы писал хорошим слогом; "Жуковскому" нельзя было не быть нежным, а Карамзину - величественным. Напротив, сколько ни есть "Введенских" - все они явно люди средние, будут полезны современникам и не оставят памяти в потомстве. Имена наши немножко суть наши "боги" и наша "судьба"...

Но я совсем разъязычивался...

"Иванову-Разумнику" на роду написано: 1) быть литератором, 2) очень рассудительным, почти умным и 3) не иметь ни капли поэтического чувства. Что делать: судьба, имя.

С этими качествами он написал в "Русских ведомостях" два невероятной величины фельетона о Д.С. Мережковском: "Пастырь без паствы" и "Мертвое мастерство", которые я прочел с понятным интересом и литературного критика, и друга критикуемого писателя.

"Разбор" этот есть в то же время "разнос": от Мережковского ничего не остается не только как от писателя, но ему ничего почти не оставляется и как человеку:

Скука, холод и гранит

вот что остается от поэта, романиста, критика, публициста, религиозного искателя и почти реформатора (по некоторым идеям, по учению о "третьем Завете" и проч.). Но *каким же образом* он стал во всяком случае видным писателем? *чем* в себе он написал 15 томов? и наконец, что его нудило столько стараться, столько работать? говорить, убеждать и прочее? Даже будучи очень уверенным в себе "Разумником", г. Иванов не может не признать, что в подобной оценке что-то не совсем *так*.

И между тем весь "разбор-разнос" г. Иванова-Разумника в высшей степени основателен, "научен", доказателен. Прямо наконец - он справедлив. "У Мережковского везде - мозаика; из мертвых кусочков он пытается слепить что-то целое живое, чего у него не выходит"; "нет вдохновений"; в основе - "нет любви", "холод, снег", "кусочки разбитого зеркала, выпавшего из рук злой волшебницы, из коих один попал в тельце Мережковского и образовал в нем душу", и т.д. и т.д. Отсюда странное "одинокство" писателя, которое он сам осознает, сам выразил его в стихах; и наконец, "неудача" всех дел его, замыслов, судьбы.

Все это г. Иванов-Разумник рассказывает сложно, длинно, скучновато, но основательно. Читатель соглашается с ним гораздо ранее, чем дочитывает до конца его фельетона. Да, в сущности, едва ли кому-нибудь в России это не было ясно и до Иванова-Разумника, который только подвел *resumé* общему мнению.

Что делать - "Мережковский"... Черт знает что обозначает фамилия, - ни "розан", ни "хлеб". В фамилии нет никакого *оказывания*; ничего "говорящего" о своем носителе; не входит в нее названия никакого *осязательного* предмета. Даже не понятно, *откуда* она происходит: из венгров, из поляков, может быть, из евреев? Но решительно ни один *натурально русский* не назывался "Мережковским".

И все это отразилось в судьбе, в литературном образе, в основе же - в зародыше души. "Чёрт знает что", "вечно буду стараться, но ничего не выйдет". Нет, господа, нужно верить в астрологию. "Мережковский" - с совершенно непонятным в смысле и происхождении именем - ничего "понятного и ясного" и не мог выразить. Имена наши суть наши "боги-властители". Живя - мы *осуществляем* свое имя.

Но зато "Мережковский" звучит хорошо. Это не то, что какой-то "Розанов" или "Курочкин" или даже "Подлипаев" (допустил же Бог быть такой фамилии); и замечайте, что в общем "литературная судьба" Мережковского красива; она не осмысленна, но эстетична. Стихи, романы, критика, религиозные волнения - все образует "красивый крут", в который с удовольствием всякий входит, не отдавая отчета, "зачем", "почему". Взять "том Мережковского" в руки - приятно. Всем приятно высказать: "А я стала читать Мережковского" или: "Я давно занимаюсь Мережковским". Что-то солидное. Что-то несомненно литературное. Книгоиздательство Вольфа, перед изданием "Полного собрания сочинений" Мережковского выпустившее известную критику-отзыв о нем, в сущности, нисколько не впало в ошибку, преувеличение или торговую рекламу. Оно вполне *точно* и, думаю, искренне выразило то, что "звучит" в воздухе":

– Мережковский?

– Что такое?

– Красиво.

– Да что "красиво"-то?

– Красиво звучит. Красивое положение. Стихи, критика, романы; Бог. Все красиво, вообще красиво. Около Мережковского красивый воздух. Над Мережковским красивое небо.

– Но он *сам, сам!*.

– Ах, убирайтесь вы к черту. Надо уродиться "Разумником", чтобы до всего доспрашиваться, до всего доискиваться. Это – не критика, а служебное следствие. Сказано: красиво, – и нюхайте.

– Но плод?

– "Ну, тут и разгадка: никогда не будет плода. Боже мой: есть же махровые цветы. Бог создал. Почему такому не быть и в литературе? Махровый цветок не несет в себе плода, нет в нем "завязи и плодника", нет душистой сладкой пыльцы. Нет меда и нектара. Я, сказав "нюхайте", – ошибся от торопливости. От "Мережковского", по самой сути его фамилии, ничем не пахнет: он есть махровый цветок, который существует *только для взгляда, только для любования* и больше еще решительно ни для чего. Вот тут-то его и тайна, отчего он "не действует", "не заражает". Оттого, что не входит в нос. Нет запаха. Того запаха, который *вещественно ворошит* мысли, входит в человека, в читателя, в последователя "одушевляющим" началом. "Духи" и "душа" одного корня: "Мережковский" – без духов и таинственным образом действительно без души (тут "Разумник" угадал), – и – отсюда вся его судьба, бездейственность, бесплодность...

Но он вечно усиливается "принести плод": здесь начинается та

положительная сторона Мережковского, не обрисовав которую тоже "во всю величину", Иванов-Разумник написал одностороннюю статью, которая, будучи столь истинною и в то же время глубоко ошибочна, и есть почти клевета или памфлет.

Мережковский есть изящно-трагическая фигура в русской литературе. Вечно с "Христом" на устах, он есть

Печальный демон, дух *изгнания*,

но по-человечески, но смиренно возненавидевший печальную долю свою, печальную судьбу, печальный характер и личность в себе, и литературных писаний. Сколько усилий сотворить добро, даже маленькое, хотя бы "партийное", у этого Мережковского!! Он, конечно, не "эс-эр", но вдруг прикинулся эс-эром. "Разумник" думает, что это маска. Но это глубже, страшнее: "добрые люди, припустите меня к себе: я что-нибудь доброе у вас сделаю, выкопаю канаву, вырою колодези для питья"; "шумят в России эс-эры, не понимаю – но все равно, буду возить как водовоз воду на эс-эров!" Вот настоящее "сердце" Мережковского – доброе, хорошее, бестолковое, но в высшей степени благородное сердце. Д.С. Мережковский совершенно не то, что З.Н. Гиппиус с ее "ядовитостями": Мережковский вовсе без яда и без заразы. Он действительно демоничен, но по *натуре* ("Мережковский"): а "по работе в жизни" – он в высшей степени утилитарный человек, старающийся быть всем нужным, для всех полезным, сработать какую-нибудь "работу" в истории России. И, словом, "по сознанию человеческого долга" он есть уже Водовозов, а не "Мережковский". Но, ввиду демоничности у него ровно ничего не выходит, так как он *предвечно*-холоден: ни над чем он не расплатится, ничему не расхохочется, не "посмеется с людьми их добрым смехом". "Мережковский" в нем побивает Водовозова: но Водовозов есть его великое нравственное оправдание. Замечали ли вы, что Мережковский – глубоко смиренный, скромный человек; "смирный русский человек". Ну, а это одно ставит его на неизмеримую нравственную высоту над сотнями "разумников", и с малой и с большой буквы. Мережковский есть вполне изящная фигура... и *хотел* бы быть добрым... Но он сухая и бесплодная фигура: это уже *судьба*. "Великой борьбой я боролась", – говорит о себе какая-то библейская женщина и, помнится, именно бесплодная, "не получившая счастья детей". Мережковский вот может повторить это о себе: "все соки свои (не "кровь", потому что ей не полагается быть у "Мережковского"), – "все соки я выжал мучительно, чтобы слиться с добрым родом человеческим, с прекрасным родом человеческим: но ничего не вышло. Я навсегда от него отделен. Но я не принес никакого зла, – никакого и никому. И если меня не любили живого... все-таки я заслужил, чтобы по смерти на могилу мою чья-нибудь рука не уставала никогда приносить розу".

И это будет: и именно будут приносить розу душистую, с медвяным нектаром, который будет ненасытно вдыхать не умеющий умереть покойник, который был на земле точно усопшим жильцом...

Впервые опубликовано: Новое время. 1911. 31 марта. № 12590.

Лидия Сычёва



*БИТВА ЗА СЕРДЮКОВА В ЗЕРКАЛЕ
НАЦВОПРОСА*

Сижу, слушаю радио. (Телевизор не смотрю много лет – берегу здоровье.) Снова обсуждают инициативу московских общественниц – прививать в детских садах толерантность к приезжим инородцам. С младых ногтей, так сказать. Авторша идеи жарко вещает: «Пусть плов кушают, лезгинку танцуют, узнают обычаи людей других национальностей и проявляют терпимость».

Что ж, хорошее дело! Но: почему бы общественнице не начать прививать толерантность детям в Дагестане или в Чечне?! Где в каждом доме – оружие, где никакой «общечеловечностью» и не пахнет, а мальчиков учат защищать себя, честь семьи и рода с самых ранних лет. (И хорошо делают, между прочим.) И как будут поступать московские «мямли», когда кавказские гости станут действовать в соответствии с обычаями, принятыми в их среде?! Взывать к этике космополитизма и правам человека? Подставлять правую щеку, если ударяют по левой?

Неужели наши московские дети более агрессивны и воинственны, чем кавказские ребятишки, и их непременно нужно «смирять»? Мы что, готовим их исключительно для монастырей? И разве не русские люди массово покидали Северный Кавказ (а также Среднюю Азию) из-за, мягко скажем, недоброжелательного отношения к ним тамошних народностей?! А в перспективе что, мы из Москвы тоже должны бежать?! Куда, интересно? Ну, разве что в Голландию, там, вроде, готовы принять наиболее "креативную" и продвинутую часть нашего населения, дискриминируемую по способу физического совокупления.

Кстати, о половом вопросе. Не он ли главный в вопросе национальном?! По последней переписи в России женщин почти на 11 млн. больше, чем мужчин. Причем, данная диспропорция особенно ярко проявляется среди русского населения. В России нет ни одного крупного города, где соотношение женщин и мужчин хотя бы 10 к 9. Больше всего половой дисбаланс в Иваново: там на 100 мужчин приходится 190 женщин. В Ярославле на 100 мужчин – 179 женщин, в Чите – 177, в Курске – 174, в Нижнем Новгороде и Твери – 173, в Туле – 171, в Барнауле и Перми – 170.

Что мы имеем в результате данного перекоса? Не только женское одиночество (хотя и оно ужасно). Мы имеем поразительную женственность политики, проводимой в РФ. Нет никаких сомнений, что русские – государствообразующий народ, что мы – абсолютное национальное большинство в стране, и, следовательно, несём основную ответственность за происходящее в России. Но это – будем откровенны – ослабленное большинство. Потому что законов природы (извините!) никто не отменял. И нации, где женщина перестаёт быть объектом конкуренции и соперничества, обречены на генетическую, физическую, интеллектуальную и прочие деградации.

О том, какой степени достигло безмужичье в РФ, можно судить хотя бы по делу Сердюкова. Мы-то думали, что идёт борьба с коррупцией, а

оказалось, что весь сыр-бор затеян из-за супружеской измены. Вся страна в течение года наблюдала «сражение», которое развернулось между двумя (как минимум) женщинами за брутального альфа-самца. То, что не удалось разворванным «реформами» военным и травмированной невиданным воровством Счётной палате, получилось у обманутой жены. Вон он, ключ к большой российской политике – *cherchez la femme!* И, опять же, ради кого российская армия была пущена по миру? Кому свозились живописные раритеты и бриллианты в чемоданах?!.. И почему, интересно, среда армейского офицерства так парализована утробным страхом, что в ней не нашлось человека Чести, могущего поставить очевидную «точку» в этой неприглядной (с какой стороны ни глянь) «мыльной опере»?!

Но есть вещи и похлеще сердюковщины, доказывающие патологическую женственность современной российской политики. Так, Путину ставят в вину парламентские выборы 2011 года. Что ж, они действительно были бессовестными. Но почему-то никто не укоряет его президентскими выборами 2008 года, когда был «выбран» Дмитрий Медведев. Ну, скажите, какой народ в здравом уме и памяти мог выбрать такого «нацлидера»?! Где это видано, где это слышано?!

Насильное привитие безобразного в качестве эталона – такие штуки история не прощает. Она обязательно за них мстит!

Игры против человеческой природы добром не кончаются. И вот уже стратегию нацполитики в стране нам диктует малосведущая общественница (о чём было сказано выше), а «совестью нации» назначается сторонница суррогатного материнства Алла Пугачёва! Её персоналия даже вошла в новый учебник истории, который сейчас пишут научные светила. Мол, бывшая певица популярна, посему мы не можем идти против «общественного мнения». Т.е. духовная сфера общества превращена в вороний гвалт, базарный шум, причём базар чисто бабий.

Естественно, что и Сердюкова, и Медведева, и суррогатные подвиги Пугачёвой нерусские народы России записывают на наш счёт, на счёт русских. Татары и якуты, башкиры и чеченцы печально вздыхают, глядя на сие безобразие. А их национальные элиты думают: «А что нам делать, чтобы до такой степени не осовремениться? Как нам поступать, чтобы сохранить родную культуру, обычаи и язык? Может, русскому народу уже всё, каюк, судя по тому, что его детишки пишут диктант по текстам писательницы-матерщинницы? Может, у них уже исчезла национальная интеллигенция, если Ксени Собчак дозволялось много лет развращать молодежь в теле-содомах-2?»

Мы, русские, не должны отрекаться от Сердюкова, Медведева, Пугачевой, и не списывать их странные поступки и действия на космополитические веяния. В роду, знаете ли, не без уroda. А у большого народа может быть и большой процент отклонений от нормы. Счастье для России, кстати, что Бог послал в состав нашей страны и менее «передовые» народы, чем русский, ведомый женственной верхушкой. Они хоть как-то «уравновешивают» стремление отечественных интеллектуалов во что бы то ни стало слиться с

прогрессивным Западом, венчать «голубые» браки, отнимать детей с помощью ювенальной юстиции и пр. И, конечно, нерусские народы России во многом показывают нам пример: как нужно беречь родную культуру, язык, песню, танец, обычаи и самосознание... Молодцы, что тут можно сказать.

Главный московский национальный вопрос – это, разумеется, нашествие гостей из Средней Азии. Природа не терпит пустоты: приезжие восполняют тот недостаток мужского населения, который есть сегодня в России. Действительно, почему бы киргизам, узбекам и таджикам в массовом порядке не отправиться на заработки в Китай, где темпы роста экономики намного выше, чем в России?! Ответ очевиден. Более того, избыточное мужское население Китая спешно заселяет наш Дальний Восток. (По самым скромным подсчётам – Китай открывает свою демографическую статистику весьма скупо – в стране на 60 млн. мужчин больше, чем женщин.)

То, что белая Европа переживает сходные с нами проблемы, утешение слабое. Дело в том, что их рецептура спасения, основанная, скажем так, на безбрежной толерантности и вседозволенности греха, в сущности, тоже есть тип женственной политики. Надежда западников, что они посредством трансгуманизма быстренько выведут неких безнациональных «зомби», безродинно-бесчувственных биороботов, которые будут обслуживать золотой миллиард, а остальной ненужный «человекоматериал» они изведут под корень – ошибочна. Это ситуативные рассуждения в логике Евгении Васильевой, бывшей подруги Сердюкова. Семейные ценности в масштабах всего человечества обязательно победят. Ну, а то, что некоторые недалёковидные нации в процессе этой духовной войны проиграют – с этим уж, извините, ничего не поделаешь. *Не надо плевать против ветра (то есть против природы).*

Заметим, что так называемый «русский национализм» носит характер весьма далёкой от жизни теории. Например, среди его вождей людей женатых немного и, кажется, нет ни одного многодетного. Способы борьбы «за народ» в виде хождения на Русский марш и выкрикивания грозных лозунгов видятся в свете приведённых выше рассуждений действием сугубо карнавальным. Не лучше ли нам задуматься вот над каким фактом: за последние сорок лет болезни репродуктивных органов у мальчиков в России участились почти в 30 раз! И это при том, что нормативы ВОЗ по качеству мужского семени за это же время были уменьшены более чем в 7 раз. Если и дальше дело пойдёт такими темпами, то тогда Сердюкова срочно придётся клонировать...

Тема, конечно, слишком сложна для короткой заметки. Но одно, пожалуй, следует усвоить чётко: без мужчин народ – не народ, а беззащитное население. И участь его будет очень печальной (что мы и наблюдаем уже сегодня).

(Впервые опубликовано на сайте "Завтра".)

Николай Николаевич Браун



ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧАСТУШКИ *Смех от пяток – до макушки*

(Окончание.. № 79 - 102)

79. Продолжает грех со Спасом
Уживаться на Руси.
Помолясь, ограбил кассу, –
В храм со свечкой, гой еси!
80. Стал народ наш населением,
Население – толпой.
А толпа – столпотворением,
Кандидатом на убой!
81. Похудел я не на шутку.
Всюду в обществе раскол.
Гаснет в лифте свет, мне жутко –
Не продавливаю пол!
82. В суете лихих окраин,
В многолюдье площадей –
Град наш мало обитаем,
Мало русских в нем людей.
83. Жизнь без нации и веры,
Ты подобна трын-траве.
Всюду честь без офицера
И Царя нет в голове.
84. Коренные питеряне,
Где ваш ум и красота?
Тут – с Израиля славяне,
Там – с Кавказа «лимита»!
85. Псевдо-белые дворяне,
Новый красный капитал,
Вы на голубом экране
Неспроста – за черный нал!
86. Мы ведь не в России, братцы.
А в ЭрЭФии живем.
Где банкиров красных братство
И свобода быть козлом.

87. И дем-равенство при этом
Есть в кладбищенской цене:
Ряд аллей авторитетов,
Павших в киллерской войне!
88. В Автово стояли танки –
Фронта линия была.
А теперь она – в Ульянке,
То валютных войн дела.
89. Строил баньку я простую.
Мало денег, много сил.
Я доску необрезную
У обрезанных купил.
90. За границей – «Коза Ностра»,
Дело мокро – и молчок!
Мне ж милее «козья ножка»,
Наш казацкий табачок!
91. Здесь реклама блудодейка
Держит рыночный форпост:
«Я сосу вам за копейки –
Самый лучший пылесос»!
92. Вижу: в окнах возле койки
Проплывают облака.
Уплывает «перестройка»,
Остается ВЧК.
93. До чего жуликоваты
Академики у нас:
Чуть открыли «ген разврата»,
Продали – аж в Гондурас!
94. Должен тему сократить я
Про Гоморру и Содом.
Не пора ли закусить нам?
Ну а выпить мы найдем!

95. Под влияньем алкоголя
Спор филологов в тоске:
Слово «спонсор» или «доллар»
Чаще в русском языке?
96. Мой желудок в «перестройку»
Сжался вдвое или втро...
Для божжей пусты помойки,
Прокормиться всем хитро!
97. Вновь Госдума в спячке длинной.
Ведь решала, не спала,
В ночь одну Екатерина
С фаворитами дела!
98. Ломоносов в духе моды
Был на немочке женат.
Сочинил он первым – оду
Ямбом – на немецкий лад!
99. Новый спорт: «бои без правил»,
Кто кого скорей добьёт.
У толпы в почётной славе
Полузверь и идиот!
100. Неприличные частушки
Нам прилично петь едва ль.
Собирает их с подружкой
По районам – новый Даль!
101. Косит высоко, как прежде.
Новый високосный год.
Только есть у нас надежда:
Будет жить Российский Флот.
102. Приезжайте чаще в Питер,
Ему равных в мире нет –
Он сияет как Юпитер
Посреди столиц-планет!

14 ноября 2007. Санкт-Петербург

Объявление: В следующем номере ожидается статья Н.Н.Брауна «Оправдание» - об отречении царя и роли в этом событии В.В.Шульгина

В. И. Чернышев

Из Новейших записок Редактора:

- 1. Нужны ли журналу программа и направление?***
- 2. Боль мира и хрустальный замок...***
- 3. Кипение страстей***



Нужны ли журналу программа и направление?

С первого номера я размышлял о направлении нашего журнала, хотя бы о его позвоночнике, мировоззрении, интонации – и, наконец, сдался – взаимоприемлемого даже для сочувствующих направления мне представить не удастся, ибо я и сам схожу с дороги то из любопытства, то обходя колдобины; то разочаровываюсь, теряя направление, теряя цель, волю, энергию, хочется повернуть вспять, хочется спать, *"хочется снова в баню"*... Я слишком живой, слишком человек, *звезды из таких, как я, делать нельзя, и спать во гробе я не умею*. И наконец я задумался не только о тщете общего для всех направления, но и о том, что нужно ли оно.

Общее направление (представляя историю и философию несколько односторонне, но все же правдоподобно) было предложено народам Ойкумены дважды. Учитель (подобный, может быть, Лао-Цзы, Конфуцию, Будде, Зороастре, а из более поздних Магомету) сказал: *Азь есмь Истина и Путь*, идите за мной и обретете Истину, а Истина сделает вас свободными (хотя, добавлял он неоднократно, не стремитесь ничего изменить в этом мире, ибо *«мне отмщение и Азь воздам»*), несите СВОЙ крест, ибо Мой вы нести не сможете, не заботьтесь о мире и о том, что вам есть или пить, не старайтесь даже жить, а лучше живите так, словно вы уже умерли, исполняйте то-то и то-то [в удобопонятном для всех виде я не смогу изложить сумму повелений в виде краткой формулы, ибо и ученики Учителя тоже в своих проповедях излагали нечто *неудобопонятное*, в чем упрекнул в Завете апостол Петр даже апостола Павла]. Но далее Учитель добавил: *Все, кто не со мной, тот против меня*. Ученики поняли сие буквально, и Европа покрылась кострами.

В следующий раз уже бородатый и умудренный знаниями муж предложил народам строить Царствие божие в этом мире, не дожидаясь смерти, изложил *учение об истине*, в котором никто ничего не понял, ибо *оно включало в себя и Отрицание и Отрицание отрицания*, призвал к уничтожению неравенства и всех сословий, неравных низшему, затем добавил, что *кто не с нами, тот против нас*. Ученики, разумеется, поняли и сие буквально и вся Россия покрылась расстрельными камерами и огороженными колючей проволокой зонами.

Существовала и третья точка зрения, которая состояла в следовании родовым традициям, народному чувству, инстинкту любви и сострадания, инстинкту продолжения рода (отвергаемому или высмеиваемому предыдущими учениями), в потребности творчества, труда и заботы, условно это миропонимание можно назвать традиционным или гуманистическим.

У христианства и марксизма в России сегодня много сторонников, возможно, по одной четверти народа, третья же четверть – это не то чтобы мои сторонники, но люди, продолжающие свои собственные поиски, либо продолжающие пить, либо живущие как попало (это *дети русского народа*, не братья во Христе и не соратники по партии – но это не худшие из всех, не надо и их приговаривать к *вычерку из Книги жизни* (выражаясь языком Розанова). Я не христианин и не марксист, и не всегда живу как попало, но часто я защищал христиан от марксистов (за что даже сидел в тюрьме и в

сумасшедшем доме), затем защищал марксистов от христиан, и теперь защищаю детей русского народа от тех и других (а отчасти я сидел и по этой причине и в первый и во второй раз). [Боюсь, третий раз я не потяну...]

Я бы мог сказать, что *лучше следовать за мной* (тем более, что есть ли определенный **путь** у моих оппонентов, сказать трудно, ибо вот православный Интернет наполнен проклятиями в адрес папы Римского, христианина номер один для полумира, а коммунистический Интернет наполнен проклятиями в адрес Хрущева, бывшего коммуниста номер один для второго полумира (разве не молились ему, когда были пионерами и комсомольцами, эти же самые, которые его проклинают ныне?)... – но я человек не надежный. Я и не обличитель христиан, но не иду и за Савонаролой, Кьеркегором, Игнатием Лойолой, отцом Домиником, *помазывающим маслом головы на костер осужденных!* Я и не антисоциалист, хотя советская власть меня проклинала. Не иду за Троцким в его расстрельных отрядах и трудовых армиях и в мировой революции, не иду за Сталиным в его безжалостности к собственному народу и собственным друзьям, и даже к собственной семье: и к жене (которую, по слухам, он *пристрелил*) и к детям (одного из которых предал, другого сплели, а дочь "*пошла по рукам всего мира*")...

Но я не знаю еще, *что есть истина* и не уверен, что *истина – это я*, и что *мы станем со мной и с нею свободными* (напротив, боюсь, как бы нас всех не посадили вместе со мной!)...

Я представляю иную точку зрения – народническую или гуманистическую (то есть, исходящую из человека как меры вещей и из человечности и милосердия, сострадания как основания поступков) – по Иванову-Разумнику и Солоневичу, отчасти по Розанову.

Почему эту третью точку зрения не выставить в качестве основания для пути, по которому следовало бы идти благонамеренным и хорошим людям?

Богословы и люди сведущие в христианстве утверждают, в своих миллионах книг и тысячах сайтов, что христианство не тождественно гуманизму, что оно противоположно ему, и Константин Леонтьев, признанный *правовверный*, утверждал, что молочных рек и кисельных берегов христианство человеку не обещает, что *оно не обещает ему счастья*, но призывает к суровой и несчастной жизни для Бога, а не для себя и близких (или даже России), что *и добро, которое не для Бога делается, а для человека, это зло*, и что христианство – это учение не о том, *как стать хорошим и добрым человеком*, а о том, *как спасти свою собственную душу* (умертвив ее???)...

Более того, многие из них принимают и жестокость христианства в отношении к человеку как естественную и необходимую. Итак, христианство – это не путь усовершенствования добродетелей и создания **добродетельного** (по Сократу и Аристотелю) или **гармоничного** (по античным и советским образцам) человека, не путь к чеховскому идеалу, в котором все должно стать прекрасным, и душа и одежда и мысли – напротив, идеальные христиане ходят в грязной и рваной одежде, как Ксения Петербургская, спят в хлеву, волосы их не чесаны и не мыты, посыпаны пеплом и тело покрыто струпьями – это путь, ничего общего не имеющий ни с античностью, ни с гуманизмом, ни с путем строителей коммунизма.

Но большинство верующих, православных и протестантов (а они иногда близки меж собой) считают себя христианами потому, что уверены, что это учение о том, что *надо стать хорошим человеком*, заботиться о близких, *не убивать, не красть, не завидовать*, не сквернословить, вино пить умеренно (и воду в вино не обращать), детей воспитывать в строгости, жену в покорности, слушаться властей, слушаться старших, вести себя согласно Закону (уголовному Кодексу, Заповедям Моисеевым и Моральному кодексу коммунизма) – такая вера мало отличается от язычества или иудаизма (да к тому же, подавляющее большинство православных уверены, что Заповеди Моисеевы и выражают собою суть христианства, притом будто бы их Христос впервые и возвестил). Итак, современный обыденный христианин – это иудей, живущий по Моисееву закону и стремящийся к совершенству по античным образцам и философским теориям послехристианского времени, стремящийся к счастью, карьере, богатству и прочим мирским благам, к тому же надеющийся, что именно эта жизнь и продлится и после смерти. Ну, что ж, я не слишком от них далек, и так как зла никому не делаю, то мы все очнемся в Эдемском саду и там и продолжим наш спор, а я буду прогуливаться в обществе жены и детей, подруг и читательниц... *Но надо ль и спорить?*

За эти две тысячи лет я так устал от всяческих споров, устал прятаться и скрывать свои взгляды (то Савонарола, то Торквемада, то Троцкий, то Ленин, то Сталин, то бесноватый, то юридический, то блаженный – все меня ловят, всем миром, и в отличие от Сковороды, время от времени *излавливают* и водружают куда надо, то в тюрьму, то на плаху, то на костер – вот и сегодня во сне я снова сидел в Сумасшедшем Доме и во всем признавался), что я уже перестал «жить не по лжи», начал юлить и притворяться. Так, две моих подруги, с которыми я пью золотое вино **ау**, убеждают меня то в марксизме то в путинизме, и с каждой из них я иду их поприщем (по апостолу Павлу), и с *каждой изнемогаю* – но на седьмое небо на днях я попал с другой: я засыпал, и жена на кухне, включив радио, прикрыла дверь, ко мне просачивались голоса Виктории Ивановой (сопрано), Обуховой (меццо-сопрано) и сестер Лисициан (та и другая) – и я *услышал сквозь сон неизъяснимые голоса!* (не зря 13 лет назад «на пальму» я брал и Апостола, и Бердяева, и Русских религиозных философов, и они возлежали со мною и справа и слева).

Но возвращаясь к **направлению журнала**. Отдаю отчет в том, что **не мир но меч** приносили с собой философы и проповедники, и *восставали жена на мужа, и сын на отца, и сестра на брата, и "не было мира под оливами"* – но не попробовать ли еще раз, быть может, в последний перед концом света? Откажемся от направления журнала и даже от знания того, что у меня у самого есть некое тайное направление (нет у меня направления, я не с Христом, не с Антихристом, не с Кьеркегором, не с Марксом и большевиками, и с старым царем или с новым – упаси боже!) – **провозгласим же впервые в Истории философский и литературный Диалог!** Я не враг и не сторонник, я те дрова, которые будут кидать в костер обсуждающие философы, чтобы согреться. Поговорим же по душам хотя бы единственный раз в истории, не проклиная друг друга, а словно бы на троих: вот мы выпили и закусили – надо ли расходиться? **Ибо поговорить то когда?!..**

Боль мира и хрустальный замок (продолжение)

Народничество, христианство, коммунизм

Гибель России и русского народа, точнее сказать, той **русскости**, которая стала основанием своеобразнейшей культуры, и среди европейских культур занимающей одно из первых мест, это мировая трагедия, сравнимая только с гибелью античной культуры и цивилизации.

Что составляет меня самого? *Принадлежность к России и русскому*. Разрушение русской культуры для меня неизмеримо страшнее, чем была для верующих отмена православия в России: тогдашний русский верующий оставался еще с культурой и с Россией, да и вера никогда не отменялась и не исчезала совсем, были и храмы, оставались и церковные книги.

Вчера я прочитал в газете последнее интервью с Игорем Ростиславовичем Шафаревичем, (он умер в феврале в возрасте 93 лет), когда-то выступившим вместе с Солженицыным в сборнике «Из-под глыб» (аналогичном знаменитым либеральным «Вехам» 1909 года); оба были врагами коммунистического режима, Шафаревич жил в России, был знаменитым математиком, академиком, с Западом не заигрывал, с *советской интеллигенцией* был в отношениях прохладных, с западной интеллигенцией даже в холодных, после опубликования своей книги «Русофобия» имел не лучшую репутацию – но да кто временами не претерпевал поношений? Даже Солженицына многие на Западе из последних русских эмигрантов поносили, например, Александр Янов, автор «Истории абсолютизма в России», обвинял его в антисемитизме и чрезмерной русскости. Что Солженицын не антисемит, доказывается его книгой «Двести лет вместе». Что он не *окончательный, не абсолютный* противник коммунистической идеи, никак не доказывается (но я и сам не антисоциалист до конца). Что он не окончательный и не абсолютный противник современного буржуазного общества, видно хотя бы из того, что он смог ужиться в США, и из тех кратких тезисов, в предостережение правящему классу о противодействии Революции, которые напечатаны в газете рядом с последним интервью Шафаревича.

Насколько я знаю, после возвращения Солженицына в Россию близости между ними не было. мировоззренческой, идейной близости я не увидел тоже. Солженицын в 70-73 годах выступал на радио «Свобода» в мою защиту, когда я сидел в тюрьме и психушке, последний раз его страстную речь обо мне и других «узниках совести» я услышал сам в сентябре 73 года, когда от НПО, в котором я уже работал после освобождения (преподавание мне было запрещено **навечно!**), я был послан «на картошку». В девяностые годы у нас была с ним единственная встреча, и потом раза два мы разговаривали по телефону, но кажется, мои *народнические* воззрения и книги (а я в это время издавал Радзивиловскую летопись, «Россию и Европу» Данилевского, Иванова-Разумника «По тюрьмам и ссылкам»



и многое другое в этом роде), не импонировали Александру Исаевичу, но он меня все же когда-то защищал от социалистического зверя, и по-прежнему относился ко мне тепло, мои дрянные стихи (того времени) считал значительными, а я к нему относился с большим почтением, он принадлежал к когорте тех, кого я относил к своим «отцам». При той единственной встрече мы даже обнялись и я эту фотографию здесь помещаю (надеюсь, А. И. простит мне мое мелкое тщеславие). (Кстати, по просьбе А. И. я издал его «Раковый корпус» малым тиражом в кожаном переплете для дарения, так что оказался он у меня рядом с Разумником).

К Игорю Ростиславовичу Шафаревичу я относился иначе, он был в значительной степени моим учителем, его великая книга «Социализм как явление мировой истории» оказала на меня громадное влияние, она явилась для меня чем-то вроде продолжения книги Розанова «Люди лунного света» (по отношению к «воле к смерти»). Но его идею



двух народов, *малого* и *большого*, на которые якобы делится народ в целом, я не принимал в его собственном толковании, то есть как идею о *малом* тлетворном *народе*, носителе и зачинщике всяческих пакостей вроде Великой французской революции, и о *Большом* народе, великодушном, творческом и богоносном (по Достоевскому). Рискую вызвать неудовольствие И. Р., я много раз сам писал о двух народах в целостном народе, *малом* и *большом*, но к малому народу я относил его талантливую и духовно светлую часть, а к большому народу все низкое и тлетворное, и ту *чернь*, на которую напал Пушкин, и то *мещанство*, о котором писали Разумник и Мережковский (хотя не принимал советское видение мещанства по партийному и идеологическому принципу).

Возражая великому человеку, даже упоминая его имя при таких возражениях, я имел дерзость и эти книги ему передавать, хотя в последние три года стеснялся уже приставать со звонками (о чем теперь сожалею).

Разделение народа на две части естественно приводило меня к критическому взгляду на тот народ, о котором писала и которым восхищалась русская интеллигенция, еще в детстве в деревне я увидел и малый и большой народы, и их перемешивать никогда не хотел, меня бесило, когда начиналось словословие вроде «мы – нация великих писателей и поэтов, ученых и полководцев, подвижников и революционеров», и при этом славословили те, из-за которых я кричал обратное: «мы – нация рабов и верноподданных», грязнуль и лентяев, превративших в свалки пригородные леса и луга, в помойные канавы – реки и озера. Этот большой народ живет за счет того, что выкачал кровь из тела моей Сибири и продал ее на Запад, но живет в нищете и невежестве».

Кстати, похвастаюсь. Когда я спросил Игоря Ростиславовича, понравилась ли ему мои книги, он ответил так: «Хорошо ли Вы пишете, об этом я говорить не буду, я не критик, но я определенно чувствую, читая, что все то, о чем Вы пишете – правда!» Этой его оценкой я горжусь, и она утешает меня в том, что народу не нужны мои книги.

В его последнем интервью он сказал: *«Мне и теперь не ясно, являются ли люди, думающие не только о себе, но и о судьбах народа, частью этого же народа, или это какой-то отдельный народ, который надо отдельно изучать? ... это еще, по моему, Данилевский осознал... Тут две разные культуры, которые живут неизвестной друг другу жизнью.»* В этих его словах я почувствовал признание правоты моей точки зрения, в силу которой я иначе делил народ на два народа, и обрадовался (хотя, конечно, значение И. Р. для меня неизмеримо больше того, что он мог найти для себя в моих сочинениях). Далее журналист заметил, что власть несколько лет назад заявила, что политическим врагом номер один является русский национализм, и И. Р. сказал, что *власть боится национальных чувств русских и считает, что «русское самосознание – это экстремизм, с которым надо бороться».* При этом, по его словам, «и в так называемой брежневской конституции отношение к слову "русский" было как к слову неприличному». Ну а в ленинско-сталинскую эпоху, добавлю я, за произнесение слов "русский, Россия, Русь" человек мог очень часто оказаться в тюрьме.

Но, может быть, в предшествующие века русской истории к **народничеству** отношение было другим? Вот ведь в 19-м столетии официальная идеология даже приняла уваровскую триаду "православие, самодержавие, *народность*" (подобно *искренности, горячности, верности...*)? - нет, увы, до 19-го столетия *русскость* никак не подчеркивалась, все содержание личности исчерпывалось *служением* (или принадлежностью): государю, помещику, хозяину и вероисповеданием (в частности, православием) и служением Богу.

Со времени крещения русский человек должен был воспринимать себя, родину и отношения между собой и родиной только в контексте подчинения и веры, он должен был принадлежать телом и душою царю и Богу и церкви душою. Даже слово **Русь** не означало Россию в ее духовном идеальном облики, а было только или литературным и былинным образом, или обозначало воцаренное государство.

Национализм (или / и народничество) появилось вместе с революционным демократическим движением, в котором оно занимало, правда, узкую нишу. К выразителям его я отношу Н. Я. Данилевского, Иванова-Разумника, отчасти Розанова. Философии *русского народничества* (как *национализма просвещенного*, объединяющего, а не разъединяющего, патерналистского, а не подавляющего) по существу не было, кроме «России и Европы» Данилевского (которую я первый вернул русскому обществу в двадцатом столетии), и отдельных статей отдельных философов.

Считать ли народниками (националистами) славянофилов, которые о национальных чувствах своего народа (тем паче, своих холопов) никогда не писали, а из них видный, Александр Иванович Кошелев, писал в письме Ивану Сергеевичу Аксакову: *«Без православия наша народность – дрянь».*

Так сочетается ли с *народничеством* христианство? Или ему противостоит? Увы, если христианство противостоит родовой любви и роду, рождению детей и народу, если христианство противостоит избирательной любви вместо патоки "любви к ближнему", то безусловно оно противостоит **любви к своему народу**, чувству национальной принадлежности и привязанности – ибо *«отныне несть ни еллина ни иудея, но всё и всюду Христос!»*

«Далеко не безразлично, за что любим мы родину, в какое её «призвание» мы верим... Есть любовь к отечеству праведная и святая, и она спасительна и действительна. И есть любовь греховная, и эта любовь – мерзость перед Господом, и, быть может, равнодушие предпочтительнее...» – писал выдающийся православный богослов XX столетия о. Георгий Флоровский.

Тоталитарные идеологии, монистические по утверждению единственности универсальной истины, универсальной идеи миропостроения, такие как христианство и марксизм, лишь *по исторической необходимости* принимают что-либо вторичное (по их мнению) в жизни, но всегда только допускают, терпят, как терпит христианство брак и семью, как терпит коммунистическая партия до поры до времени отдельность личности (хотя лучше не жениться и не рожать детей и лучше, чтобы «в партию сгрудились малы»).

Флоровский так писал о своей встрече с архиепископом Никодимом Ротовым (будущим митрополитом): *«Владыка очень огорчил и удивил меня своим вопросом: "Не огорчаются ли Вы в глубине души, что Вы не в той Церкви, где были крещены?". На что я только ответил с изумлением: "Я никогда не думал, что был крещён в русской „церкви" и что такая существует. Есть только Православная Церковь". Для него это было удивительно. Вот это умаление или, в сущности, забвение вселенскости Православия меня соблазняет и ранит».* (В наше время митрополиту Никодиму вменяются в вину «Псевдобогословские труды, в которых Ротов оправдывает коммунистический атеизм и призывает к единению со всеми иноверцами и еретиками».)

Не стоит заблуждаться, не совместимы с христианством "любовь к отеческим гробам" и тот энтузиазм патриотизма, который вдохновлял и русское общество и народ, вставших на защиту отечества в 1812 году. Не совместимы с христианством ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни князь Вяземский, ни русская поэзия и литература в целом 19-го столетия и тем более Серебряного века, как и Русская религиозная философия и Общество Мережковского и Розанова, ищущее нового Бога (о чем и церковь и ее иерархи заявляли не раз). Ибо, по словам преподобного Иустина Поповича: *«Церковь – это Богочеловеческая вечность, воплощённая в границах времени и пространства... Она – вселенская, соборная, богочеловеческая, вечная, поэтому хула, непростительная хула на Христа и Духа Святого – делать из неё [церкви] национальный институт, сужать её до мелких, преходящих, временных национальных целей.»*

Разумеется, это клерикальное богословие не делает различия между идеальной церковью Христа, существующей на небе, и земным общественным объединением верующих, только связанным незримыми нитями с церковью идеальной. Да и о какой христовой церкви идет речь – только о православной? А весь католический мир осужден на вечную гибель? Молящийся лживым богам? Но не то же ли и у коммунистического движения, делящегося на секты, воюющие между собой?!

Вот каков патриотизм православных, у них тот же Интернационал, что и у марксистов, и во имя его они поступятся родиной, ибо *вселенская*, безнациональная церковь им дороже.

Но есть ли тогда на Святой Руси (в православной России) хоть один русский человек, ибо человек воцерковленный – это человек, принадлежащий не к русской церкви, не в ней крещеный, а в той единственной, по слову Флоровского, церкви, которой является церковь *православная*, ибо русская церковь не существует (повезло же евреям! Уж их-то синагога хоть еврейская?) Следуя за кличем Некрасова, впору спросить не то, кому на Руси жить хорошо, а есть ли в ней **русские**?

Были в ней, конечно, и холопы и крестьяне, но о холопах как-то стыдно спрашивать, русские ли они, а и крестьянин редко сознавал себя русским, он сознавал себя на поле крестьянином и в церкви православным, а перед помещиком рабом (и только в годину испытаний, когда Земля русская рисковала попасть в полон, на поле брани крестьянин становился русским, не только князь Пожарский и посадский человек Минин, но и всякий ополченец, пришедший к ним для освобождения от поляков Москвы. То же и в 1812 году. То же и в 1941-45, когда и бесправные колхозники, тоже парии в социалистическом отечестве, тоже холопы, да еще и пушце (оспоривать это будет только тот сын чекиста, который не жил в истерзанной большевиками и комиссарами русской деревне, где волна за волной вырывали из тела России то кулаков, то скрытных врагов), сражались за Россию.

К *народничеству* (национализму) с ненавистью относится всякая идеология, и марксизм-ленинизм, и христианство (тут есть и частные причины, кроме общих, *иудаизм* как религия богоизбранного народа неявно видит подлинность только в одном народе, остальные представляют собою некий общий нерасчлененный мир, враждебный народу божьему).

Но и Власть и государство враждебны народничеству, потому что в любви к родному пепелищу и отеческим гробам человек возвышается до личности, он не может быть только верноподданным и рабом – царю и Богу. Религия и церковь существуют как сочетание двух или нескольких форм, одной из которых является **духовное подавление**, духовное рабство, запрет на поиски истины (которая уже принесена Мессией), другой – необходимость передачи свойств государственности и народности Царю, помазаннику Божию.

Народ должен быть *свободным* для того, чтобы человек в нем осознал себя как *народника* (националиста), как человека, любящего свой народ. (Кто-нибудь скажет, что я уже противоречу себе, распинаясь часто в ненависти к народу верноподданных и рабов и в любви к нему... но особого противоречия здесь конечно нет, как и в противопоставлении Пушкиным народа, которому он *будет долго любезен*, черни, которая не должна судить свыше сапога).

Особые состояния сознания

Математика удивительна прежде всего тем, что она выпадает из всего множества наук своим методом. Она представляет собою последовательность теорем, каждая из которых словно бы вытекает из предыдущих (как думают многие и, в частности, Пуанкаре), а в центре каждой теоремы находится Утверждение, истинность которого доказывается, то есть показывается, что такое утверждение неотвратимо следует из последовательности рассуждений

(силлогизмов) и допущение его неверности делает абсурдными те или иные рассуждения или теоремы, верность которых уже установлена и не подлежит сомнению. Более того, верность математических теорем непрерываема и для атеистов, и для христиан, для иудеев, мусульман, буддистов... В них не надо верить или не верить, быть убежденным или сомневаться. Но математика не только противоположна религии (почему она и вызывает ненависть богословия и церкви прежде всего, и не случайно утверждение Оригена, что она внушена бесами), но математика противоположна и наукам. Физик ставит эксперимент, с помощью которого опровергает или подтверждает свое предположение, по результатам эксперимента предположение (или его отрицание) доказывается так же неопровержимо, как и теорема, и истина уже не нуждается в вере. Житейский опыт пересекается с физикой, почти такое же научное заключение производит хозяйка, ставя на огонь кастрюлю с водой: вода в ней через некоторое время закипает. Она это узнаёт опытным путем и сей факт более не нуждается в вере, не подлежит сомнению. Можно было бы сказать, что весь почти наш житейский опыт – это бесконечное множество экспериментов, которые человек продельвает над самим собою. Он обжигается на огне и горячем молоке, ушибается, падая со стула (так он узнаёт о тяготении и весе), загоняет занозы, разбивает колени, *разочаровывается в себе и в жизни*...

Химия отличается и от физики и от математики, в ней все является результатом эксперимента, и какая страсть заставляет смешивать в одной кастрюле или колбе различные вещества, даже затрудняюсь сказать... Но **вера** так же не относится к химии, как к сложению чисел.

Иное в природоведении, суммирующем наблюдения над жизнью и миром, то есть в геологии, биологии, в частности, ботанике, географии, истории...

Не буду останавливаться над описанием гуманитарных наук, ибо я размышляю прежде всего о **сакральном**, то есть по поводу религиозных и идеологических мифов, прежде всего, о христианстве, как оно сформулировано и высказано в священном Писании.

Сакральные утверждения, как кажется, невозможно вывести из наблюдений, из предшествующего набора аналогичных утверждений (теорем), и невозможно проверить, поставив эксперимент.

Обычно миф представляется результатом *озарения*, посетившего визионера. Однако, как семя, посаженное в землю, прорастает, растет, приносит плоды, так ведет себя и *зерно мифа*. Христианство – новое удивительное растение, проклюнувшееся на огороде иудаизма, среди суммы текстов Библии (то есть Ветхого завета). Но в его становлении отчетливо прослеживаются следующие причины: некая словно бы заданная *сила произрастания*, содержащаяся в том, что уже проросло; *озарение*, добавляющее к запечатленному мифу новые сюжеты и положения, новые обстоятельства и идеи, более глубокие даже, нежели уже запечатленные; творческая энергия, вдохновляющая создателя, продолжающего созидательную работу над мифом, расширяющая его содержание. Богословие выделяет **озарение** в некую особую область, надстоящую над известным человеческим творчеством, представляет и его и его результаты как **богодухновение**, извне, а не из души и сознания человека пришедшее

содержание, и даже весь **миф** в целом, явившийся результатом сложного взаимодействия исходного мифа-семени, озарения и вдохновенного (или *богодуховенного*) творчества определяет как **богодуховенный**.

Позднейшие сочинения отцов церкви, предания, жития святых и богословское творчество являются лишь расширением и пояснением сложившегося мифа, толкованием его, во всем сообразным и ни на йоту не отходящим от когда-то закончившегося созидания Священного Писания (текстов Нового Завета или корпуса буддийских текстов, или священных книг Авеста).

Существенно возражает богодуховенности Священного Писания то, что исторически текст известных Мифов (буддийских, индуистских, зороастрийских) многократно переписывался, подвергался правке, переводам (в процессе которых также подвергался правке), кроме того, если говорить о Новом Завете, то сохранилось значительное количество текстов Евангелий, отвергнутых в процессе канонизации во втором-третьем веках нашей эры.

Однако, допустим, что тот Новый Завет, который сегодня лежит в основании христианства, является именно *Священным Писанием*, текст его богодуховен, а не результат обычного человеческого творчества, подобно роману Война и мир или эпосу Гомера, Илиаде и Одиссее. Возможен ли критический научный анализ этого текста, как книг Аристотеля или диссертации по физике, или как литературоведческий анализ романов Достоевского? Разумеется, можно подходить и к сакральным текстам как к обычным произведениям ума, отвергая их сверхъестественное содержание, но такой анализ будет неубедителен и для верующих и для многих других, признающих необычный характер всякого Мифа. Однако, подобно тому, как при реставрации древних икон снимается слой потемневшей олифы, скрывающий первоначальное изображение, и такая реставрация не отвергается верующими и церковью, исследовать можно и текст. Само даже чтение и усилие его понимания является исследованием. Те споры, которые происходили между богословами и отцами церкви в древние времена по поводу подлинности тех или иных текстов евангелий, подтверждают существование исследования при первоначальном становлении церкви и ее канонических книг (узаконенных и ставших каноническими не сразу, но постепенно, в отличие от Корана, данного Магомету сразу и навсегда). Подобно тому, как художник, создающий художественное произведение, образы и идеи своих творений находит преимущественно в своей душе, или, находя вне, сверяет их со своим собственным опытом, с тем, что сам пережил и чувствовал, исследователь также опирается на то, что известно ему, при этом не все, что ему известно, является только грубо житейским.

Почти у каждого человека имеется свой собственный как обыденный прозаический опыт, так романтический, поэтический, трагический, так и опыт многовековой культуры, который он хотя бы частично усваивает и переживает, имеется образование, воспитание, традиции, чувство связности с родом и народом и исторической преемственности – но, главное, все, что он использует в своей жизни, содержится не только во вне в виде неких плакатов и призывов, но внутри, в его душе. Русский человек говорит на русском языке, понимает полно или частично почти все его слова, важнейшие из них

усваивает еще в детстве, еще в четырехлетнем возрасте чувствует и понимает, что значит хорошо, плохо, люблю, не хочу, хочу, красиво и некрасиво, какие поступки и чувства добрые, какие недобрые... уже пятилетний ребенок чувствует и понимает какой дядя злой, а какой добрый, он говорит: я **люблю** маму, папу, бабушку, мне нравится лес и поле, мне **жалко** замерзшую кошку... Лев Толстой верил, что в пять лет человек знает и чувствует 99 процентов всего того, что ему отпущено знать и чувствовать в течение жизни – и я его словам доверяю. Научившись в детстве говорить на родном языке, ребенок потенциально уже *знает всё* (ибо в языке содержится всё, даже то, что в нем не содержится, например, музыка). *Обладает ли человек духовным знанием?* Те бывшие комсомольские дурочки, которые призывают распять душевную любовь и душу и отречься от жены и мужа и своих детей во имя Бога, и принимать сущее только через дух, растворяясь в духе, который ниспосылается по особой милости только Богом (так говорят они), очевидно уверены в том, что им Господь дал уже *всеведенье пророка* или они уже слышали, как говорил другой пророк (может быть, Ленин?) и "поэтому они уже знают всё"! (Открой, читатель, христианские сайты с их откровениями или сочинения Игнатия Брянчанинова и иже с ним).

Читая текст Священного Писания, по уму и врожденному или приобретенному чувству, по божьему ли соизволению, читатель в нем хоть что-нибудь понимает, и делает те или иные выводы (если же не понимает ничего, то читает зря, даже своим чтением оскорбляет то, что читает). Священное Писание включает в себя Евангелия, в которых повествуется о рождении, жизни, проповеди, чудесах, распятии и вознесении Иисуса Христа, и о других событиях, происходящих с Ним или среди учеников и в окружающем мире (являются ли все упомянутые события священными – например, является ли сакральным событием свадьба в Кане Галилейской или то, что Савл преследовал первых христиан, врываясь в их дома?)

Но есть еще Деяния апостолов и Послания апостолов (причем апостол Петр по поводу некоторых из посланий Павла говорит, что они *неудобовразумительны* – сомнительно, чтобы эти слова были похвалой и подтверждением их истинности).

Так как Новый Завет обращен ко всем, то мы *сеем* его читать, понимать, размышлять и **о нем судить** – то есть формировать ту или иную точку зрения о поведении лиц, не связанных с Христом тесными узами. В попытке понимания и суждения мы опираемся на себя, на свой опыт – житейский, душевный, приобретенный из культуры или духовный (а «духовной жаждою томи» может быть каждый из нас, иначе кто бы пришел к Богу?!)

Более того, *мы имеем право не верить в истинность священного Писания*, если верить тому, что писали русские философы по поводу Легенды о великом инквизиторе, что будто бы Христос принес нам свободу... но так как он велел рабам подчиняться своим господам и отдавать кесарю кесарево, то, вероятно, он принес нам не социальную и не политическую свободу, а *свободу совести*? Хотя, впрочем, Он же говорил: "Познайте истину, и истина делает вас свободными", что можно понимать так, что *не* познавшие истины не достойны свободы.

Итак, мы уже умеем читать и временами что-то читаем, хотя даже близкие где-то находят книги, в которых как дважды два доказывается, что стихи Пушкина устарели, что Лермонтов был одержим бесами, ВИ тоже, Григорий Распутин – это наше всё, царь был святой, Сталин, его убивавший вместе с другими – тоже... Впрочем, я думаю, что никто им этого даже и не доказывал, они сами охотно открывали рот и уши, чтобы глотать всякую дрянь.

Нужен **вкус** и способность к различению запахов (христиане говорят о способности различения **духов**, но так как бесы дурно пахнут, то **обоняние** обычно предостерегает человека от обольщений). Книг много, возможно, миллионы, разве я от других людей отличаюсь тем, что слишком много прочитал? Нет. Я даже те книги, что у меня на полках, прочитал не все, хотя они или ароматны, или без запаха. Но как много хороших книг я прочитал! Впрочем, плохих я прочитал тоже много, всего Сталина, Ленина, Маркса, Энгельса, множество книг советских авторов... и все же, не читаю популярные брошюры о прибавочной стоимости и близком конце света. И все же, читаю Розанова, Иванова-Разумника и даже Мережковского, хотя его справедливо обругал Разумник. Читаю Толстого, хотя он несправедливо обругал Пушкина. Читаю Достоевского, хотя его ругаю и сам. И все же вот эти последние – мои друзья, и есть и еще, мы все сидим за круглым столом, пьем чай и водку, вразумляем друг друга... удастся ли нам кого-то еще вразумить, я не знаю...

На что же надеяться?

Кроме всего того, о чем я говорю, и что составляет видимый мир телесного, душевного, сознательного и бессознательного, существуют еще и чудеса. О них мы поговорим в следующем номере журнала...

А пока вернемся к рациональному, к нашему жизненному опыту, к нашему *духовному опыту* (но я не имею в виду внушений Святого духа или внушений бесов, и что такое духовный опыт, не определяю. Пушкин тоже не определял духовную жажду, когда написал свое стихотворение Пророк).

Жизненный опыт включает в себя много обыденного, в большинстве полезного. Но есть и то, что я называю сверхобыденным, в частности, существуют **особые состояния сознания**. К ним отчасти можно отнести и сны, и бред, белую горячку, бред при тяжелой болезни, например, при холере, психические отклонения, наркотические состояния, даже *опьянение* (именно переход к другому способу чувствовать и воспринимать мир под влиянием вина и привлекает к нему человека). Половая любовь сродни опьянению и болезни, она включает в себя инстинкт и притяжение, метафизику жизни и трансцендентное (никто не знает до конца ясно, что это такое, но, надеюсь, при взаимном желании мы поймем друг друга). Уверовавший человек обычно начинает чуждаться любви, перестает прикасаться к женщине, называет объятия с нею блудом, уходит в скит, пустыню, монастырь, чуждается иногда даже других людей и нормальной жизни, то есть во многом становится похож на человека с психическими отклонениями. Некоторые из них переживают то, что мы и называем **особыми состояниями сознания**, например, апостол Павел, будучи еще Савлом, по дороге в Дамаск (для получения дополнительных

полномочий по борьбе с христианами) встретил Христа. Это событие он описал в своих посланиях, оно и принадлежит к числу сакральных и является особым состоянием. К ним же относится и таинственное восхождение его на седьмое небо, где он слышал неизъясненные голоса. Можем ли мы понимать это состояние и судить о нем, имеем ли мы сами, не будучи апостолами, соотвествующий для необходимых плодотворных суждений духовный и культурный опыт? Или хотя бы можем воспринять его из истории и культуры? Разумеется. Так, например, что такое Папа Римский, мы знаем, читая Историю Инквизиции и описания роскоши Иннокентия третьего, или читая о пиратах, становящихся папами, или сталкиваясь в повседневной жизни с воинствующей православной церковью, обуянной гордыней стяжания и власти (не только сегодня. Екатерина сократила число монастырей на Руси втрое, потому что треть всех крестьян Российской империи были крепостными у монастырей. Государство не в состоянии было тащить столь тяжелую ношу, да еще в условиях войн.)

Но помимо истории и культуры, **трансцендентное**, до которого поднимается часто обычная, казалось бы, любовь к девушке (женщине), приводит человека в то же самое сверхобыденное, сверхъестественное, особенное состояние сознания, которое, как ни удивительно, совпадает с состояниями, пережитыми апостолом. Сродни им вдохновения, испытываемые поэтами и учеными. (Боюсь, впрочем, что то состояние, которое испытывал часто Иероним Блаженный, борясь с всемирным притяжением любви, когда ему являлись по ночам обнаженные девушки, бесовки, как он думал, не совсем о же самое, что я имею в виду). Где находит писатель и философ содержание своих писаний? Во внешней жизни. Но как он удостоверяет истинность своих выводов? Он ищет и в себе все то, что находится в жизни, и даже больше! И часто философы и богословы утверждают, опираясь и на священное Писание, что «Царствие Божие внутрь вас есть!» – но "внутри нас" есть, как оказывается, всё, вот почему человек в состоянии читать чужие романы и мифы, и поверять их собственным опытом, в том числе мистическим. Вот почему и происходят расколы в церкви и споры среди богословов, и уверенность православных в своей исключительной истинности, противоположной заблуждениям и грехам католической церкви сама является ужасным грехом **гордыни**.

А как же я? Я – сторонний исследователь, я поэт и философ, я даже не еретик. У вас, противостоящих мне, есть свой бог, Иисус Христос, и свой народ, православный; у меня мой собственный Бог, Русь и Россия, и свой собственный народ, **русский**, включающий в себя всех желающих, и евреев, и татар, и немцев и цыган (да, кстати, девочка-цыганка из моей деревни записала себе в паспорте русскую национальность и теперь она *русская*). [И не пытайтесь меня привлечь к осуждению за ксенофобию и расизм: как *вы утверждаете, что лучше быть православным, чем другим*, так и я, русский националист (народник), утверждаю, что *лучше быть русским, чем православным*, но **русским может стать всякий** (как и креститься в православие может всякий), **знающий русский язык, любящий русскую культуру, принимающий историю и традиции России и обязующийся ее спасать и защищать.**]

Но заканчиваю о возможности понимать то, что мы читаем. Если даже Бог и внушил своим ученикам Священное Писание, то естественно, что, создав нас по своему образу и подобию и наделив нас умом, языком и способностью проникания, дал он нам способность понимать все то же, что и его ученики, и мы, ныне живущие, можем испытывать те же состояния, что и апостол Павел. Как? Через любовь. Не буду говорить подробно, я много об этом писал. В трансцендентном переживании любви человек испытывает нечто, что то же самое в своей абстрактной сущности, что и состояние боярыни Морозовой или Жанны Д*Арк, или того, кому явился *шестикрылый серафим*. И если целью христианина является спасение своей собственной души, то когда-то давно, переживая мою "безумную любовь", я также почувствовал, что ничто иное меня не привлекает более, чем спасение ее души. (Возможно, и хорошо, что ее душу спасти мне не удалось, хуже она от этого не стала, а я избежал греха гордыни, возмнив себя спасителем душ).

Прошло много лет, я испытал сострадание к женщине, которую мне захотелось спасти от ее собственных наваждений, хотя я ни от чего почти ее не отговаривал, даже и сам пытался приблизиться к христианству (видите, как сильна *любовь сострадания*?!). Плохо, что мне мало удалось ей помочь.

Итак, как вы видите, мы, любящие Россию (и женщин), знаем почти все, и можем судить почти обо всем. Мы даже умеем воспитывать своих детей, иногда и чужих. Мы только не знаем, *кто виноват и что делать*.

У нас есть культура, образование, чувство долга и любовь (ко многому, в том числе и к миру, который христиане так ненавидят и так мечтают, чтобы он поскорее закончился), семья и народ, любовь к родине, сострадание (ко многому, в том числе и к природе), есть вдохновение и богатый *мистический* (или *духовный*) опыт. У нас есть и наш Бог – бог философов и ученых, бог еллинов и русских, не столько обличающий нас, сколько призывающий к творчеству и познанию (как и я не столько обличаю своих соотечественников, сколько стремлюсь им помочь, вот даже создаю огород (Журнал с топором), на котором мы будем *сеять очи – для всех!*

Национализм и статьи уголовного кодекса

Свои взгляды на общественно-исторические условия существования государств и народов я называл *национализмом*, то есть приверженностью к определенной *нации*. Слово это мне не нравится, потому что оно иностранное, а в русском есть прекрасное слово народ, и приверженность к определенному народу можно называть народничеством, и тогда *националист* будет *народником*. Правда, закон об оскорблении чувств по признакам принадлежности к расе, национальности, религии и пола или отсутствия такой принадлежности внес в российскую жизнь новую реальность: теперь всякий, пытающийся сказать, что *лучше* жениться и прикасаться к женщине, нежели пойти за Христом, уже *оскорбляет чувства верующих*. (Но разве не оскорблены мои чувства современного человека уверениями, что математика и поэзия внушена бесами, и что рабы должны подчиняться своим господам в простоте сердца?) *Увы, прощай, философия и свобода слова!*

Православные, коммунисты, интеллигенция

Возможно ли сосуществование разномыслящих?

Почти пятьдесят лет назад мой следователь Иван Иванович (кстати, хороший человек, сокрушавшийся потом, что со мною так сурово обошлись за романтическую любовь к России) говорил мне: «Ну почему ты не пришел со своими сомнениями сначала к нам, а обратился к друзьям и выпивке? Мы бы тебя по отечески выслушали, и помогли найти среди сомнений правильный путь!» И не говорил ли то же самое какой-нибудь седой доминиканский монах молодому поэту, прежде чем повлечь его на костер?

И вот я думаю: А существовал ли и возможен ли был спор между *разномыслящими* у христиан, у большевиков – как он возможен и существует между физиками, математиками, биологами и философами? Спорил ли когда-нибудь и Христос со своими учениками, спорили ли между собою основатели церкви – не выдирая бороды друг у друга, не побивая камнями, не заключая в узы и в клетки со львами, не бичуя бичами с свинцовыми вязками?

Спорили ли большевики меж собой? В первоначальном революционном марксистском кружке в Петербурге объединились молодые заговорщики, недовольные жизнью, согласно ненавидящие Россию и ее правительство, ненавидящие неравенство власти и достоинства, прав и имущества – известно, что они были соединены приятельскими отношениями, и у Ленина есть слова об их согласном движении среди скал и терний: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения» – но разве остались они друзьями, а не стали, якобы, как позже клеймили их оба вождя "предателями, иудушками, двурушниками"? И Христос однажды тоже воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» – но есть ли более них раздираемые противоречиями и ненавистью, как православные и католики, католики и протестанты, папа и катары, никониане и староверы? И сегодня мелькают в спорах казалось бы единомышленников, участников одной церкви, верующих в одного бога, те же оскорбительные клички, что и у Ильича, и вот вдруг, просматривая труды известного иерарха, случайно натыкаюсь на то, что пишут о нем другие, озаглавливая написанное своеобразно так: «Как *подох* такой то?» И они уговаривают меня верить в их бога? И они уговаривают меня любить вместе с ними их ближних? Да большей злобы и ненависти нет даже и у лютых врагов!

Но ладно, ладно, пусть ненавидят своих единомышленников-врагов – но неужели невозможно *разномыслящим* иногда беседовать или даже спорить цивилизованно, не оплевывая друг друга? Не привлекая к суду государства и не требуя казни или тюремного заключения, как ныне *по закону об*

оскорблении чувств верующих? Ведь мы же теперь не имеем права сказать (или кто-то другой), что мы не верим в возжигание свеч в храме небесным огнем, что мы не верим в то, что Иисус подлинно Сын Божий, что будет скоро конец света и воскресение мертвых, что католики хуже православных и неизмеримо ~~хуже~~... зачеркнуто цензурой] ... И все же, если мы не только разделены церковной оградой, но и соединены Российской границей, не только разъединены апостолом Павлом и Блаженным Августином, но и соединены русским языком, русской литературой, Пушкиным и Толстым... или уже не соединены? И надо оставить мне всякие попытки культурного философского спора с сторонниками Маркса и Христа, а хотя бы спорить нам по внутрифилософским и внутрилитературным проблемам? Но ведь и о спасении России не поспоришь (а это ли не главная литературная проблема?), за целую жизнь не встретил я ни одного русского народника (или патриота – но именно не православного, не советского, а *русского*!!!), и вряд ли теперь уже встречу. [пробормочу, прежде чем заговорить о не столь болезненном: численность русского народа неуклонно падает, притом стремительно, притом численность населения РФ постоянна, и почти никого это не колышет, ни советских, ни православных, ни типичных *просто-патриотов*...)]

Итак, скорее всего, не дожидаясь, пока меня повлекут с веревкой на шею на осуждение, оставляю я после четвертого номера разговоры на сакральные темы. Возможно, я прощаюсь с своей молодостью – хватит прощаться!

И литература доставляет немало горького, вот, например, кто-то подсовывает мне брошюру про «авангард». Я не поклонник ни Татлина, ни Филонова, ни Стерлигова, ни Шагала, даже и Хлебников у меня не главный поэт, мои – Лермонтов, Пушкин, другие. Но – если в своих рассуждениях о литературе и жизни я вспоминаю Маяковского и Хлебникова, и не вспоминаю Тихонова или Александра Прокофьева, или не вспоминаю (реже вспоминаю, все же его юношеские стихи меня задевали) Евтушенко, то так или иначе, к *моим поэтам*, хотя бы частично моим, кроме Есенина и Гумилева принадлежат и Хлебников и Маяковский. Они меня *составляют*, как вода и воздух составляют атмосферу Земли. Итак, читают эту брошюру близкие... А теперь сделаю экскурсе в сторону. В восьмидесятые годы по телевизору вдруг показали фильм о Солженицыне. В нем что-то говорили об А.И., затем о папе Римском, целующемся с Гитлером, о Бандере, расстреливающем партизан и красноармейцев, затем о Солженицыне, встретившемся с папой Римским (хотя и не тем уже, а другим), затем показывали Освенцим и крематории... На следующий день в лаборатории, где я работал, мне устроили чуть ли не показательный суд, особенно возмущались женщины (они более внушаемы): вот ты нам столько пел про А.И., мы уже тебе почти поверили, а этот негодяй, оказывается, расстреливал наших солдат и целовался с Гитлером! (Я тогда понял, что внушение через ассоциативный ряд более продуктивно, особенно поддаются такому внушению женщины). И вот из брошюры про Авангард я узнаю (подруга мне зачитала, с омерзением швырнув мне в лицо мой «Журнал с топором»), что будто бы Хлебников и Малевич выкидывали из Эрмитажа и Русского музея бесценные сокровища живописи, будучи большевистскими комиссарами, и расстреливали классических художников и поэтов

– «и ты смеешь еще помещать в свой журнал статьи о них!» (Я сокрушен от сего даже более, чем от ангины, которой проболел полтора месяца и чуть не умер. Но, однако, бывают и на земле брызги благородства, оказывается, умнейшая и обаятельная Н. Н. Ш.-Л--ва вызвала уже сего автора на дуэль (по поводу другой его книги). Так что и воистину *есть женщины в русских селеньях!!!* И потому я не буду более распространяться о своих несчастьях, надеюсь, кто-нибудь из более знающих авангард в следующем номере нашего журнала вступится за Хлебникова и объяснит нам, мог ли этот воистину святой человек – как бы ни относиться к его поэзии – расстреливать художников и поэтов классической принадлежности. Но, увы, мне это уже не поможет. Два года назад священник внушил другой моей подруге, что я отродье дьявола, и она сразу же выбросила и меня и мои книги на помойку, и вот теперь меня выбрасывает вместе с журналом другая... *странно все это*. За пятьдесят лет ни одной девушке не сумел я внушить ни любви к Маяковскому, ни почтения к Платону. А ненависть ко мне внушается легко, как грипп или коклюш...

Так, может быть, выход в терпимости – или, выражаясь современным цивилизованным языком, в *толерантности*?

Иммунитет и толерантность

По определению отца Даниила Сисоева *толерантность* – это ничто иное как утрата *иммунитета* (и отдельным человеком, и обществом в целом) перед угрозой потери своей личностной и национальной идентичности (*тождественности*). И отсюда понятны те гигантские усилия по промыванию мозгов в Европе и Америке и внедрению в умы граждан *толерантности* – по отношению к террористам, иммигрантам, голубым, однополым, бесполым... Об руку с этим бессмысленным и ничего не имеющим общего с сочувствием равнодушием идет безпричинная агрессивность, подозрительность, немотивированный страх, ненависть, злоба, вообще внушаемость, открытость для навязывания и внедрения чужих мнений и верований. Примеров я видел множество. И когда прокатился фильм о Солженицыне, зрители поверили и до сих пор уверены, что он предатель Родины и враг народа. Так же были уверены в том, что страна наводнена диверсантами и кулаками, и те миллионы тупых русских граждан, которые голосовали за массовые расстрелы, и так же невинна та бабушка, которая принесла на костер Яна Гуса вязанку с хвостом. Горько сознавать, но стоит только объявить всенародно, что я зарывал в своем огороде живых младенцев, и толпы односельчан, а то и родных, знавших меня с детства, ринутся в огород и будут его копать.

При Андропове в водку добавляли димедрол, и позже мы часто чувствовали мы на вкус, что водка стала хуже, чем во времена Хрущева, но что в нее примешивали, мы не знали. Но надо ли что-то примешивать? Надо ли добавлять 25-й кадр? Нужны ли ухищрения? Вот какой-то прохвост напечатал, что стрелки часов монахи передвинули на тысячу лет, и теперь на дворе не две тыщи семнадцатый, а на тысячу лет моложе – и миллионы высоко-образованных, физиков и лириков, живописцев и писателей, не

сомневаются больше, что Александр Македонский – это наш киевский князь Олег, этруски – предки русских, монголы – тоже, и лютый Батый – славянский Батя-хан.

Мне ли сомневаться в том, что любой бред охватит народы даже целой планеты за долю мгновения, если и сам я не слишком от них отличаюсь? Я ли не верил в добрые побуждения *простоватого* Ельцина? Я ли не с умилением читал «Вхождение во власть» *высококультурных* Собчака и Явлинского? Математика, правда, предостерегает меня от социалистических и православных таблиц логарифмов, но Паскаля и математика не предостерегла, математическое образование не спасло от иллюзий Достоевского, от мракобесия Игнатия Брянчанинова.

Грустно сознавать, что даже образование ума не добавляет, и "если завтра война", вчерашние друзья и соседи ринутся с упоением истреблять друг друга. Кто столкнул русских и немцев в 1914-м, а дальше, по инерции, и в 1941-м? Зачем? Французам надо было отомстить за унижение 1870 года и вернуть Эльзас и Лотарингию, англичанам – сохранить господство над половиной мира – что надо было русским от немцев? Непостижимо. Но что надо и китам, вдруг всеродне выбрасывающимся на берег из океана? Может быть, это действует воля к смерти, воля к растворению в общем, воля к подчинению, воля к погружению в хаос и во тьму?!

Что я смогу противопоставить такой воле? Журнал? Который прочитают три человека, и четверо из них православные, а другие пять – коммунисты?

Есть ли иммунитет от внушаемости и подчинению навязываемым мнениям? Разве мы не видим, что те толпы, которых Христос кормил рыбами на берегу Иордана, и которые бросали ему под ноги ветви маслин, вдруг неожиданно возопили «Распни его. А Вараवву оставь!»? И виноваты ли евреи, предали ли они Христа? Виноваты ли христиане, сжигавшие философов и красок волочивших на костер в качестве ведьм? Виноваты ли русские крестьяне и рабочие, половину своего народа втоптавшие в землю?

Но тягостно думать, что никто не виноват, и даже кошку, съевшую чужое сало, не за что хотя бы ткнуть в него мордой, хотя бы объяснить, что тащить воровато сало нехорошо, когда хозяйка даже наливает тебе молока...

Нужен *иммунитет*... Идите в школу, дети, прилежно учитесь... (?)

На что надеяться?

13 апреля, 9-33. Спал плохо и встал поздно. Кто-то скажет, что это не относится к нашим спорам о литературе и философии, но художник и философ основания и доказательства своего мировоззрения находят в своей душе, поэтому, поелику слишком горчит моя жизнь, то невольно более чем надо горчат и мои рассуждения. Зачем я так упорно целую жизнь взываю к **чести**, пытаюсь доказать глухим, что долг перед близкими и родиной, любовь к **миру**, частью которого является каждый из нас, и эта непостижимая любовь к родным, друзьям, подругам, книгам, природе, творениям ума и души, и милость и сострадание, и труд и творчество – только они должны быть в основании нашей жизни и должны ее наполнять? Если и Пушкин сдался, и сокрушенно молвил: "*паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич*"!

Но у меня еще есть долг перед литературой. Написать лучшую книгу я не

сумел. Так не удастся ли мне вместе с единомышленниками издавать лучший журнал в России? Не удастся ли мне найти ту линию, относительно которой по истине и по правде должны разделяться все рассуждения, потому что я вижу теперь ясно, как при тысяче солнц или в предсмертный час, что вся болтовня наша о несущественном?

Начнем с того, что перечислим критерии, которыми надо руководствоваться в отделении хорошего от плохого.

Гитлер сумел справиться с промышленным кризисом в Германии и за пять лет создать самую сильную в Европе промышленность и самую сильную армию – но это не основание для того, чтобы Гитлера восхвалять. Сталин с 21 года до 41 года царствовал двадцать лет, но мы встретили войну разутыми, раздетыми и голодными, армия наша оказалась недостаточно вооруженной, более того, почему-то она была небоеспособной, и скорость, с которой она бежала на Восток и попадала в плен, была беспрецедентной. Даже поляки и французы отступали медленнее. Россия победила (в союзе с другими странами), но умные римляне такие победы называли *Пирровыми* и ими не гордились.

Более я об этом говорить не буду, я знаю, что так же неотвратимо, как гениальность Маркса и Ленина *сдулась*, и оказались они оба непревзойденными шарлатанами, а их теория «диктатуры пролетариата» – такой же лживой и омерзительной, как и химера гитлеровского «тысячелетнего рейха», сдуется и величие Сталина, самого жестокого правителя в истории, самого бездарного и расточительного (в отношении «человеческого матерьяла»). Он принял страну работающих и гордых людей, а оставил страну рабов, дрожащих от ночного стука в дверь. Принял *народ*, а котором мужчины были трудолюбивыми и заботливыми, а женщины любящими и рожающими, оставил же *население* без национальной идеи, спивающееся и вырождающееся.

Но так же, как пятьдесят лет назад мои оппоненты самоуверенно возвещали незыблемость коммунизма, и их самоуверенность оказалась посрамлена (спорил же я с ними *сорок лет*), я верю, что и в теперешнем споре я окажусь победителем, двадцать пять лет (с 92-го года, когда уже в новой России я начал издавать свой первый журнал) уже прошли, осталось мне прожить еще 15 лет до *сорока*. Другие ведь проживают?!

И потому попробуем найти критерии, по которым мы будем отделять верное от неверного, хорошее от плохого.

Общие рассуждения и частный случай

Философия говорит об общем, как и математика, но не имеет тех же методов доказательства, поэтому она не достоверна. Литература приводит частные случаи, казалось бы, частный случай не доказателен? Но он убеждает даже более доказательством.

Вот почему я твердо уже вознамерился рассуждения свои о плохом и хорошем, о христианстве и коммунизме, о царствии Божиим по Ленину и Сталину прекратить – ибо не по хорошу они мѣлы, а по милу хорошѣ!

Но прежде пример один приведу.

В день смерти Сталина я жил в санатории в сибирской Швейцарии, недалеко от Байкала, такое вот чудо выпало мне, как лучшему ученику Тайшетского района и сыну героя. После объявления по радио и маленького митинга в клубе мы, группа младшеклассников, решили пойти в лес (снег уже растаял, в здешней природе ведь царили швейцарские законы), и по дороге кто-то сказал, что когда все заплакали (никто, конечно, не плакал, но все сделали скорбный вид), один Петя смеялся и говорил, что хорошо, что злодей умер. Первая мысль у всех была, что надо бежать и Петю арестовывать, но потом благоразумные сказали, что одним Петей дело не кончится, а сажать и расстреливать за такое будут всех: и родителей, и родных, и друзей, то есть нас, поэтому мы тут же дали клятву молчать и никому ничего не рассказывать (и я только теперь решил эту клятву нарушить, но, кажется, теперь за него уже не расстреливают). К чему я теперь рассказал этот случай? А к тому, что жить можно и с палочкой Коха, но жизнь с нею плохая. А разве не с палочкой страха жил весь наш народ, даже и дети? И зачем сегодня доказывать, что мы ему обязаны победой и прочий такой бред, тем более что при нём доказывающие даже и не жили, и не ели картошку с соленой водой, забеленной молоком (через семь лет после победы). Но да бесполезно доказывать и глухому, что симфонии Бетховена хороши.

Надо, вероятно, писать об ином и иное...

Совместима ли вера в Бога с жизнью?

Христианство – это учение о пассивном отношении к миру и жизни, об отказе от всяческих усилий по их изменению. Ибо *«нужно прежде себя очистить, а затем других учить чистоте; нужно прежде себя умудрить, а затем других учить мудрости; нужно прежде самому стать светом, а затем других просвещать; нужно прежде самому приблизиться к Богу, а затем других приводить к Нему; нужно прежде самому стать святым, а затем других освящать»*, по словам Григория Богослова. Собственное совершенствование (добавляет комментатор) – неременная предпосылка самой возможности успешного служения Церкви, Отечеству, людям... Правда, никто не осмеливается сказать, что я уже стал святым и готов других освящать, а поэтому «прежде», состоящее только в личном совершенствовании, занимает всю жизнь. Однако из этого не следует, что мир так и остается в небрежении – нет, возможно менять и мир, но другим способом, не непосредственным приложением к нему своих усилий. Ибо:

«Духовное состояние подвижников оказывает влияние даже на природу. По словам псалмопевца: *«[Господь] превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод»* То есть по молитвам праведников Бог и неплодородную землю делает плодородной, плодородную же может обратить в *«солончатую, за нечестие живущих на ней»*.

Все сие сказанное не случайно и совпадает с заветом Христа, ибо прежде надо возлюбить Бога всем сердцем, умом и помышлением, а затем уже возлюбить "ближнего", и с другим заветом, что «нельзя служить одновременно двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или

одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? [...] Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; [...]

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? [...] (Но) ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.»

Все сие сказано очень красиво и прекрасный образец христианской диалектики. А что два дела сразу делать почти невозможно, видим мы постоянно, даже иголку вдевать в нитку и вместе с тем чай разливать невозможно, но что-нибудь одно надо делать "*прежде*". Но только у православного, у истинного православного тем более, который взял крест свой и пошел за Христом, "*потом*" никто не наступит, не пойдет он на баррикады в 1905 против загнивающего царского правительства, не пойдет он в 1918 против бесчинствующего большевистского правительства (и патриарх осудил это правительство только в 22-м году, *после* Гражданской войны, когда большевики начали совсем уже раздевать церковь), не пойдет и теперь – никуда!

А русских народников одинаково ненавидят как православные, так и большевики, и тех и других интересует судьба либо вселенской церкви либо мировой революции, Россия им чужда и даже, как кажется, иногда ненавистна.

Возлюбление Бога так завладевает существом человека, что на окружающих часто не остается тепла и энергии, «мне бы только Игнатия на ночь со слезой прочитывать!», говорила мне бывшая комсомолка на мой призыв спасти русскую культуру. Розанов пишет, что в религиозное общество Мережковского приходили и священники и монахи, и он призывал их что-нибудь прочитывать и сходить в театр, и они только умиленно улыбались ему в ответ.

Верить в Бога (не условно, вроде как носить партбилет в кармане, а *к штыку приравняв перо!* – нет, даже более, *заменяв перо на штык!*) – и **продолжать жить**, то есть, например, издавать вот этот журнал – или хотя бы его читать – невозможно, **или вера, или жизнь**. И я не возражаю апостолу Павлу, я именно с ним соглашаюсь. Тем более что часто жизнь требует от нас такого сосредоточения и напряжения душевных свойств, что невозможно на что-нибудь отвлекаться, как снайперу у прицела или хирургу над операционным столом, балерине во время танца или математику при решении сложной задачи. Верит в Бога монах или схимник, но они и отказались от жизни.

А вокруг меня не только *слова, слова, слова* – как говорил Гамлет, а потом повторил Пушкин, но *игра, игра, игра...*

Оправдание

Да, пока не забыл... Меня даже упрекают в том, что я заполнил страницы журнала сочинениями писателей, живших сто и более лет назад, а журнал при этом называю Новым. Надо объясниться. Но, во-первых, мы почти все **не** новые, а давно устарели, и даже самые юные из нас по крайней мере жили в двух противоборствующих эпохах, при коммунизме и ныне, при колониальном капитализме (так как Россия сегодня во многом колония Запада); или, с другой точки зрения, при воинствующем атеизме, антихристианстве – и теперь, при *воинствующем* клерикализме (об исламе спорить не будем, война уже разворачивается на улицах наших собственных городов, но и православные хотя пока воюют мирно, но уже отнимают у нас памятники зодчества и наших возлюбленных. Война идет и за умы.)

Итак, оправдываюсь и объясняюсь.

В прошлом году я разломал до основания старую сгнившую баню (на ее месте у меня теперь растет картошка), и на новом, поодаль, глиняном основании воздвиг совершенно новую баню (в полтора раза меньшую), *по черному* (вся деревня сбегалась посмотреть и все согласны в том, что баня эта совершенно новая). Но при этом вся она составлена по большей части из бревен старой бани, которые я, правда, частью выкидывал, частью обрезал. Только крыша новая и новая печь, но и в ней кирпичи старые. Так что не надо удивляться, что в нашем журнале Иванов-Разумник, Мережковский, Розанов, Берберова, цензор Никитенко, Некрасов и Хлебников – в нем и Спаситель и даже чуть менее старый Дьявол, *князь мира сего* (если верить Иисусу из Назарета). Но баня у меня все же новая, и журнал, надеюсь, должен быть и будет совершенно новым, если мы выбросим те до предела обветшавшие мехи, в которые вот уже две тысячи лет наливают давно прокисшее вино.

Сегодня сто лет февральской революции, завтра – столетие большевистского переворота, приведшего к последствиям, большим всех революций в Европе, вместе взятых, и если мы не поймем хотя бы теперь, через сто лет, что произошло с нами, то завтра Россия исчезнет с метаисторической карты мира.... Да и Европа.. И великая средиземноморская культура. Ибо мы не поняли, что произошло с нами две тысячи лет назад, и исчезла великая эллинская культура, математика и история, театр и трагедия, физика и метафизика, а затем исчезла и великая Римская империя и античная цивилизация. Тот прежний бор, шумевший по берегам Средиземноморья и выкорчеванный до последнего пня, вдруг пророс во втором тысячелетии – и современные монахи могут подсчитывать число ангелов даже с помощью логарифмов и звонить по мобильнику в соседнюю обитель – так изменилась вдруг жизнь, которую не всю отряхнули с ног своих по призыву апостола Павла – но в моей Европе, «стране святых чудес» (Достоевский) возрождается та дикость, которая в ней была до пришествия Рима, а в моей России возрождается Средневековье... И нет ничего более трагического в моей судьбе. Это даже больше, чем несчастная любовь, из-за которой стреляются и погибают. Мы, *подлинные люди*, последние русские в этой стране, тоже скоро погибнем. Вот почему в журнале *человек и Россия* прежде, а Бог потом – Бог сильнее нас, выживет, мы – нет!

Однако, я надеюсь, что этот журнал будет не для одного только спора, действенного или схоластического, но будет иметь и просветительский характер. Во-первых, мы будем узнавать и новинки литературы и философии и вспоминать значительные факты литературного прошлого – следовательно, мы будем либо учениками, либо учителями в нем. Во вторых, мы все же будем обсуждать и **разномыслие**, в спорах отстаивая истину – но при том условии, что кто думает, что уже знает истину, не будет вести себя по отношению к другим, "заблуждающимся", так, как вели себя инквизиторы, то есть будет уважать право на инакомыслие у своих оппонентов, а не писать заявления в Инквизицию с требованием привлечь оппонента к ответу либо за *богохульство* – по этому обвинению был распят Христос и сожжена Жанна Д*Арк, либо за оскорбление чувств (верующих или неверующих) – по этому обвинению был сожжен великий ученый Сервет, либо за клевету – по этому обвинению были объявлены сумасшедшими и почивший давно Чаадаев и живой пока скромный учитель математики.

Но еще важнее просвещения сама способность к восприятию мира и к размышлению, к поискам истины, то есть способность к умозрению или хотя бы просто способность *смотреть и видеть*. Для этого нужны видящие очи, для этого должен придти **Сеятель очей** – и надо ему хотя бы *помочь сеять очи* – и это будет великой заслугой журнала.

Но не только невежество – причина духовной нищеты, но и духовное пленение, духовное рабство. «Что в этих книгах?» – спрашивали воины Христа и Магомета о книгах Александрийской библиотеки. «Если в них не то же, что в Библии или Коране, то они вредны, если то же, то бесполезны». Так могли спросить (и спрашивали) марксисты, маоисты, большевики, нацисты. Все, кто неколебимо уверил себя в обладании **полнотой истины**, опасен для свободы человека и народа. Но так что же, надо во всем сомневаться? Нет. У нас есть алгоритм для отыскания простых чисел, но мы никогда с его помощью не исчерпаем весь ряд. Если истина – это хотя бы видение мира (не говорю уж о небе и Боге), то каждый из нас видит не слишком большую его часть, даже самые разумные. А как ведут себя православные? Им кажется, что надев крест, они уже вместили в себя не только весь мир, но и всего Бога. Так же ведут себя и марксисты, известна поэтическая формула Маяковского о рабочем, который только *слышал, как говорил Ленин, и он уже знал всё!* Скромнее был апостол Павел, который даже после встречи с Христом учил своих последователей: «мы *отчасти* знаем, и *отчасти* пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; *теперь знаю я отчасти, а тогда познаю*, подобно как я познан.» *Тогда...*

Итак, все мы что-нибудь знаем (если знаем) пока только *отчасти*, христиане и марксисты, верующие и атеисты, крестьяне и «инженеры человеческих душ» (впрочем, чем более уверен человек в своих знаниях, тем чаще он оказывается невежественнее других).

Участие в журнале, сочетающем художественную литературу, философию и критику, окажется благотворно всем нам, читающим и пишущим, и ученикам,

и претендующим быть учителями. Я – учитель – но одновременно я и ученик (как и всякий хороший учитель).

Знаю ли я истину? Да, в такой же мере, в которой другие учителя математики, обучившие уже не одно поколение учеников ее премудростям. Я знаю и житейские истины (отчасти), может быть в меньшей степени, чем моя мать (крестьянка). Современные верующие (в отличие от скромных русских бабушек прошлого) странно (или безумно) уверены в том, что то, что они верят в Бога, делает уже их автоматически лучше и совершеннее других, что уже одно это словно бы гарантировало им рай, словно бы уже поставило выше меня, сделало, так сказать, сопричастником Христа. Такое самомнение само уже богохульство, в действительности они не должны быть уверены, что им гарантировано спасение, а мне – вечная гибель. Но те из них, кто читал Новый Завет и хоть отчасти знает историю, возможно, кротко и смиренно согласятся жить с нами, другими, в одном общем мире, не затевать против нас крестовых походов, не сожигать нас на кострах инквизиции. Правда, возможно, они откажутся сотрудничать в журнале с еретиками и атеистами – или, что для них еще ужаснее, с «нехристями», верующими в каких-то других богов (хотя все другие боги – демоны!) Тем более что писания атеистов оскорбляют чувства верующих и караются в современной России законом... сложно стало жить... *я, впрочем, готов терпеть поношения своего неверия и никого не буду привлекать к ответу перед инквизицией.* Да и судам я не доверяю, они осудят скорее меня, даже если я не виновен. (Впрочем, кажется, я уже наговорил на "статью", так что не надо подавать уже в суд, тот сам привлечет меня в свои объятия). Но пока еще я на свободе, продолжу.

Выскажемся. Подвергнем критике сомнительные высказывания и слабые стихи. Возможно, даже покаемся в заблуждениях. Изменимся. Возможно, изменюсь и я – до ареста или после... *Будем сеять очи...*

Но зачем?

Прежде всего, я хочу сам узнать, что надо делать и как жить, чтобы не было стыдно жить, чтобы не было страшно умирать. Три идеи мучают меня: Бог, Россия, Любовь. Но еще *самостояние* (здесь множество подобий: свобода умозрения, свобода духа, совершенство личности... и т.д.); *становление личности* (это некий образ, можно сказать и иначе, например, «стать человеком», стать милосердным, ... точнее я объяснить не могу).

Бог подменяет собою отечество, Россию, подменяет собою самостоятельную личность, стремление к совершенствованию, самопознанию... Передо мною стоят такие задачи: помочь России справиться со своим падением (а она падает, только православные, ослепленные своей любовью к Богу и равнодушием к России, этого не видят); помочь культуре выстоять в нынешнем оскудении; помочь человеку (хотя бы родным и друзьям) выстоять в нынешнем растлении. С теми, кому дорога Россия и Культура, нам есть о чем поговорить. Те же, кому достаточно бога, со мной говорить не будут... Но, как сказал Христос, только перед концом света уверуют все, но когда уверуют все, тогда то и придет антихрист. Так не возложена ли особая миссия на задерживающих всеобщее, чтобы задержать Конец света?

Предисловие, поставленное в середину

Зима была трудной и опустошающей, то болезни, то хандра, может быть, та самая, которую переживал и о которой писал Пушкин – только у меня нет ни лошади, чтобы скакать по полям, ни кучера, чтобы велеть заложить ему санки и промчаться по зимнему снегу, нет соседей-помещиков, чтобы поехать к ним в гости на блины. Впрочем, это не жалоба и не зависть, я даже не думаю, что в целом моя жизнь изобилует большими трудностями, чем Пушкинская, вчера был творческий вечер у Тр., и разве не выпили дружно все за меня? Так что ничего, прорвемся, весна уже разгорается, завтра еду в деревню, и такая благодать там наступит!

Кроме хандры, мучает меня разочарование. Я почему-то всю жизнь был уверен, что в каких-то отношениях я самый умный – ну, например, я знал, что не знаю причин Русских революций 17-года, когда для всех других образованных людей они были очевидны, не знал, почему русские люди так яростно защищают почти всякую свою власть, даже ту, над которой смеются, почему из двух правителей больше любят более жестокого, например, любят Ивана Грозного за то, что он был **Грозный**, ненавидят Хрущева за то, что он развенчал Сталина, хотя за 11 лет хрущевского правления никаких значительных бедствий народ не испытывал, ни Гражданской войны, ни голода 22 года, ни голода 32-го года, ни Германской войны и нашествия немцев до стен Москвы и берегов Волги, ни массовых расстрелов по сто тысяч за год в одном Петрограде, ни раскулачивания, ни Архипелага Гулаг как вселенской заразы на всю страну, от Бреста до Чукотки. Я пишу книги о своем разочаровании, но не могу проникнуть в души моих соотечественников, не могу понять, почему не могу их объяснить и найти с ними общий язык. А ведь при этом я легко схожусь с детьми, я разговариваю с ними почти обо всем в мире, они со мною соглашаются без уговоров, что злым быть плохо, а добрым – хорошо, что не надо ябедничать (то есть, писать доносы), не надо завидовать, брать чужое, надо, наоборот, делиться своим, надо сочувствовать – и уже в песочнице они меня понимают, да и сами так думают... По-видимому, никакого особенного ума у меня нет, мне это показалось.

Не понимаю я еще, почему наш народ был так настроен против частной собственности, ненавидел богатых, и так легко смирился с тем, что вдруг появились цари и олигархи, что они присвоили себе всю власть и все богатства столь обширной страны – ВСЕ были за всеобщее равенство, вдруг в одночасье приняли неравенство и готовы за него умереть! Смотрят с упоением кино про богатых, завидуют им, но ими восхищаются! Прежнего царя, законного, "помазанника божия", так легко и с упоением сбросили в шахту, вдруг навывирали новых царей и радостно возглашают: *Боже, царя храни!*

Итак, самое существенное во мне то, что я ничего почти в человеке не понимаю, ни почему он поклоняется **«религии смерти»** (как называли христианство еще в первом веке римские публицисты, задолго до Розанова и Мережковского), ибо де она является **"горением духа"**, не понимаю и то, что такое этот самый ДУХ, если он противопоставляется и так яростно борется с человеком и человечностью, с народом и народностью, с культурой и счастьем. И все же, вопреки своему непониманию и отчаянию, продолжаю **ИДТИ**,,,

Кипение страстей

I.

Сколько я себя помню, я постоянно был в страстях и волнениях, то страсти кипели, когда я очаровывался, то скорбь угнетала, когда разочаровывался. Ровное вдохновенье горения (христианское ли **горение духа**, пренебрегающее счастьем и болью миллионов, логикой и метафизикой, природой и культурой, пренебрегающее даже детьми, многие из которых приговариваются к *вычерку из книги жизни* (это не я говорю, а Розанов, признанный *христианский философ* – хотя какая-то может быть христианская философия – как и история? Не "социалистические ли таблицы логарифмов" по Глазенапу? Не с "затруднениями ли *историка-христианина*" по Флоровскому – говорить ли правду, как она есть, или переиначивать ее так, чтобы она стала выгодна "христианским историкам"? Философия как служанка богословия? [Апостол Павел, комментируя сожжение Содомы и Гоморры вместе с малолетними детьми за грехи горожан, многие из которых отступили от природной любви, не выдержал, отступился от суровой правды богословия, и добавил – "это нам говорится **как образ**, в назидание".]

Но в детстве я был спокоен, смотрел на облака и цветы и ждал, когда вырасту, ибо, по обещанию (завету) ангелов Божиих, тогда я должен был постараться о том, чтобы *все-все стали счастливы* [напоминаю, что бесы к безгрешным еще детям не могут придти с ложным заветом и выдать себя за ангелов, вопреки истории, приводимой в Свяцах, о малолетней девочке, которая после смерти попала якобы в ад за греховные помыслы. А напоминаю потому, что все еще *в кипении*, ибо когда я обратился к Государственной Думе с просьбой как то помочь одной многодетной семье, в которой девочка Жанна просит на перроне вокзала *денежку на хлеб* – а с иными из руководителей Думы я учился в одном классе и был для них кумиром и они меня тогда любили и даже позже не отказывались со мной выпивать], то мне привели историю из Святцев и объяснили, что и у Жанны и у меня, когда-то младенческого, могли быть греховные помыслы (вопреки апостолу Павлу, призывавшему братьев *стать как дети*)

К сегодняшнему дню я стал чувствовать себя взрослым, даже стал обуздывать некоторые свои страсти, и когда священник велел Гоголю... то есть, нет, велел N выбросить на помойку мои книги и к любви относиться с отвращением а ко мне как к служителю дьявола, то я перестал с ней прогуливаться рука об руку, почти уже ее позабыл, и писем не пишу и не знаю, счастлива ли она теперь (хотя для христиан земное счастье только соблазн, подлинно же надо стремиться к страданиям – так и у Достоевского!)

Итак, я уже взрослый, не подросток (каким был всегда), страсти стараюсь обуздывать, и эта статья – исторический очерк а не противопоставление христианской бесстрастности и духовной любви земных страстей.

Правда, основной коллизией моей жизни и источником страстей является не стремление к вертихвосткам и очаровашкам и сумасхождение от "похоти

очей" при взгляде на них – и в тюрьме я сидел не из-за них, и не за те или иные отношения к человеку, как у Достоевского, который то проповедовал возвышение над людьми (устами Раскольникова), то равнодушие к семейным узам (устами Ивана Карамазова), то отстоянье от женщины (как Идиот или Алеша Карамазов) – хотя и должен был Алеша от ея и патоки пойти в социалисты и бомбометатели (таков был план неоконченного романа). И должен был в известном смысле вернуться к молодости Достоевского – хотя ушел ли сам Федр Михайлович от тех идей, не совсем ясно. Я вот в его христианство не верю, Контстантин Леонтьев к его христианству относился неодобрительно и в письмах к Розанову советовал поскорее тому освободиться от тлетворного влияния *эФ.эм.*

Даже юная Аглая на глупости князя Мышкина о том, что мир спасет красота, заметила, что ничего подобного в евангелиях нет и неизвестно, откуда он взял этот бред (да это и вообще скромный эпизод из романа, и хотя героини Достоевского все красавицы кроме юродивой Лизаветы, но вся всемирно-историческая Идея о **спасении мира красотой**, близкая и моему сердцу, сочинена **Владимиром Соловьевым** по мотивам Ф.М., затем подхвачена была в эмиграции кажется Лосскими и другими...) [Кстати, когда Аглая приехала из Парижа в Пулково для писанья диплома по астрономии – училась она в Сорбонне и приехала она к моему товарищу, не ко мне, но так уж случилось, что я ее перехватил в его кабинете, и на ее неземное... то есть не русское произношенье воскликнул: *Вы не Аглая?* – выяснилось, что вопреки исторической правде, уже и Аглаи поверили, что мир спасет красота (вопреки христианству) – и сначала все было хорошо, ибо я ей сознался в том, что в 20 лет девушки, бредившие Достоевским (у нас в университете как раз на астрономическом факультете, где я и учился) меня производили в "князя Мышкина", но что и тогда Аглая мне нравилась больше Настасьи Филипповны. Но нет счастья в жизни... Денег у меня для поездки в Париж на ее розыски нет, славы нет тоже, Достоевскому я в то время, десять лет назад, еще уступал в блеске и привлекательности, и тогдашнюю мою книгу, которую я ей тогда подарил, она, поди, и не стала читать... Во всяком случае, вернувшись в Париж, она про меня позабыла...]

Но вернусь к страстям

В 20 лет я был неким соединением князя Мышкина и Алеши Карамазова, находясь уже и под влиянием Розанова и Иванова-Разумника, о которых мои современники и не слыхивали, но не забывайте, что на первом курсе я создал нелегальный марксистский кружок, затем увлекся Фихте и Дюрингом, Библией, Уайльдом (его сочинением "Душа человека при социалистическом строе"), Н. Я. Данилевским (Россия и Европа) – и эту книгу через тридцать лет я первый в послереволюционной России издал полно с обстоятельным научным аппаратом и вступительной статьей профессора Галактионова – и через полчаса после его смерти его вдова мне позвонила и передала последние слова умирающего, что встреча его со мной для него самое главное событие в его жизни, и привожу я эти слова не в похвалу себе, а как дань памяти выдающегося и прекрасного человека, одного из тех, которые меня и создавали (и если даже и Бог, то именно их руками).

И здесь же уместно в завершение рассуждений о *спасении мира красотой* привести из вступительной статьи профессора Галактионова слова Николая Яковлевича Данилевского о красоте.

«Красота есть единственная духовная сторона материи – следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира. То есть красота есть единственная сторона, по которой она (материя) имеет цену и значение для духа, – единственное свойство, которому она отвечает, соответствует потребностям духа и которое в то же время совершенно безразлично для материи как материи. И наоборот требование красоты есть единственная потребность духа, которую может удовлетворить только материя».

2.

Итак, до десяти лет я был спокоен и ждал, когда вырасту, чтобы спасти мир (именно спасение мира в его русской определенности я и считал своей главной задачей, порученной мне ангелами в шесть лет). Потом начались страсти, но не только из-за девочек, спасти я должен был народ и Россию – от бедности, несправедливости, невежества, страданий.

Для этого я увлекся социализмом, изучал Герцена, Маркса, Бакунина, Штирнера, Ленина, Плеханова, читал даже Каутского «Историю социалистических идей», увлекся христианством, спасением души (но не своей, а неких погибающих), затем начались разочарования в одном, другом, третьем, метафизическая идея *спасения* заменилась идеей *освобождения* и *свободы* как главной духовной категории бытия, причем на первый план выдвинулась идея *духовной свободы* (или освобождения) от тотального подавления личности христианством и большевизмом.

В конце концов я пришел к выводу, что даже Истина, раз найденная и возвешенная, уже является препятствием к полноте и развитию личности и общества и требует от мыслящего человека постоянного подчинения и соответствия внешним идеям и мнениям, всему тому, что общепринято, что принято современным обществом (как правило, *правлящей его кастой*) в качестве Истины. Я изложил свои взгляды в рукописи «Духовное освобождение и Русь», читал ее друзьям, не размножал и не передавал за границу, но «в самой свободной стране мира» меня посадили – за клевету (времена повторяются. Введение в действие Закона об оскорблении чувств верующих или неверующих, с призыванием ученых экспертов, совершенно полно возрождает Священную Инквизицию и эпоху большевистского Террора – и даже эта часть фразы уже достаточна для того, чтобы меня посадить за оскорбление – государства, суда, общества, власти...)

После тюрьмы (оказывается, вопреки Марксистско-Гегелевскому понятию свободы как осознанной необходимости существует и обычное *освобождение* из тюрьмы) я жил частной жизнью, собирал книги (и в этом занятии достиг кипения страстей не меньшего, чем в стремлении уйти в монастырь в 20 лет), слушал музыку, устраивал домашние литературно-музыкальные вечера и ждал, когда же начну "видеть мир не сквозь мутное стекло".

Но сразу после тюрьмы (и сумасшедшего дома – большевики еще тогда изобрели это новое явление: *два в одном*) случилось одно важное в моей жизни событие: мы с товарищем путешествовали по Прибалтике, чтобы я пришел в себя, мне был 31 год, я выпитывал мир заново, учился вновь им восхищаться (вопреки христианской ненависти к миру), и смотрел, разумеется, на девушек (то есть предавался "*похоти зрения*", как это называл апостол Павел).

В одном крупном городе нас познакомили с почтенным старцем, игуменом Авраамием, которому было тогда 93 года (чтобы не обидеть его почитателей, не указывая ни время ни место. Известно, что каждое явление и каждая личность существуют двояко, есть моя Россия и Россия для Европы – а образ ее тот же, как о нем писал 150 лет назад еще Данилевский, есть моя бывшая подруга, которую мне бесконечно жаль – и любовью можно назвать только единство *влечения и сострадания*, почему *НЕ существует любви к ближним*, но существует и влечение, то есть всемирное притяжение любви, и сострадание, милосердие, жалость), но есть она же, но весьма по-другому, для других. Вот так же и я не один, для сочувствующих противоположный тому, которого видят ослепленные тотальной идеей (и тому ли маршалу Мерецкову, которого знал мой отец, лично выбивал зубы пламенный большевик Берия?)

Итак, я пишу о своем игумене Авраамии, не о том, которому поклонялись паломники, и не хочу их обидеть, вспоминая о том, который был для меня. Впрочем, это было давно...

В келье мы сели за стол, матушка Ефросиния нам прислуживала, на столе стояли три бутылки крепких напитков, бутылка вина... все это мы выпили, разумеется, потом шли по улице, временами взлетая над ней. Игумен совсем не пьянел, хотя закусывал только салатом – был пост.

Пьянка наша продолжалась до утра, говорено было многое, но чтобы не утомлять читателя, приведу только несколько важнейших слов святого отца.

«Я каждый день и каждую ночь спорю с Богом, – говорил Авраамий. – *Ночью Он мне доказывает, что его нет, а днем я убеждаю Его, что Он есть. Но страсти то кипят!* Зачем же Ты создал меня из страстей, если хотел, чтобы я был частью Тебя? Зачем же Ты довел меня до того, что я уже собираюсь уйти из монастыря и жениться? И ведь есть и такие паломники, что согласны за меня замуж пойти!»

Кто-нибудь из "людей лунного света" (выражение Розанова) мне возразит, что речь идет о низкой "природной любви", которую надо отвергнуть во имя любви высокой, как отвергает монах плоть во имя духа (и плоть отвергается вместе с красотой, родом, детьми – но и с народом, ибо народы произошли не от духа, а от плоти. Впрочем, в этом коренное заблуждение всех одномерно воспринимающих мир. И человек – ни дух и ни плоть, и ни мир в целом, и не противостоит духовное миру, жизни и культуре, но является их частью. Мы живы лишь до тех пор, пока в нас вместе и дух (душа) и плоть, не живет одно только тело, не живет и одна бестелесная душа, даже у монаха. Более того, скудной жизнью живет христианин, отвергнувший труд и творчество, культуру, семью, свой народ, и заботу о близких во имя любви к Богу. Но **любовь к Родине** (о необходимости которой не говорит христианство), не заменится самой иступленной верой! Без любви к человеку невозможна любовь!

3.

Кипение страстей сопровождало меня всю жизнь, и притяжение, притягивающее мужчину к женщине, было не самым всеобъемлющим.

Что наполняло мою жизнь? И все то, что было у всех, я и распивал на троих, и обнимался, дружил, работал, доказывал теоремы, важнейшая из них о полноте вещественного ряда чисел, и открыл "ряд ведьминских чисел" (аналогично числам, определяющим пифагорейские треугольники), и писал книги, – но Родина никогда не переставала наполнять мою жизнь (как математика, музыка, поэзия и философия).

Я *народник*. Сторонник национальной идеи как основания жизни и культуры. Не боюсь сказать, что такое мировоззрение можно назвать и "просвещенным национализмом" (мне только иностранные слова не нравятся в русской речи, поэтому я избегаю слова "националист", но не идеи, выражаемой им, то есть любви к своему народу (как марксист разделяет мировоззрение Маркса, служившее основанием для человеко-ненавистнической практики истребления целых классов в России), материалист кланется в любви к материи, христианин посвящает свою жизнь Богу, объявляя и мир и человека ничтожными и презренными, а "плотскую любовь" (в том числе к детям) объявляя отвратительной – или мы разные книги читали? [Сделаю небольшое замечание. Христианский "философ" прочитал больше меня, он в статье или книге приведет сотни текстов, соединяя их или сталкивая в доказательство своих положений, я же за свою жизнь ничего доказать не сумел кроме нескольких теорем. Я читал из потребности ЖИТЬ, как слушал я музыку, смотрел на цветы, целовался с красотками. Но не смею я встроить красоту в силлогизм, доказывающий преимущество жизни, которую я *переживаю*, ибо о всякой жизни написать можно повесть или рассказ, но в силу своей частности, они ничего не доказывают. Правда, ничего не доказывают и аксиомы, положенные в основание наших учений, ибо аксиомы не доказываются, но утверждаются, а из них те, что высказаны в Священном Писании, читателя повергают в такой трепет, он так научился бояться за две тысячи лет, что его сожгут, что он молчит, принимая без обсуждения, либо лепечет вздор, прячась за Ницше и Ленина.]

4. Деизм

И все же скажу несколько слов о собственном опыте отношения к Богу, который ничего не доказывает (правда, и встреча Савла с Христом на дороге в Дамаск не является доказательством сакральной истины этой встречи, если бы только Послания Павла церковь не объявила не его собственными воспоминаниями о происшествиях его частной жизни, но Богодухновенными текстами. Если я завтра скажу, что я и есть Истина, то и мои слова не потребуют доказательств – но я пришел не для того, чтобы сообщить Истину (я даже теорему Ферма доказать не сумел), но чтобы заявить о необходимости *духовной свободы и любви к Родине*. Но я знаю, что «есть скопцы от людей, а есть скопцы во имя Бога», как говорит апостол Павел, и поэтому знаю, что не все мужчины любят женщин, не все женщины испытывают материнские чувства, не все люди нуждаются в Родине.

Возможно, сегодня мы вблизи Конца света. И хотя без родины не будет государства, как без церкви не будет религии, монастырей, храмов, священников и богословов – увы, их без государства еще скорее не станет, не станет их и в том случае, если все матери перестанут рожать или будут рожать только по одному, и хотя пустою Русь не останется, заселят ее татары, турки, китайцы, и станет она Новой Тартарией, но у них будут свои священники, зачем им наши батюшки, зачем им наши профессора Духовных Академий, пишущие пятитомные Исследования о Русской поэзии (хотя какое дело христианскому богослову до Поэзии, внушенной бесами?)

Вероятно, я в Бога не верю. Кажется, я его даже *не люблю* – в особенном иудейском, по Моисею, или христианском, по Завету Христа, смысле, как нельзя говорить, что я ЛЮБЛЮ небо, солнце, лес и поле...

Но я восхищен МИРОМ, я чувствую движение вод из земной тверди навверх и с гор стекающих вниз, я люблю вечерний закат, шум ветра, люблю Природу в целом, чувствую закономерность и целесообразность всего того, что есть в мире, удивительную гармонию Земного шара, целесообразность устройства природы, рыб и зверей, обилия видов, обилия частных и совершенство целого. Мир создан великим Зодчим, я даже понимаю и вижу не только резец скульптора и чертеж архитектора, но и расчет математика. Тяготение обратно пропорционально **квадрату расстояния** – и меня это поражает: это ведь напоминает точность поэзии, здесь нет ничего приближительного, но все АБСОЛЮТНО.

Какой там Князь Тьмы? Здесь именно Гений Творчества (пусть даже творящего из Ничто! – тем удивительней!), гений поэзии и математики (пусть даже Он умеет из камней создавать детей Аврааму (по слову Христа), миную женщину (хотя все таки с женщиной поэтичнее!!!)

Мир божествен, пронизан божеством и эманацией духа, он создан так же, как я создавал свою баню (по существу, из ничто, разрушив полусгнившую старую баню и используя для постройки то, что уже никому бы не пригодилось). Я нашего Бога, Бога философов и поэтов, понимаю, ощущаю, как в холод ощущаешь и понимаешь живительность солнца, выглянувшего из-за туч. И зачем все эти иудейские угрозы, зачем все эти костры инквизиции? Разве надо приказывать поэту любить поэзию, а музыканту – музыку? Когда Полина садится за Рояль, я ее люблю даже независимо от всемирной любви! Ибо она моя богиня, и вера в нее совпадает с любовью. Но разве я ее боюсь? Я даже рискнул подойти к сцене и вручить ей цветы и поцеловать руку. И без страха божия я общаюсь и с моим Богом, и когда он мне говорит печально, что пока не может научить меня писать лучше всех, я его понимаю. Я еще подожду. И тогда я сумею доказать, что Он есть, мой собственный Бог, не требующий отречения человека от мира, родины, рода, культуры, отречения от плоти и красоты.

Но пора рассказать о той ночи, которая случилась неделю назад, пока воспоминания о ней не побледнели и не забылись те идеи, которые я обосудал с волхвами, разбудившими меня, чтобы я еще жил...

Итак, накануне днем я то прибывал доски к дому, то отдираал их, исправляя свои просчеты, яростно устал и в завершение дня затопил баню.

Жар бы великолепный, я хорошо прокалился на полке и блаженствовал за ужином. Разумеется, не обошлось и без стопки (с чаем).

А в четыре часа ночи я проснулся оттого, что у меня, во-первых, часто забилось сердце, и во-вторых, начался потрясающе важный спор-диалог с *волхвами*. Рядом на кресле лежало лекарство, мне надо было положить горошки его под язык, затем повернуться сначала на один бок, потом на другой – и заснуть.

Но... лень было вылезать из-под одеяла и тянуться за лекарством. Кроме того, я думал, что само это болезненное состояние, словно бы на границе жизни, и позволяет мне видеть дальше и глубже обыденности, слышать и говорить нетривиальное.

Еще давно я заметил, что сбивчивое сердцебиение как-то умеряется правильным дыханием, надо делать глубокий вдох, задерживать дыхание, потом дышать ровно и спокойно. И потом снова... И я так и начал дышать, прислушиваясь к волхвам. И я понял, что сердце символизирует душу (без нее жизни нет и тело безжизненно, и даже дыхание не существует и бесполезно), а дыхание, которое важно для жизни (после сердца) и без которого временно можно обходиться, это Дух, помогающий и телу и душе жизнедействовать. Но все же остальные мои рассуждения, то есть ум (или сознание) сами по себе, и когда сердце исправно бьется (то есть душа в теле), то именно ум связывает нашу личность с окружающим миром, и даже с волхвами мы переговариваемся через ум. Более того, я спрашиваю, почему в моей России я ничего не смог путного сделать, и понимаю, что ума не хватило! (А почему я не в состоянии изменить жизнь Ани, которую я и кормил, и вещи ей привозил из города, и вот теперь деньги мы с женой ей посылаем, чтобы она ребенку своему варила кашу, и я даже обувь привез удобную для ее работы, у невестки выпросил, но муж от нее куда-то ушел, работу она бросила, мобильник продала... И почему я не в состоянии изменить жизнь Вовы, который, пока я в магазине что-то покупал, ждал меня, да кстати я купил и вина, которое нечаянно оказалось полусладким и у меня от него заболела голова и лучше бы я отдал его Вове, который и ждал меня у магазина – но тут же стояли ребятишки, которые меня любят, и Вову всячески от магазина отгоняли, и Вова меня тоже любит, он за меня даже рубаху рвал, кричал, что ВИ другого такого в мире нет – но Вова куда-то пропал, не дождавшись меня. Верно, где-то лежит... А только я один из всего поселка, находя его где-нибудь в канаве, и тащил до нашей деревни, пока жена у околицы в полночь глаза проглядывала, куда ее муж от автобуса делся, позвонил и пропал – а я не мог еще позвонить, потому что как брался за мобильник, Вова падал мордой на каменистую дорогу, а если я его укладывал на ней на спину, переворачивался и начинал ползти мордой по каменистой дороге... Нет, не в уме дело, что я никого не могу спасти (хотя Россию спасти бы мог, родись я царем как Петр или Николай или тот или другой Александр...)

Мог я взять и лекарства из кресла и утихомирить сердце, то есть свою душу, следовательно, во мне кроме сознания (ума), души и Духа есть еще и Воля, ибо от нее зависело, что я потом смог бы повернуться сначала на один,

потом на другой бок и заснуть (хотя и говорит Игнатий, и Константин, и за ними русские религиозные философы, что всё в воле божией, а не в моей, и моя кажущаяся воля в Его воле . . ну, это псевдо-диалектика, тупая схоластика и просто вздор и бред, даже Декарт, отождествляющий животных с машинами, не уподоблял человека ни машине ни безвольному предмету, претерпевающему только воздействие внешних сил и не имеющему внутренних).

Итак, **сознание** (по повелению воли начинающее мыслить, откуда мы узнаём, что существуем – хотя я еще не взялся за лекарства и не повернулся на бок и слушаю волхвов – на ГРАНИЦЕ), **воля, душа, дух и плоть** (тело... впрочем, только отчасти) не тождественны одно другому, хотя и связаны, и с волхвами я разговариваю об отношениях личности и Бога, о влиянии Бога на мир, проявляющемся многообразно, прежде всего в том, что мир создан не хаотически, наобум, абы как, по сумме случайных коловращений, но ЦЕЛЕСООБРАЗНО, продуманно, математически, инженерно, философски, поэтически, и даже математика и поэзия в такой же степени свойства мира, Бога и человека, как солнечный свет – свойство солнца, а способность растения впитывать солнечный свет и произрастать – свойство растения... и я говорю волхвам, что вот эту естественную и сверхъестественную одновременно сущность мироздания и бытия я не только чувствую, но во многом и понимаю, и двойственность бытия и единство, и противоречия его и гармонию. И эта способность понимания вложена в меня от рождения, как и способность отличать добро от зла и красоту от безобразия, хотя одновременно они во мне и *культивируются* (под влиянием родителей и рода, учителей и школы, культуры и культа). Но прежде всего меня волнует судьба России и моя способность поумнеть и научиться писать магически... *Я уже многое понимаю, но еще почти ничего не умею.* Раскол мой с обществом, сошедшим с ума, в том, что я ЗНАЮ, что Сергей Радонежский построил обитель, уйдя из Москвы (которая превратилась затем в Троице-Сергиеву Лавру), и молился, но и работал и оказывал влияние на мир и пример миру (придя к крестьянину, чинил три дня его забор, и только потом взял у него **за работу** засохшие куски хлеба для еды), и затем (будучи примером и нравственной силой), благословил Дмитрия Донского на битву с татарами (в то время как русская церковь была тогда против противостояния законной ханской высшей власти Золотой Орды, ибо всякая власть от Бога), и дал ему двух иноков, Пересвета и Ослябю, сыгравших мистически-символическую роль в исходе битвы, но исход борьбы русских с татарами определился этой борьбой и гибелью многих наших воинов, так что сам Дмитрий лежал погребенный под грудой тел, и исход борьбы русских с немцами определился тем, что мой дядя погиб героически в Бресте, и мой отец погиб героически на Безымянной высоте, но не молитвами, хотя я знаю, что если правильно дышать, то сердце начнет утешаться и я переживу эту ночь, как и прежде бывало, что не одними таблетками, но и не одной магией, но и дух и плоть, и солнечный свет и великая русская культура ... нет, невозможно мне быть ни с коммунистами, чуть не угробившими Россию и русский дух, ни с христианами, во имя своего Бога и спасения своей поставленной надо всеми

ценностями бытия личной души равнодушными к России. (В чем для них Святая Русь, чем дальше тем меньше понимаю. В Иоанне Грозном, самодуре и восточном сатрапе, разгромившем Новгород, но шведам отдавшем последний выход к морю? В нежелании средневековой Руси впитывать западную возрождающуюся после христианского погрома ученость, которую потом Петр Великий топором насаждал, прорубая окно в Европу? В ненависти Игнатия Брянчанинова к плотской любви, гордости, чести, достоинству? В том, что русская церковь предала последнего царя, вместе с Генеральным штабом способствуя падению монархии? В том, что самая героическая и самая возвышенная страница русской истории связана с Белым движением – но церковь до 1922 года (до ленинского изъятия церковных ценностей) НЕ осуждала большевистский режим и НЕ поддержала Белое движение!?)

Я не сумел помочь Аниной маме Юле, пока не изменилась природа окружающей жизни и не нашлась и для нее работа (в моем медвежьем углу, как и во всей провинциальной России, в отличие от самодовольных и спясающих свою собственную душу Москвы и Питера, работы для половины населения нет, вот эти Вовы и валяются в канаве, не видя смысла жизни. Способна ли им помочь христианская церковь?)

Почти все христианские тезисы оттаскивают человека от **ДЕЯТЕЛЬНОГО** участия в окружающей жизни (не только своей эгоистически самоценной), и особенно требуя от человека, чтобы он всякое **дело спасения начинал с себя**.

Мать кормит и воспитывает своего ребенка, и каждый день своей жизни начинается с него! Этот **ЗАКОН** естественной природной родовой жизни и является основой нравственности, России, культуры, **СПАСЕНИЯ**. Да разве он не дан Богом прежде всех и всяких других законов?

Даже кубинские коммунисты, восклицавшие «Родина или смерть» ближе к Богу, хотя и не читали Розанова, возгласившего, что христианство – религия мертвого Бога. (Жаль, не успею я записать свой тогдашний разговор с волхвами полностью, он забывается, а мне надо срочно чинить свой забор, ибо сегодняшний день как и всякий, я начинаю не с себя, но с работы – с забора, ремонта дома, копки грядок, с **возделывания и редактирования природы**, мира, человека и России – в этом редактировании и заключено их спасение.

5. Причины и содержание Октябрьской Революции

1917 год, год Революционных потрясений, можно рассматривать как совокупность двух принципиально различных революций или как два этапа одной – так мы детство и юность воспринимаем как принадлежащие одному человеку, а не двум разным. Аналогично исследование и Великой французской революции, включающей в себя и якобинский террор и термидорианскую реакцию (?).

Правда, в этой общей русской революции, состоящей из двух: сначала буржуазной, потом пролетарской, разместились и несколько других революций, и понимание этого позволяет понять характер их всех.

Во-первых, обе указанные революции были социально-политическими и экономическими, речь в них шла о месте под солнцем того или иного класса, причем на втором, пролетарском, этапе, даже не о преобладании, а об исключительном, единичном существовании. Как Германия в 41-м году поставила своей задачей завоевание России и не только подчинение русского народа своей власти, но и полное вытеснение его по крайней мере с европейской территории страны, и даже тотальное уничтожение всего народа – не только обращение его в рабство, но и "вычерк из книги жизни", так и вожди Пролетарской революции поставили задачу уничтожения всех российских сословий кроме "пролетариата" (относя себя, правда, к некой особой группе). Крестьянство и казачество приговаривались только к частичному уничтожению, а частично к социальной адаптации (за счет переселения в город одной части и обращения частной хозяйственной жизни в коллективную для другой).

Обращаясь к истории революции и первых десятилетий политической и культурной жизни в России, наблюдатель отмечал очевидный и преобладающий в жизни страны факт: не только вожди революции были преимущественно евреи, но они начали доминировать в культурной, политической и хозяйственной жизни страны (их влияние ослабело в тридцатые годы, было значительным в последующие десятилетия, резко усилилось в девяностые годы, до уровня первого революционного десятилетия ... но теперь вопрос о самом существовании русского народа и России как русского государства. Итак, в политической и социальной революции семнадцатого года скрывалась еврейская революция, еврейство претендовало на власть в государстве сначала по образцу духовенства и дворянства, затем по образцу буржуазии.

Однако, им пришлось соединиться еще с одной революцией, национально-инородческой, что и усиливало и ослабляло их власть. Сталин не преследовал евреев и не подвергал сомнению их главенствующую роль в жизни страны, но он опирался и на инородцев и выражал их национальные интересы, Российская империя как государство русских было заменено большевиками государством советским, в котором существовали и евреи и татары, но русские называли себя и чувствовали себя советскими, однако Троцкистская власть возрожденного старого Израиля и псевдо-христианская власть "нового Иерусалима" и даже новой "Священной Римской империи" заменилась постепенно федеративной властью союза народов и племен, что привело в конце концов к распаденю большевистского государства нового типа.

Что случится завтра - Россия воскреснет, как это произошло после татаро-монгольского ига, или распадется окончательно, пока не известно. Но гибель России будет и гибелью арийской Европы, только это отчасти утешает. Англо-франко-германские ненавистники России рухнут вместе с нею.

Одно замечание, чтобы я был правильно понят: евреи существуют в истории как еврейский народ, как религия (иудаизм) и государство Израиль (хотя и в рассеянии) – и евреи существуют многообразно: как древний еврейский народ, в ожидании своего государства (и вот, наконец, ожидания осуществились) – так существуют курды, палестинцы, и десятки других народов в многоплеменных государствах – как принципиальная между-

народная диаспора, народ кочевников (по типу цыган) – может быть, сходно с тем, как существовала русская эмиграция после поражения России в Гражданской войне, хотя эти русские и ассимилировались уже во втором поколении с приютившими их народами, в отличие от евреев, остающихся собою в течение двадцати столетий, и существуют как ассимилированная часть народа, с которым они сблизились культурно и исторически, или даже принимая религию, или продолжаясь в смешанных браках (такие евреи практически неотличимы, например, от русских или французов). Но две важные части еврейства, народ диаспоры и народ Израиля – это, по существу, психологически, духовно, культурно, религиозно – два противоположных народа. Народ Синадрона и народ апостола Павла (символически, условно, разумеется...) Есть и третий народ – это та трудящаяся и творческая часть еврейства, которая стихийно встраивается в жизнь народа, среди которого существует, и соединяется с этим народом, сливается с ним, ассимилируется – как соединились с русскими татарские князья и воины, немецкие купцы, ученые, строители и земледельцы ("поволжские немцы"), итальянские зодчие, греческие и славянские священники, крестьяне и ремесленники «Великого княжества литовского», поляки, французы, остзейские немцы, вольно или невольно ставшие подданными Российской империи.

5 июня, 9-38. Ночью было плохо, долго вчера возился с баней, наглотался дымом, и судороги схватили меня за обе ноги, хотя я никуда и не пытался бежать. Было плохо и с сердцем, это я виноват. Нельзя сказать, что я не исправляюсь, уже почти – но вот все же сбои бывают... К тому же вчера был и праздник, Троица... Но продолжу свой разговор с христианами.

Многие, принимающие за истину то или иное Учение, не претворяют его в действительность своей жизни, живут неотличимо от других, принимающих за истину что-то противоположное, или просто живущих по народной традиции, например, моя мама, хотя и говорила «Господи!» (как и я иногда говорю), и бывало перекрестится утром и на ночь, и думала, что Иисус Христос пострадал от иудеев за то, что хотел всем бедным и несчастным помочь – но она и про Анну Каренину смотрела кино и жалела ее, и знала, что Анна влюбилась, но жизнь ее сложилась несчастливо, как у большинства из нас, отчего она даже под поезд бросилась – но разве что-то менялось в жизни моей матери из-за Анны? Вот когда меня посадили, она плакала, назанимала у соседей денег и поехала в Ленинград, дали ей со мною свидание, один час, через стеклянную глухую перегородку до потолка, но все же она меня увидела и поняла, что я не сошел с ума, а просто власть взбесилась, как это постоянно с нею бывало, и меня посадила (уж некого было больше сажать, всех перемучили, пересажали, или поубивали на проклятой войне).

Вот Л.В. атеист, знакомы мы более пятидесяти лет, наконец я спросил и узнал. А жена его? Не знаю, спрашивать неудобно, это мир ее личной жизни, в дополнение к жизни семейной. А ингерманландец А. христианин, русских считает народом неряшливым и без царя в голове (последнее думает, ибо на меня насмотрелся), но хотя вещи для бедных он относил, но бывает ли в церкви? Вероятно, на Пасху... С удивлением узнал, что В. иудей. Но тоже ничем не отличим от меня и других, мы все читаем одни и те же книги,

слушаем музыку, ходим в театр и в гости, теряем близких, страдаем из-за политики правительства, из-за которой Россия уже склонилась, и вот-вот упадет... по крайней мере, на этих пространствах после нас будет жить совершенно другой народ, для нас, атеистов, лютеран, книжников и фарисеев, даже и для неотличимых от всех христиан места больше не будет, будут молиться в мечетях и перегонять нефть на запад, как то делается и теперь: только не будут слушать пенью Шаляпина или Обуховой (да и теперь не слушают), а под зурну и волынку своих кызылкумских акынов (продвинутый мир убеждает нас в том, что это и замечательно, а остальные катакомбные христиане будут уверены, что это нас покарал их Господь за грехи).

Но, в общем-то, те, кто вступят со мною в спор или меня хотя б прочитают, это малая горстка, остальным все по фиг, детей своих они думают спровадить на запад, думая, что там не будет ни зурны ни волынки – но там еще раньше.

Я не безразличен к церковной и евангельской проповеди, потому что идет война. Как при начальной стадии болезни незаметно даже, что мы больны, но мы уже наполовину поумирали, больны мы и теперь.

Что приобрела ***, сбежав от меня к Богу (или священнику, его представителю)? Что приобрела Анна? Ну не будут они меня читать или слушать, в мужья и любовники я к ним и не набивался... я и меньше Бога, не соизмерим с ним. Только получает ли человек что-то и в самом деле небесное, отказываясь от возвышенного земного?

У всех одна и та же обычная жизнь, семья, дети, друзья, знакомые, работа, развлечения, некоторые предубеждения и увлечения (христианство – одно из таких увлечений, как футбол или рыбалка ... даже и выпивка). Только отдельные, немногие идут дальше всех, например, уходят в монахи, в скит, на столп, в юродивые. Я им не противодействую и их не переубеждаю, жизнь и культура им кажутся меньше чем то, что их манит. Так, например, ушел к Богу Кьеркегор, швырнув своей "королеве" обручальное кольцо. Некоторые из таких испытывают нечто, что сравнимо с любовью к женщине, вот Тристан увидел Изольду, между ними вспыхнула "*вольтова дуга*", жизнь, в обыденном смысле этого слова, для них закончилась. (Правда, есть опыт и тех, кто испытал то же самое, и не умер, не застрелился, не сошел с ума, не ушел из мира и не отряхнул мир от обуви своей, как Кьеркегор). Вольтова дуга вспыхивает иногда между человеком и чем-то безличным (например, Богом). Но те же состояния испытывали и одержимые люди: собирательством, путешествиями, наукой, писательством, революцией, например, Амундсен, Че Гевара, Розанов, герой фильма «Чучело» (да и прославленные коллекционеры, Третьяковы, Ю.Б.П, Фальц Фейн, Савва Мамонтов, ...)

Вольтова дуга превратила Савла в апостола, потом он однажды испытал нечто подобное, бив "восхищен на седьмое небо". Что-то подобное испытала Жанна Д*Арка, изменившая европейскую историю – но я восхищаюсь ею и подобными ей, потому что они возносились в состояние "божественной благодати" ради мира, ради его небесного преображения. Церковь же и визионеры, воюющие с человеком и культурой, ничего положительного миру не принесли. Поэтому я не упрекаю женщин, что они от меня отвернулись – **но зачем отвернулись мы все от России?**

На смерть великого математика и сына России

Егор Холмогоров. (Из свободного доступа в Интернете)

19 февраля в Москве скончался академик Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся математик, смелый общественный деятель – диссидент, друг Солженицына и Льва Гумилева, автор прогремевшей на весь мир работы «Русофобия», посвященной русскому национальному сознанию и его врагам, один из главных идеологов русского пути, уводящего от «двух дорог к одному обрыву» – коммунистической и либеральной.

Запуганное «малым народом» Отечество практически не оказало ему посмертных почестей, хотя обильно пользуется плодами его трудов. Скажем, термин «руссофобия» вышел на уровень международного дипломатического словаря – покойный Виталий Чуркин неоднократно обличал с трибуны Совбеза «чудовищную руссофобию, граничащую с человеконенавистничеством», воцарившуюся в Киеве.

Но – пусть и со всеми издержками пророка в своем отечестве – Игорь Ростиславович прожил долгую счастливую жизнь.

В стране, где мужчины его народа не доживают до 65, а самые общественно активные – и до 40, он прожил долгих 93 года. В это без малого столетие уместились на самом деле не одна, а несколько жизней.

Первая – жизнь одного из ведущих не только в России, но и в мире математиков.

В 17 лет окончен вуз, в 19 – кандидат, в 23 – доктор, в 35 – членкор, множество решенных сложнейших задач, выстроенных математических систем, признаний, званий и премий. И только звания академика пришлось дожидаться на удивление долго – до 68 лет.

Но тому причиной была вторая жизнь Шафаревича – жизнь диссидента.

С 1955 года Шафаревич подписывает письма, участвует в самиздате, поддерживает Солженицына в самые трудные минуты. Он один из тех русских телят, которые бодаются с советским дубом.

Шафаревич пишет убийственное в своей гуманитарной фундированности и аналитической точности исследование «Социализм как явление мировой истории».

Он находит истоки социализма не у Маркса, не у Кампанеллы и Мелье, а в империи инков и древних восточных деспотиях, таких как Третья династия Ура в Шумере, построенная на строжайшем учете и контроле трудовых ресурсов и государственном распределении продуктов.

В конечном счете, умозаключает Шафаревич, все основные идеи социализма сводятся к фундаментальной воле к смерти, периодически овладевающей не только отдельными людьми, но и целыми обществами. Социалистическая уравнивательность, ненависть к семье, обобществление и тоталитарный контроль – все это формы нежизни, овладевающей жизнью и порабощающей ее.

Социализм – рационально декорированная воля к нежизни.

Тут можно было бы поспорить, указав на то, что в России именно крах

социализма и привел к торжеству нежизни, к пиру либеральных вурдалаков. На что Шафаревич резонно отвечал, что большинство этих вурдалаков были преподавателями марксистско-ленинской экономики, комсомольскими работниками и так далее.

При этом устремленный к прогрессу через частную инициативу либерализм и устремленный к прогрессу же через тоталитарную сверхорганизацию коммунизм – это лишь «две дороги к одному обрыву», как назвал мыслитель одну из самых известных своих работ. И тот, и другой вид прогрессизма сущностно едины, противопоставляя себя жизни, свободе, вере, органическому началу в человеке и обществе.

Это был удивительный парадокс Шафаревича – будучи математиком, представителем одной из наиболее абстрактных и идеалистичных форм человеческой мысли, он на деле был, пожалуй, самым крупным представителем философии жизни в XX веке: антиманихейское начало, гнушение «гнушением плотью» проведено у него очень последовательно.

Он – защитник всего органичного, природного, того, что рождается, развивается и умирает, а не того, что висит на жизни сковывающими путами.

Такими путами он всегда считал коммунизм (хотя антисоветчиком, болезненно выискивающим и систематизирующим мелкие придирки к советской власти, никогда не был). Шафаревич метил в коммунизм, чтобы попасть именно в него, а не в Россию.

Именно это привело к его третьей жизни.

Как русский диссидент он хотел бы быть тем же, чем были (или, по крайней мере, считались) Вацлав Гавел для чехов, Валенса и Михник для поляков, то есть бороться с системой во имя интересов своего народа, своей нации, а не каких-то чужих.

И на этом пути он открывает для себя, что подавляющее большинство диссидентского движения борется с советским не ради русского. Мало того, эта диссидентская тусовка, по сути, навешивает на русский народ, главную жертву коммунистического эксперимента, все грехи коммунизма, чтобы заодно с коммунизмом грохнуть и «Россию-суку».

Александр Зиновьев, сам ставший из диссидента неоккоммунистом, несколько лукавил, когда говорил, что «целили в коммунизм, а попали в Россию». Они попали в Россию, потому что в нее и целили.

Из осознания этого факта и рождается «Русофобия» – трактат-предупреждение.

Шафаревич показал в нем с удивительной научной точностью, скорее даже зоологически-вивисекторской, нежели математической, ту идеологию, которая будет править сатанинский бал на наших просторах с начала перестройки и не утихомирилась в полной мере и до сих пор.

«Русофобия» начинается со спора о философии русской истории: «Русофобия – это взгляд, согласно которому русские – это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкающихся перед сильной властью, ненавидевших все чужое и враждебных культуре, а Россия – вечный рассадник деспотизма и тоталитаризма, опасный для остального мира».

Другими словами, во имя торжества демократии, свободы и общечеловеческих ценностей русских надо извести под корень, поскольку именно природа русского народа является главным препятствием на пути к царству добра, а коммунизм если в чем и виноват, то лишь в том, что имел неосторожность упасть на русскую рабскую почву, где немедленно стал уродством.

Шафаревич с какой-то, повторяюсь, вивсекторской точностью собрал и квалифицировал наиболее выдающиеся высказывания и фигуры этого русофобского дискурса прямо по методу «О частях животных», так что с тех пор ни Шендеровичу, ни Новодворской, ни Латыниной, ни их эпигонам абсолютно ничего нового прибавить не удалось.

Абсолютно любой русофобский текст в современной российской журналистике составлен из штампов, уже зафиксированных в работе Шафаревича: «Россией привнесено в мир больше зла, чем какой-нибудь другой страной»; «византийские и татарские недоделки»; «Смрад мессианского «избранничества», многовековая гордыня «русской идеи»; «Страна, которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто»; «То, что русским в этой стране сквернее всех – это логично и справедливо»...

И как резюме всего – единственный доступный для русских путь к счастью и свободе – оккупация, не чья-нибудь, а американская, «мозговой трест генерала Макартура», как выражается цитируемый Шафаревичем Александр Янов.

Возможно, другой автор остановился бы на констатации русофобского феномена, привел бы несколько возражений по существу да процитировал бы лакея Смердякова, мол, «весьма умная нация победила бы весьма глупую-с» – когда еще все это было сказано, смердяковщина, ничего нового.

Но Шафаревич был человеком с другим складом ума.

Увидев симптом, манифест проблемы, его мозг начинал работать, пока не достигал определенного теоретического понимания. А мозг этот был весьма богатым и изощренным.

Он владел английским, французским и немецким, был всегда в курсе новейшей литературы и интересовался передовыми, но не «модными» в дурном смысле слова новейшими западными теориями. Круг его интересов – Арнольд Тойнби, Конрад Лоренц, Карл Ясперс и Карл Виттфогель. Шафаревич имел первоклассную подготовку гуманитария, сразу выдававшую, что он родом из Житомира.

Про Житомир надо сделать маленькое отступление – этот южнорусский город, на Волыни, сейчас превратившийся в символ глубочайшего украинского провинциализма и ассоциирующийся разве что с чертой оседлости, когда-то был интеллектуальной столицей Юго-Западной Руси.

Здесь вырос тончайший из знатоков античной истории, никем ни до, ни после не превзойденный – Михаил Иванович Ростовцев, здесь же родился человек, построивший русским лестницу в Небо – Сергей Павлович Королев.

Игорь Ростиславович был человеком того же высочайшего житомирского уровня, частью разрушенной на его глазах вселенной. Гражданская война,

погромы, украинизация – и вот уже русским там делать было нечего, они перебрались в столицу, где столкнулись на одних площадях коммуналок с нерусскими из того же Житомира, клерками Наркомзема, Наркомтяжпрома и Наркомвнудела, «упромысливавшими» русских мужиков коллективизацией (вид подконвойных раскулаченных одним из первых заставил маленького Игоря задавать вопросы).

И вот человек гуманитарного уровня Ростовцева и Тойнби начал поиск объяснений. И нашел их в социологической модели Огюстена Кошена – французского историка, еще молодым павшего на полях Первой мировой и оставившего небольшое по объему, но очень яркое интеллектуальное наследие, касающееся интерпретации происхождения и развития Великой французской революции.

Как аристократ-монархист Кошен, разумеется, продолжал традицию Ипполита Тэна, трактовавшего революцию как заговор и разгул жестокости и злодейства, подорвавшего органическое развитие Франции.

Однако там, где Тэн мастерским пером литератора живописал зверства, Кошен с дотошностью инженера проделал скучную работу, посвященную установлению того, какими именно путями сформировавшаяся в литературных салонах «нация философов» захватила власть во Франции, проведя сотни «стряпчих» в палату третьего сословия Генеральных штатов – а ведь именно эти люди довели Францию до Большого террора.

Среди историко-политтехнологических штудий Кошена есть и произведение более легкомысленное – «Философы», в котором в весьма издательской манере описана та самая банда просветителей-энциклопедистов, захват которой салонного и литературного господства над Францией и предопределил неизбежность политического захвата ее революционерами.

Кошен вспоминает здесь знаменитую комедию Аристофана «Птицы», в которой по совету грека-авантюриста птицы строят город между небом и землей и перекрывают олимпийским богам доступ к жертвоприношениям, после чего боги начинают пухнуть с голодухи и вынуждены идти к птицам на поклон.

Вот этой вот конструкции – малому городу, «городку», «местечку» – и уподобляет Кошен «республику философов». Она перекрыла каналы коммуникаций между властью и народом, навязала себя обществу как посредника и фактически монополизировала социальный контроль.

Слов «малый народ» в этом своем произведении Кошен не употребляет, говоря о «малом граде», «городке». А о «малом народе» говорит в другой работе, посвященной защите памяти Тэна, утверждая, что негоже приписывать всему французскому народу преступления «малого народа» революционеров, бесчинствовавшего в столице и бывшего меньшинством в провинциях.

Я специально так длинно останавливаюсь на генеалогии теории Шафаревича, чтобы показать простую вещь.

Лгут те, кто утверждает, что это антисемитская теория, которая

приписывает «малому народу евреев» бесчинства против большого народа – русских. Кошен и Шафаревич не вкладывают в это понятие никакого этнического смысла, который во Франции и не имел места.

Лгут и те, кто бросился обличать Шафаревича в плагиате – из теоретического материала Кошена, никак не систематизированного, он построил стройную концепцию «малого народа» как меньшинства, навязывающего себя большинству в качестве элиты и социального посредника.

Шафаревич сумел показать малый народ как всеобщее историческое явление – тут и кальвинистские секты, стоявшие за английской революцией, и секта философов, стоявшая за французской, и «левые гегельянцы» в Германии с их беспощадной германофобией и франкофилией, и русские нигилисты, среди которых никаких евреев не было (Шафаревич приводит пикантный факт: когда в 1881 году темные обыватели на основании еврейского происхождения одной из цареубийц – Гесси Гельфман – устроили еврейские погромы, ЦК «Народной воли» в прокламации одобрил их как выступление трудящихся против эксплуататоров).

Сущность этого «малого народа» – в рассмотрении себя как избранных, как гигантов, в ногах у которых должны валяться ничтожные простые смертные, как ордена, призванного владеть и править. В XX веке эту миссию «малого народа» взяла на себя «руссийская», «советская» (меньше всего к ней применимо слово «русская») интеллигенция.

Весь «антисемитизм» Шафаревича, которым его позднее десятилетиями третировала либеральная критика, состоял в том, что он констатировал: социальная механика «малого народа» в XX веке приводилась в действие прежде всего этнической энергией еврейского национализма.

В первой половине XX века евреи ради разрушения черты оседлости и создания своего мира шли в революцию, во второй половине ради своего воссоединения с Израилем шли в диссидентщину. Но и в том, и в другом случае еврейский национальный порыв обретал формы характерной для «малого народа» ожесточенной ненависти к большому.

Подборка цитат, сделанная Шафаревичем из Бабеля, Багрицкого, многих других светочей местечково-революционной культуры, стала классической и кочует из книги в книгу. Пример Шафаревича явно подвиг Александра Солженицына на его фундаментальный труд «Двести лет вместе» (по сути – «Архипелаг ГУЛАГ» – 2: и по размаху, и по методу, и по общественному значению).

Понятно, что Шафаревичу достались мегаваттные разряды ненависти, вплоть до того, что американская Национальная академия наук в 1992 году потребовала от него добровольно самоотчислиться, чтобы не марать ее своим антисемитизмом (к чести нашей РАН, так прогнать ее на предмет Шафаревича не посмели ни коммунисты, ни либералы).

Но, если вдуматься, концепция Шафаревича не возводит на еврейский народ обвинение в русофобии, а снимает его. Да, Шафаревич приводит ярчайшие примеры иудейской ксенофобии с ветхозаветных и талмудических

времен. Да, он приводит ярчайшие примеры еврейской революционной и интеллигентской русофобии в XX веке. Но из его концепции следует, что до начала XX века евреи спокойно себе жили без русофобии, никакой генетической ненависти к русским у них не было.

В концепции Шафаревича энергия освобожденного из гетто еврейства столкнулась с социальными формами революционного «малого народа» и заполнила в нем практически все свободные места.

Яков Алтаузен не потому предлагал в своих стихах Минина расплавить, что евреи якобы испокон веков ненавидят русских, а потому, что ненавидящая русских социальная форма была заполнена такими Алтаузенами. Но не только, конечно – там же имелись красный недоскоморох Ефим Придворов, который Демьян Бедный, или историк-марксист Михаил Покровский, оба чистейшие русаки, вклад которых в формирование советского русофобского дискурса был огромен.

Разница между еврейской и нееврейской частями «малого народа» была в одном – когда советская власть, перестав в нем нуждаться, начала его разборку и утилизацию, с русской частью «малого народа» удалось покончить сравнительно легко, так как ее конструкция была чисто социальной (так же легко покончили во Франции с якобинцами).

А вот с еврейской частью вышло иначе – имея самостоятельный источник энергии, самостоятельные системы связей, по динамике и интенсивности далеко превосходящие и энергию ослабленного русского народа, и энергию социальной виртуальной советской власти, «малый народ» выжил, обрел новые ориентиры и цели – выезд из СССР, либерализация СССР по образцу стран, где диаспорам живется хорошо, самосохранение внутри советской системы.

Произошло окончательное самоотождествление этнической и социальной составляющей, выразившееся в приводимой Шафаревичем чеканной формуле Надежды Мандельштам: «Всякий настоящий интеллигент всегда немного еврей».

В этот момент и «застукал» малый народ автор «Русофобии» со своей безжалостной вивисекцией. Поплатился за это сполна.

Нельзя сказать, что Шафаревич сам не провоцировал агрессию малого народа – наряду с суховатыми теоретическими выкладками и выписками в «Русофобии» немало убийственных публицистических пассажей, задевающих за живое.

Он умел пройти и по личностям. Например, в примечаниях он дает убийственные характеристики двум кумирам интеллигентствующей диссиденции – Василию Гроссману и Александру Галичу с их регулярными русофобскими эскападами, типа высмеиваемого русского передовика производства:

«Галичу (Гинзбургу) куда лучше должен был бы быть знаком тип пробивного, умеющего втереться в моду драматурга и сценариста (совсем не обязательно такого уж коренного русака), получившего премию за сценарий фильма о чекистах и приобретающего славу песенками с диссидентским душком. Но почему-то этот образ его не привлекает».

Понятно, что такого литераторы и тусовка не прощают.

Обструкция приобрела такой масштаб, что сегодня, к примеру, официальные пропагандистские рупоры как воды в рот набрали – откликнулись на смерть мыслителя в основном «диссидентские» с патриотической или, как ни странно, с либеральной стороны издания (по большей части с антипатией, но такая антипатия лучше молчания).

Все это особенно показательное, если учесть, что современный «путинский» мир, каким мы его знаем на 19 февраля 2017-го, в значительной степени выдуман, сформулирован, сконструирован именно Шафаревичем.

К нему восходят логика и приемы антируссофобской пропаганды, нацеленной на Запад. К нему же – стилистика «они о нас», заточенная против руссофобствующей оппозиции. Полемиические конструкции, выстроенные Шафаревичем, можно обнаружить не только у патриотических публицистов, но и у Дмитрия Киселева и даже Владимира Соловьева, а многие тезисы Шафаревича давно переключались без ссылок в речи патриарха и президента.

Сама политическая философия Шафаревича – «третий путь», уводящий от «двух дорог к одному обрыву» – коммунистической и либеральной, почвенничество, традиционализм, критика западного пути к демократии, подчеркивание необходимости органичных политических, экономических, нравственных форм, характерных именно для русской цивилизации, лежит сегодня в основе нашего «официоза», по крайней мере как он представляет себя сочувствующим на Западе, протягивая руку то трамπισкой Америке, то лепеновской Франции.

Даже слово «скрепы» заимствовано, видимо, из работы «Руссофобия» десять лет спустя».

Путинская Россия живет под влиянием мощной идеологической «солженицынской» доминанты, но для Солженицына не было, пожалуй, большего интеллектуального авторитета, чем Шафаревич, и именно это предопределило солженицынскую идеологию последних десятилетий.

Нас окружает «вселенная Шафаревича». И стремление операторов современной официальной антируссофобии скрыть свои истоки, на мой взгляд, довольно постыдно.

Но соответствие, конечно, не полное.

Для Шафаревича всегда и во всем на первом месте стоял русский народ. Для него это была та естественная органическая общность, та система солидарности, сохранение которой гарантировало продолжение человеческой жизни и в индивидуальном и в родовом качестве.

Все свои работы Шафаревич писал прежде всего в интересах русской нации, заботясь о том, чтобы в сложном многонациональном концерте, раздирающем СССР и Россию, интересы русских не пострадали.

Если он в полной мере и не преуспел, то уж точно создал точку сборки, создал тот антируссофобский дискурс, ту систему идейной поддержки русских национальных интересов, без которых нам в эти страшные годы было бы гораздо тяжелей.

Было и еще одно существенное отличие Шафаревича – уже от значительной части окружавшего его патриотического сообщества: неоопричников, неосталинистов, неоимперцев.

Побудительным мотивом написания «Русофобии» было решительное отрицание мнения, что сталинский тоталитаризм является естественным продуктом русской истории, а не революционным насилием над нею, что Сталин – это продолжение Ивана Грозного, Петра и вечной русской тяги к хозяйскому кнуту, что для русской души свобода невозможна.

Шафаревич категорически отрицал этот русофобский дискурс и не без недоумения относился к ситуации, когда его во многом единомышленники фактически приняли основные тезисы русофобской историософии, только с обратным знаком, заявив, что да – русскому человеку свобода не нужна, великий Хозяин наш вечный исторический архетип, от Грозного до Сталина, а неоопричнина – наш политический идеал.

Важно не забыть сегодня, что мысль Шафаревича в общем и целом этому восторгу перед злом противоположна.

Для него русская история была нормальным органическим историческим развитием, насильственно прерванным экспериментом по внедрению inferнальной социалистической воли к смерти. И личной задачей Шафаревича было вернуть Россию на пути жизни.

Шафаревич был всегда очень близок не только лично, но и идейно со Львом Гумилевым, антимианхейство и теория антисистемы которого так близки к жизнеутверждению и теории «малого народа» Шафаревича.

Но вот гумилевского евразийства, уничтожительного для русских, Шафаревич, кажется, никогда не разделял. Его заботило сохранение именно русского народа, он заботился о выживании и укреплении оригинальной русской цивилизации.

И в этом смысле наследие Шафаревича является, пожалуй, наиболее светлым и безупречным из всего, что оставила нам русская мысль второй половины XX века.

Егор Холмогоров

Основные труды И. Р. Шафаревича

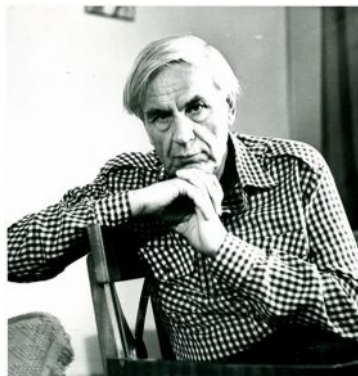
Социализм как явление мировой истории

Русофобия

Мы и они

Трехтысячелетняя загадка

Записки русского



И. Р. Шафаревич

В. Чернышев. ПОЧТИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Каждый из нас, русских образованных людей, в той или иной мере знаком и с Пушкиным, и с Достоевским и с Толстым – для этого не обязательны пересечения в действительной жизни – и все же я счастлив, что судьба подарила мне и действительное знакомство и в самой житейской ткани с многими достойными людьми, оправдывающими и нашу жестокою и часто недостойную эпоху (иногда значительное, иногда случайное, состоящее из нескольких встреч и разговоров или только краткой переписки или телефонных звонков, и все же расширявшее и возвышавшее мою жизнь). *Были ли я сам человеком значительным и достойным?* Но что-то ведь привлекало ко мне не только красавиц, но и тех, кто оправдал нашу жизнь?! Вот, например, сегодня на шоссе я ловил попутную машину, останавливаются редко, через сорок минут ожидания наконец остановился один, среднего возраста, строитель, мелкий предприниматель, ехали мы сорок минут, говорили о весьма скверной дороге, о посредственной жизни и плохом правительстве. Высаживаясь, я спросил, доставая двести рублей: наверное, мой скромный вклад в ваш скудный бизнес не помешает? Что ты, замахал он руками, ты украсил мне дорогу, спрячь свои денежки!

А те достойные люди, с которыми пересекались мои пути и тропинки и моей семье (иногда это были не только пересечения, но мы и шли рядом, дружили, *они меня создали*, как Ю.Б.Перепелкин, великий коллекционер искусства вокала, как Т.А.Шумовский, ориенталист и поэт, как М.А.Гневушев, собиратель рисунка и акварелей первых десятилетий двадцатого столетия, как Л.П.Жукова, выдающаяся актриса еще довоенного ТЮЗа – но создало меня и то окружение, та среда, в которой жили и совершали свой подвиг эти прекрасные и достойные люди).

С Игорем Ростиславовичем Шафаревичем знаком *действительно* я был мало, но много его читал и размышлял о прочитанном, читал и он мои книги, и он тоже создал мою личность – своими книгами и своим нравственным влиянием. Однако, и я некоторую роль сыграл в его жизни (и этим я тоже горжусь – я не был только учеником и зрителем моих великих знакомых, я и сам был соучастником их жизни и ее временами достойно дополнял.) Я издал сборник стихов Т. А. Шумовского, книгу о Глебе Борисовиче Перепелкине, брате Юрия Борисовича. А в журналах «МѢра» и «Русские страницы» немало страниц отдал своим выдающимся друзьям и воспоминаниям о них.

Однажды Игорь Ростиславович, с горечью говоря о той многолетней травле, которой он был подвергнут за свои книги, и в которой советский террор соединился с воплями гнилого либерального Запада (что он гнилой, мы видим по тому смраду воинствующей гомофилии и "толерантности", которые захлестнули этот Запад, вытесняя культуру и родовое начало и "любовь к отеческим гробам") добавил, что больше всего его угнетает, что прекратил с ним переписку, в угоду тамошнему общественному мнению, не лучшему, чем советское, выдающийся немецкий математик Питер Клаус, Я пообещал что-нибудь об этом узнать. Мой друг Казимир, близко знакомый и с Питером и его братом (с которым был знаком и я), будучи у Питера в гостях, имел случай о Шафаревиче поговорить.

Отведя Казимира в предназначенную ему комнату, Питер заметил: «Кстати, на этой кровати спал ваш великий соотечественник и мой друг академик Шафаревич!» У них состоялся обстоятельный разговор о перипетиях судьбы и давлении общества даже на нашу личную жизнь, и Питер сказал: *"Передайте Игорю Ростиславовичу, что я его не забываю, верен ему и его люблю, но принужден подчиниться требованиям нашего консервативного общества"*. Эти слова я и передал И.Р., и он был счастлив (как и я).

Ну и, разумеется, Игорь Ростиславович был уверен, что я высоко ценю его труды и отношусь к нему с восхищением (хотя и не во всем с ним согласен).

Сегодня ночью много копался я в горах интернетской полемики, перечитал заметку Сони Т., в которой она сообщает о смерти великого человека (уязвленная, правда, тем, что вот даже столь выдающаяся личность оказалась в плену таких отвратительных предрубеждений относительно "коварного" народа – это ее собственное словечко...), продолжил чтение и других текстов, еврейских и русских, в конце концов дойдя до явной помойки.

В 1971 году знаменитый тогда диссидент Файнберг, с которым я познакомился на прогулке в советской тюремной психушке, сказал мне при первом знакомстве: Васька, я все про тебя знаю, я знаю, что ты антисоветчик, враг марксизма и *антисемит* – но это нормально! Настоящий русский неминуемо становится антисемитом! (Позже Файнберг даже объявлял голодовку, защищая меня, и грозился покончить самоубийством, если ко мне будут применены те угрозы, которыми стращало меня КГБ).

Он был *сионистом*, я был русским *националистом*, можно было бы сказать, что мы были два сапога пара.

А что же было в помойке? Русская чернь обрушилась на Шафаревича, обвиняя его в "жидомасонстве" и ненависти к России и русскому народу, еврейский обыватель пенял ему за антисемитизм... Вдруг из подворотни раздался вой православной черни по поводу митрополита Никодима, который, якобы, СДОХ, когда лизал лапу папы Римского (но рядом и елейный голос богослова Флоровского, пенявшего Никодиму за то, что он посмел произнести слова «русская церковь» – ибо не может быть никакой церкви кроме вселенской!).

Многие русские относятся плохо к немцам, к ним относятся плохо и многие французы, особенно из старшего поколения; кажется, Шафаревич евреев не любит. Но вот я, русский националист – люблю ли я русских? Каких? Пушкин по крайней мере свою ненависть адресовал черни (из высшего общества), я по страсти своей души разражаюсь часто проклятьями в адрес всяких русских, прежде всего за равнодушие к России. Но и за хамское отношение к природе, к культуре, к справедливости, к народу (который я сам только что ругал злобно).

Средний человек плохо образован, но еще хуже умеет он мыслить. Благодаря христианству, мы совершенно не разбираемся в истории, в нравственности, в устройстве общественной жизни. Математически точно умеют мыслить лишь единицы. Какая жалость, что я проспал несколько десятилетий своей жизни, мало изучал математику и историю, не знаю биологию, хотя бы жизнь насекомых (а она поучительна).

Итак, всякий народ – это множество отдельных людей, только часть из которых является личностями, представляя собою каждый отдельный мир, остальные зависимы в мировоззрении и чувствах от той группы, частью которой являются. Есть немцы, собрание немецких людей, есть немецкий народ – отдельная историческая личность, со своей исторической волей, характером и судьбой. Есть крестьяне, купцы, дворяне (у русских) – но есть и крестьянство, и купечество, и дворянство... и т.д. Каждое сословие – это отдельная историческая личность, стремящаяся к тому, чтобы стать целым народом – жестокость гражданской войны проистекает из этого, это война между народами на уничтожение (как между третьим сословием и дворянством в 1789 году во Франции). Народ как целое отождествляется с государством – но вот у немцев два государства: Германия и Австро-Венгерская империя (да еще ряд меньших государств). Немецкий ли народ был народом Гитлера, стремившимся уничтожить русский народ – как пролетариат уничтожал **все** классы Российской империи, а теперь уничтожает сам себя, спиваясь? Или на нас напал народ Шиллера и Гете? Очень поверхностно можно сказать так: в каждом народе по крайней мере два почти противоположных народа, один из них – деятель в истории (как крестоносцы в Германии), другой – деятель в культуре (как Шиллер и Гете). И еврейство представляет собою отдельно диаспору, рассеяние (психологически, культурно, трансцендентно), и отдельно «народ Израиля» (даже когда его не было.) Сионисты мне были близки своей народностью, потому что я и сам народник, а рассеяние... здесь все сложнее... Все почти сословия внутри рассеяния мне близки как человеку деятельному, но с недоверием я отношусь к части культурного слоя (эта часть во многом и питает тот малый народ, о котором говорил Шафаревич). В заключение: отчасти трагедия еврейской личности в том, что он чувствует себя отщепенцем. Ну а я не отщепенец – среди моих русских?? Не были отщепенцами Солженицын и Шафаревич? Почитайте русскую чернь в интернете, выливающую на них все помои, которые они копили из-за своей неудавшейся жизни! Поэтому, когда меня будут сажать в тюрьму, я напишу заявление, чтобы меня посадили только вместе с евреями, потому что сегодня ночью на мне пропахла одежда от этих злобных помоев.

Антисемитизм – иногда недоразумение. Любил ли Шафаревич евреев, я не знаю – но почему евреи выделяют себя среди всех настолько, что даже равнодушные или нелюбовь возводят в преступление? Европейцы не любят русских – ну и что? Я и сам за многое не люблю русских. Я люблю Россию, русский язык, культуру. Я люблю Розанова, которого Иванов-Разумник называет хамом. Кстати, люблю ли я сам евреев? Да я ни один народ не люблю – оглядываясь на историю, я чувствую такое сожаление к человечеству, что не уверен в том, что я к нему принадлежу сам.

В заключение. Четвертого числа была Троица, народ гулял, мимо моего дома прокатывались материки и пьяные. Я прятался, стараясь не попадаться никому на глаза, но не остерегся, побежал за дровами, тут меня и увидели, потребовали, чтобы я подошел. «ты за что меня ненавидишь? – возопил самый пьяный из них. – Ты за что нас всех ненавидишь? Какой ты писатель? Да ты графоман, я искал в интернете, там тебя нет!

С трудом я от него убежал.

На следующий день слышу стук в дверь, этот же обличитель, еще пьянее (он живет напротив, и как-то кроме «здравствуй-прощай» нам и впрямь поговорить не удавалось.) Сели за стол, он достал бутылку, я только что заварил чай и было три кусочка булки с маслом. Водка из бутылки не льется, трясли, поворачивали, стучали по днищу – никак! Пришлось взять гвоздь и молотком пробивать дырку в пробке, тогда полилось, залили всю закуску. Пришлось после второй рюмки притвориться умирающим, я ему надписал «Отбеливание льна» (а я и забыл, что у меня в деревне она есть) и кое-как проводил до его калитки, и всю дорогу лилась водка из недопитой бутылки.

Самые культурные из русских кричат: подлинно культурный человек не должен знать национальность того, с кем он знаком, даже его пол, не должен знать, что он русский, что народы различны и существуют, мы все братья, даже сестры. Впрочем, мой знакомый иудей не согласен быть нам во Христе братом, хотя обрадовался, когда я хотел перейти в иудеи – ибо еврею важнее всего – оставаться собой, даже ценой гонений. Это русским все равно, кем им быть. Так, может быть, мы нация только *не помнящих родства Иванов?*

Но если еврей держится за миф о том, что он сын Авраамов, то это вовсе не миф, и не прав Иисус, говоривший, что из камней сих наделает Господь себе «детей Авраама»!

И не прав Иисус, говоривший, что пришел он спасать *свой народ* – его ли это народ?

А кто же народ мой, если даже в тюрьме я согласен сидеть только с евреями (или с русскими немцами – ибо *лучший русский – это немец!*)?

Когда меня спрашивают, люблю ли я евреев, я отвечаю, что больше всего я люблю красивых девушек – но даже красивых девушек я люблю не всех!

И хотя я могу твердо сказать лишь то, что я не люблю русских, но я и сам русский (хотя и родился в Сибири). Я люблю свой язык, русскую культуру, природу, многих людей из моего народа. Я атом из великой общенародной личности, хотя и сам личность, а значит целый мир. На меня обижался адмирал, что я проклинаю чернь, что я сталинистов отношу к черни, а он любил Сталина. Что же мне делать? Я любил адмирала...

Напишу я наконец книгу: **Оправдание черни!** Я родился в глухой деревне, но и в ней одна ее часть представляла достойных, другая – чернь. Но разве я любил только достойных? Моя сумасшедшая христианка ***, которую я пытался спасти от самой себя (и я теперь совершенно точно понимаю, что я люблю ее как свою неродившуюся беспутную дочь) столько на меня наговаривала, что, казалось, беспутней ее быть не может. И я отвечал ей просто: **я тебя люблю, и в моей любви растворятся все твои грехи и пороки.** Но любовь, о которой я говорю, противоположна любви христианской, которую требуют одинаково любить всех, я же люблю избранных, люблю одних и равнодушен к другим (хотя способен пожалеть всех страдающих). Мы все *неодинаковы*, и евреи – *трехтысячелетняя загадка* для всех нас, *русские – загадка для меня.* Не будем требовать казенной любви, но сами полюбим других даже с их недостатками. (И Соня Т. – из достойных, хотя и «свалила» из нашей общей страны. Но я ее не упрекаю – *она великодушна.*)

16 июня 17г. Стало грустно, и я опять встрял, и меня будут ругать, что я никому не даю говорить, но – осталась пустая страничка, через день уеду в деревню, портфель журнала пуст – не пропадать же чистым листам?!

Попытаюсь ответить сразу всем, кто пеняет мне, что у меня все не так как надо. Я работал учителем, преподавал математику, однажды пришел в школу, в классах темно, отключили свет. А так как в моем классе в эту пору были почти одни только девочки, я и предложил: *А давайте будем тем!*

Прошло пятьдесят лет, и хотя я написал Азбуку Высшей математики, но не помню из нее ничего, кроме ведьминских чисел (открытых мною), а вот это утреннее пение продолжает во мне звучать. Вероятно, и они из всей математики помнят лучше всего это радостное чувство свежести и восторга.

Кстати, еще учась в школе, я однажды вступил в какой-то театральный кружок, руководитель сказал: сначала я научу вас бежать и кидать гранату. Когда научились, он повел нас в штыковую атаку, тут меня пронзили штыком – *и я проснулся*. Больше в штыковые атаки я не ходил, ребро перестало болеть, и я сделал главное открытие своей жизни: в основе поисков смысла жизни, поисков Бога, истины, свободы и даже Преображения мира должно быть **Пробуждение**. Вот этот журнал, который я затеваю – уже третий, учитывая мои предыдущие неудачи, мне настоятельно советуют сделать его полезным, печатать чужие стихи и рассказы, подвергать их критическому анализу и объяснять авторам, как надо писать правильно. И так мы все научимся и станем талантливыми и познаем истину. А я окунулся в Серебряный век (правда, увлечение им началось еще на первом курсе университета, с книги Розанова «Легенда о великом инквизиторе», хотя еще в школе я открыл Блока, Бальмонта, потом Гумилева, Мережковского, Иванова-Разумника)... и вот без парусов меня до сих пор несет в этом море гениальных искателей. Иванов-Разумник в Анкете 22-го года, посвященной Розанову, называет его **гениальным обывателем**, говорит, что хотя он боролся с христианством во имя христианства, но создал вместо него собственную **религию Жизни**. Мережковского сравнивает с Каем из сказки Андерсена о мертвом замороженном царстве ледяных кристаллов (так же, мне кажется, относится он и к христианству, **религии смерти**, по выражению Розанова).

Почти умный, говорят богословы о Разумнике, а Мережковского Розанов сравнивает с прекрасным махровым цветком, но без запаха и даже без осзания. Все сии умные, глубокие, восторженные, вдохновенные – вершина русской философии, поэзии, публицистики (то же и в музыке и в живописи) – но Россия вышла замуж за косноязычных. А что же в *религии жизни* кроме потока житейских событий? Половая (или родовая) любовь и семья, говорит Розанов, присовокупляя к сему в конце жизни молитву. Но молитва крестьянина – его **труд**, поэта – его *вдохновение и стихи*. По Розанову в основании религии семья и рождение детей, а тут вдруг подросли дети, племянник моего покойного товарища пишет уже, что в основании христианства должна быть *культура*. Итак, дети, храмы, книги, симфонии, театры, музеи... да не лишние и железные дороги, мобильники и аэропланы... С чем же боролось две тысячи лет христианство, проповедуя жизнь после смерти?

Надо *перестроить* Россию, что-то пошло в ней не так, еще с тех пор, как мы отказались от «книжников и фарсеев» – перестроили неразумные, развалилась Русь в груды обломков, и никакая ныне она не святая, даже не разумная, и гениальных обывателей у нее даже нет. *А я вот из старой бани построил новую!* Посему не будем учиться писанию книг, а просто будем перечитывать гениев, чему-нибудь да научимся! Продолжу же свои поучения я на *будущей свободной странице*...

Ольга Мальцева

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

*Православная Русь и сегодня жива,
Я назад оглянусь – мне былое навстречу.
Шам, где кровь пролилась – обновилась трава,
Но алеет калина, напомнив о сечах,
Всё не сказка, а быль – в поле русская ширь,
Окружала орда... И, полки собирая,
У Нетрядвы..., у Волги вставал богатырь,
Чтобы Русь удержать у смертельного края.
И России стоять посредине Земли,
Оставаться в веках золотой серединой,
В море Чёрном и Белом вести корабли,
Ось планеты держать над дрейфующей льдиной!*

Уважаемый редактор! Хорошо бы поместить это стихотворение в июньский номер – столько дат: и День русского языка, и День России, и день начала войны 22 июня – День памяти и скорби, и вечной благодарности, и гордости за нашу Победу.

Спасибо! Жду ответа. Желаю Вам сил и успехов! О.М.

15 июня 2017

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

№ 4

Подписано в печать 21 июня,
отпечатано 22 июня.

Формат 60x90 1/16 16,5 п. л. = **264** с.
Тираж: **печать по требованию.**

Отпечатано с готового оригинал-макета,
предоставленного редактором журнала.

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СП6
2017